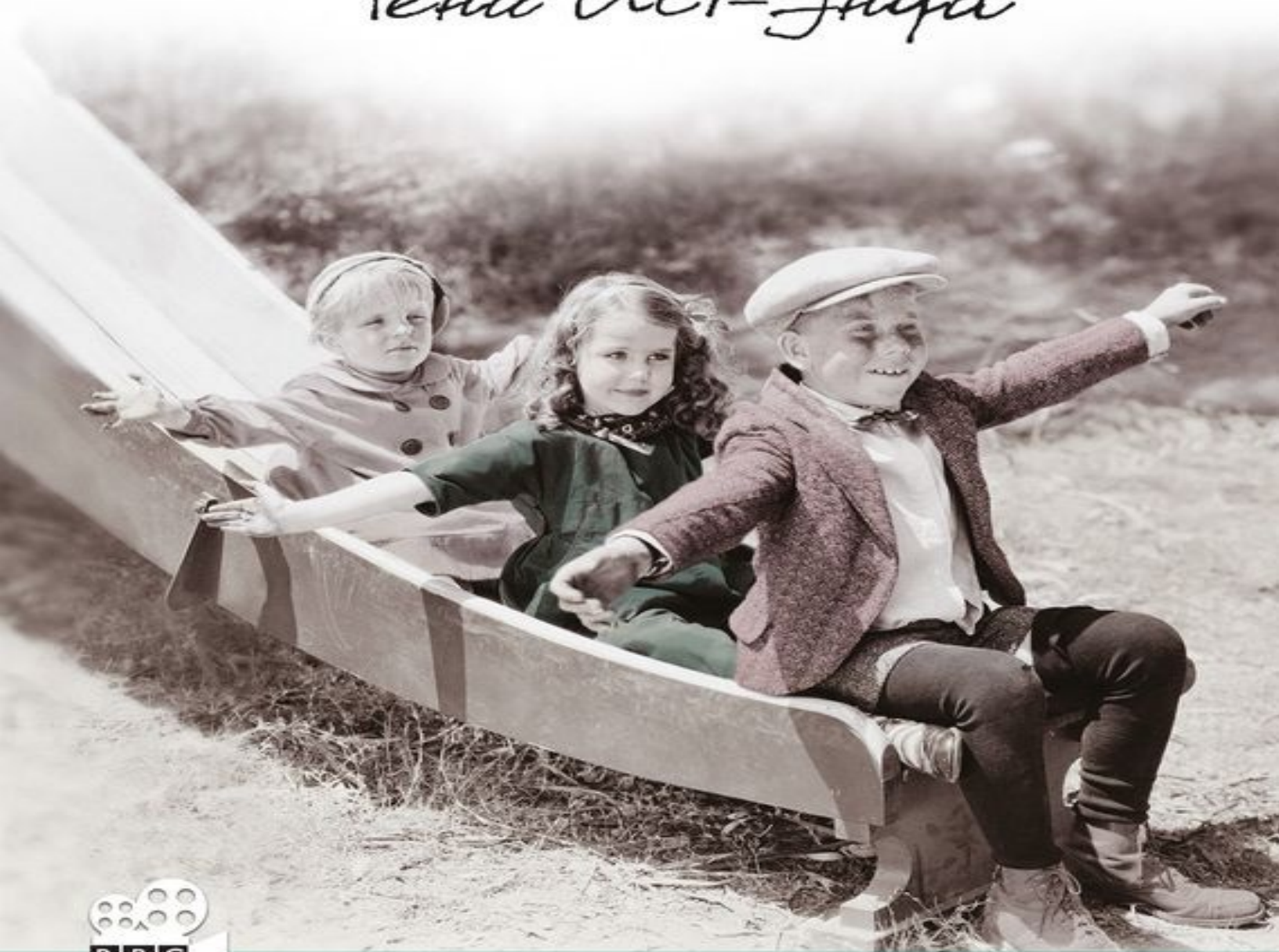


Д Ж Е Н Н И Ф Е Р У О Р Ф
В Ы З О В И Т Е
А К У Ш Е Р К У

Тени Уст-Энда



В МИРЕ ПРОДАНО БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА КНИГ
ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «ВЫЗОВИТЕ АКУШЕРКУ»

Дженнифер Уорф

**Вызовите акушерку. Тени Ист-
Энда**

Jennifer Worth
Shadows of the Workhouse

© *CTM Productions Ltd.*
A Neal Street Production for the BBC
Copyright © Jennifer Worth 2002

© Дженнифер Уорф, 2012
© Дарья Горянина, перевод на русский язык, 2017
© Livebook Publishing Ltd, 2017

*С уважением и благодарностью посвящается
Патриции Хольт-Скулинг из издательства
Merton Books, чья прозорливость, смелость и
предприимчивость привели к первой публикации
этих книг.*

Благодарности

Мейзел Брар – за юридические консультации; Дугласу Мэю, Пегги Сейер, Бетти Хоуни, Дженни Уайтфилд, Джоан Хендс и Хелен Уайтхорн – за советы, корректуру, перепечатку и редактуру; Филипу и Сюзан – за всё; замечательным людям, которые рассказывали мне о работных домах, особенно Кэтлин Дейли и Деннису Стренджу; Крису Ллойд из библиотеки Бэнкрофт, Майл-Энд, Лондон; Джонатану Эвансу из Королевского медицинского архива, Лондон; Ив Хостеттлер из Фонда истории Собачьего острова, Лондон; Джин Тодд, Аллану Янгу и Джеффу Райту – за помощь с архивными иллюстрациями; архиву лондонского метрополитена; архиву Хакни; Краеведческому центру и архиву Кэмдена; библиотеке Грейвсенд в Кенте – за материалы по местной истории; Питеру Хиггинботему – за помощь в проверке фактов истории работных домов.

Часть I
Дети рабочего дома

Ноннатус-Хаус

Ноннатус-Хаус служил одновременно и обителью, и приёмным покоем для ордена сестёр Святого Раймонда Нонната^[1] и располагался в сердце лондонского района Доклендс. Медсёстры и акушерки Ноннатус-Хауса работали с жителями Собачьего острова, Степни, Лаймхауса, Миллуолла, Боу, Майл Энда и частично Уайтчепела. Я служила там в 1950-х годах. После войны прошло ещё совсем немного времени, и город был покрыт шрамами – пустыри, разрушенные магазины, перекрытые улицы и дома без крыш, зачастую заброшенные. Тогда порт работал в полную силу, и каждый день здесь разгружали и погружали миллионы тонн груза. По Темзе ходили огромные торговые суда и пробирались к пристаням по сложной системе каналов, шлюзов и бухт. Совершенно обычным делом было идти по улице всего в нескольких футах от гигантского торгового корабля. Даже в середине века около шестидесяти процентов всех грузов разгружалось вручную, и порты кишели рабочими. Многие из них вместе с родными ютились в крохотных окрестных домишках.

Семьи тогда были огромные, но все жили в тесноте. Сегодня такие жилища остались разве что на страницах Диккенса. В большинстве была проведена холодная вода – но не горячая. Примерно в половине домов имелся туалет, но у остальных уборная располагалась на улице, зачастую общая с соседями. Ванн почти нигде не было. Мылись в корыте, которое ставили на пол кухни или гостиной, или же ходили в общественную баню. Почти везде было электрическое освещение, но часто встречалось и газовое, и мне не раз приходилось принимать роды при тусклом газовом свете или же при свете фонарика или керосинки.

Тогда, незадолго до революции, которую произвели оральные контрацептивы, женщины рожали часто. Моей коллеге довелось принять восемнадцатого ребёнка у одной матери, а мне – двадцать четвёртого. Конечно, до такого доходило редко, но десять детей были обычным делом. Хотя в моду уже входил обычай ложиться в больницу для родов, женщины в нашем районе не гонялись за новизной и предпочитали разрешаться дома. Всего двадцать-тридцать лет назад они принимали роды друг у друга – так же, как делали веками – но в 1950-х, с учреждением Национальной службы здравоохранения, беременностями и родами стали заниматься квалифицированные акушерки.

Я работала с сёстрами Святого Раймонда Нонната, религиозным

орденом монахинь-англиканок, история которого восходит к 1840-м. Этот орден объединял под своим крылом санитарок – в те времена, когда их считали отбросами человеческого общества. Сёстры, на всю жизнь связанные обетами бедности, целомудрия и послушания, жили в Попларе с 70-х годов XIX века. Они начали свою деятельность в то время, когда беднякам не оказывалось фактически никакой помощи и женщина с ребёнком выживала или умирала в одиночестве. Послушницы были бесконечно преданы религии и людям, которых считали своими подопечными. В те времена, когда я работала в Ноннатус-Хаусе, старшей сестрой была сестра Джулианна.

Зачастую монастыри притягивают женщин средних лет, которые по тем или иным причинам не могут больше справиться со своей жизнью. Они всегда одиноки – вдовы или разведённые. Зачастую это тихие, застенчивые, деликатные женщины, страстно тянущиеся к добру, которое видят в монастыре, но не могут найти в жестоком внешнем мире. Обычно они истово соблюдают все ритуалы, и монастырская жизнь видится им чем-то романтическим и потому бесконечно желанным. Однако мало кто из них способен дать пожизненный обет нестяжания, безбрачия и послушания – и мало кому, подозреваю, хватило бы силы воли соблюдать этот обет. Поэтому они колеблются на пороге, не входя в этот мир, но и не покидая его.

Такой была Джейн. Когда мы познакомились, ей, видимо, было около сорока пяти, но выглядела она старше. Высокая, худая, она выглядела как леди: тонкая кость, изящные черты лица, изысканные манеры. В другом месте она сошла бы за выдающуюся красавицу, но из-за своей неряшливости казалась блёклой и невзрачной. Вероятно, в этом и состояла её цель. Мягкие седые волосы могли бы очаровательно виться, но она стригла их сама, и причёска смотрелась рваной и бесформенной. Высокий рост мог бы придавать благородство её облику, но она сутулилась, из-за чего выглядела несколько подобострастно. В больших выразительных глазах, окружённых морщинами от вечного беспокойства, застыла тоска. Голос её звучал тихо, словно шелест, и она не смеялась, а скорее нервно хихикала.

Вообще нервозность была её определяющей чертой. Казалось, она боится всего вокруг. Даже за обедом она не осмеливалась братья за приборы, пока остальные не приступили к еде, и у неё так тряслись руки, что она то и дело что-нибудь роняла, после чего долго извинялась перед всеми, а особенно перед сестрой Джулианной, которая неизменно сидела во главе стола.

Джейн много лет прожила в Ноннатус-Хаусе и была здесь чем-то средним между медсестрой и прислугой. Я считала её очень образованной женщиной, которая легко могла бы стать хорошей медсестрой, но что-то ей мешало – видимо, вечная робость. Она не сумела бы взять на себя ответственность, неизменно ложащуюся на всякого медика. Поэтому сестра Джулианна поручала ей простые задачи: сделать обёртывание, клизму или принести что-нибудь пациентке. Выполняя эти поручения, Джейн была вне себя от волнения – она вечно копалась в сумке и бормотала: «Так, мыло, полотенца. Всё взяла? Ничего не забыла?» На работу, которую любая опытная сестра выполнила бы за двадцать минут, у неё уходило два, три часа, а закончив, она страстно ждала признания, словно моля взглядом об одобрении. Сестра Джулианна всегда отмечала её скромные достижения, но я видела, как докучает ей необходимость постоянно помнить, что Джейн надо хвалить.

Кроме того, Джейн понемногу помогала сёстрам и акушеркам: мыла инструменты, собирала вещи и так стремилась угодить, что это раздражало. Если её просили принести шприц, она возвращалась с тремя. Если требовался ватный тампон для одного ребенка – она тащила двадцать и вручала их с льстивой улыбкой и нервным хихиканьем. Вечная потребность угождать не давала ей покоя.

Всё это крайне мешало – особенно если учесть, что она годилась мне в матери. А поскольку работала она раза в три медленнее меня, то я старалась к ней не обращаться. Но наблюдать за ней было интересно.

Большую часть времени Джейн проводила в Ноннатус-Хаусе, и одной из её задач было записывать, кому звонили. Заметки она вела тщательно, с обилием ненужных подробностей. Кроме того, она помогала миссис Би на кухне, внося этим немало сумятицы: миссис Би делала всё энергично и чётко, а Джейн отвлекала её своим постоянным смятением. «Быстрее!» – восклицала миссис Би, а бедная Джейн, парализованная от ужаса, лепетала: «Да-да, конечно, простите» – но пошевелиться была не в силах.

Как-то я услышала, что миссис Би просит Джейн почистить картошку и порезать её пополам, чтобы запечь. Чуть позже она собралась ставить блюдо в духовку и увидела, что Джейн нарезала каждую картофелину на множество кусочков. Ей никак не удавалось добиться того, чтобы половинки были одинаковыми, и, не в силах остановиться, она снова и снова резала каждую пополам и, наконец, совсем их измельчила. Когда миссис Би взорвалась, Джейн, белая от ужаса, вся дрожа, взмолилась о прощении. К счастью, в этот момент вошла сестра Джулианна и, оценив ситуацию, спасла Джейн.

– Ничего страшного, миссис Би, поедим сегодня пюре. Как раз нарезано идеально. Джейн, пойдём со мной, нам только что принесли стирку, надо всё проверить.

Взгляд бедняги Джейн выражал в этот момент всё – ужас, горе, благодарность и любовь. Я смотрела ей вслед и гадала, что же сделало её такой уязвимой. Хотя сёстры всегда были к ней добры, она словно жила в своём бесконечно одиноком мире.

Джейн была невероятно набожной, каждый день ходила к обедне и посещала большинство служб. В часовне она перебирала чётки, не отрывая взгляда от алтаря, и по сто раз рядом повторяла: «Иисус меня любит, Иисус меня любит». Подобный пыл легко вызывает насмешку. Такие, как Джейн, часто становятся предметом издёвок.

Как-то раз мы с Джейн пришли на ярмарку на Крисп-стрит – дело было перед Рождеством, и прилавки были завалены безделушками и сувенирами. На одном из столов лежал гладкий цилиндрический жезл пяти-шести дюймов в длину, опоясанный выступающей кромкой, с закруглённым полированным кончиком с дырочкой в центре.

У всех на глазах Джейн взяла жезл двумя пальцами и поинтересовалась:

– Что же это?

Все смолкли и уставились на неё. Никто не засмеялся.

Торговец, ушлый острослов лет пятидесяти, всю свою жизнь торговал разным хламом. Он театрально сдвинул картуз на затылок, медленно затушил окурок об прилавок, осмотрел публику и принял вид совершенной невинности.

– Что это? Неужели вы, леди, никогда раньше такого не встречали?

Джейн покачала головой.

– Ну как же, это ведь медомес. Он самый, леди. Чтобы, значит, мёд ваш мешать.

– Неужели?

– Да-да, в самом деле. Давняя придумка, леди, уже давняя. Странно, что вы их раньше не видали.

– Никогда. Удивительно, всегда можно узнать что-то новое! А как же им пользоваться?

– Как пользоваться? Ну-ка, дайте, я вам покажу, с вашего позволения.

Он забрал жезл у Джейн, и разросшаяся толпа начала тесниться, чтобы ничего не пропустить.

– Суёте, значит, этот медомес в свой горшочек и мешаете, значит, свой мёд, вот так вот, – он покачал рукой, – а мёд, значит, прилипает к этой

кромке, видите?

Он нежно потёр кромку жезла.

– Ну вот, значит, мёд здесь прилипает, а потом отсюда капает.

– В самом деле? Замечательно, – сказала Джейн. – Никогда бы не подумала. Наверное, пользуется большой популярностью у пчеловодов в сельской местности.

– О да, в деревнях с такими не расстаются – у них и пчёлки, и бабочки, и всё такое.

– Очень полезное изобретение. Сестра Джулианна любит мёд. Надо бы купить ей такой на Рождество. Ей наверняка понравится.

– О да, сестре Джулианне понравится, зуб даю. Я вот, например, считаю, что лучшего рождественского подарка и не придумать. Вообще-то я за него брал четыре шиллинга, но поскольку вы, леди, хотите подарить его на Рождество сестре Джулианне, то вам я его уступлю за два шиллинга и шесть пенсов, и это только из уважения к вам, – осклабился торговец.

– Как мило с вашей стороны! – воскликнула Джейн, протягивая деньги. – Я очень тронута, а сестра наверняка будет в восторге.

– Даже и не сомневайтесь, тут двух мнений быть не может. Крайне рад знакомству, мэм, вы меня очень сегодня порадовали.

– Неужели? – заулыбалась Джейн. – Даже и не знаю чем, но мне так приятно. Как хорошо радовать других, верно?

Настало Рождество. Утром мы вернулись из церкви и стали готовить столовую к праздничному обеду. Стол украшали ангелочки. У нас было принято обмениваться подарками за трапезой и класть их рядом с тарелками одаряемых.

Я не могла отвести взгляда от коробочки в серебряной обёртке и с красной лентой возле тарелки сестры Джулианны. Что же будет?

В то Рождество за столом нас сидело четырнадцать человек – вместе с двумя монашками из Северной Африки, которые очаровательно смотрелись в своих белых одеждах. Мы помолились и помянули дары волхвов, после чего принялись открывать подарки. Со всех сторон доносились охи и ахи, все смеялись и целовались. Сестра Джулианна взяла свой подарок со словами «Что же это может быть?», и сердце моё упало. Она сняла бумагу и открыла коробку. Единственное, что её выдало, на долю секунды приподнявшиеся брови. Она осторожно закрыла коробочку и с ослепительной улыбкой повернулась к Джейн, всем своим видом выражая радость.

– Какая красота. Джейн, это замечательный подарок. Всегда о таком мечтала. Спасибо тебе огромное.

– Это медомес, – с готовностью пояснила Джейн. – Старинная вещица.

– Да-да, я это сразу поняла. Какая же ты внимательная, милая Джейн!

Сестра Джулианна нежно её поцеловала и незаметно спрятала коробочку.

По всему выходило, что Джейн туповата. Только по её книгам я поняла, что на деле всё совсем не так. Она читала жадно, самозабвенно. Книги были её единственным баловством, и она нежно берегла их. Я подглядела авторов на обложках и была потрясена: Флобер, Достоевский, Рассел, Кьеркегор. Разумеется, она ежедневно читала Библию, но помимо Ветхого и Нового завета в круг её духовного чтения входили Фома Аквинский, Блаженный Августин, Хуан де ла Крус. Я посмотрела на неё другими глазами. Изучать Фому Аквинского для удовольствия! Вот вам и недалёкая Джейн.

Но если кто-то заставлял её за чтением, она подскакивала и виновато отбрасывала книжку, говоря: «Вам чем-нибудь помочь? Что-нибудь принести?» – или даже: «Я как раз собиралась накрывать на стол к завтраку, я не отдыхала, вовсе нет». Так умные люди себя не ведут.

Впоследствии я выяснила, что Джейн двадцать лет была горничной. Она начала работать в четырнадцать лет, а в то время простой служанке жилось непросто. Ей следовало вставать в четыре часа утра, приносить дрова, уголь, чистить каминные решётки и разводить огонь. Впереди был тяжёлый день на побегушках у хозяйки дома, и так до десяти-одиннадцати вечера, когда ей, наконец, разрешали идти спать.

В работе Джейн была безнадёжна. Как бы она ни старалась, ей не давались даже простейшие дела. Хозяйка вечно на неё сердилась, и Джейн стала пугливой, неуклюжей и постоянно всё роняла. Она всегда боялась ошибиться и всегда ошибалась, её увольняли, приходилось искать новое место – и всё начиналось сначала.

Сложно найти более бездарную горничную, чем Джейн. Она была совершенно непригодна для службы – ведь часто случается, что умные люди теряются, сталкиваясь с бытовыми неурядицами.

Бедная Джейн! Я как-то наблюдала, как она пытается зажечь газовый фонарь. У неё это заняло сорок минут. Сперва она рассыпала спички, после чего последовательно сломала решётку, разбила стекло, порезалась, подожгла кухонное полотенце и обои. Неудивительно, что её то и дело увольняли.

Помню ещё, как однажды она пролила на пол пару капель молока. Дрожа и всхлипывая, она повторяла: «Сейчас уберу, сейчас уберу!» – после чего вымыла пол во всей кухне, сдвинув столы и стулья. Остановить её

было невозможно. Я спросила сестру Джулианну, почему она такая.

– В детстве её сломали, – объяснила сестра. – Тут уже ничего не поделаешь.

Джейн редко выходила и никогда не ночевала за пределами Ноннатус-Хауса. Единственной, кого она навещала, была Пегги, что жила на Собачьем острове со своим братом Фрэнком.

Пегги сложно было назвать пухленькой – на ум скорее приходило слово «пышная». Её фигура олицетворяла покой, а огромные серые глаза, обрамлённые чёрными ресницами, смотрели мечтательно и чувственно. Чистая нежная кожа сияла, а когда она улыбалась – а это происходило частенько, на щеках появлялись очаровательные ямочки, и вы уже не могли отвести от неё взгляд. Она казалась воплощением соблазна.

Однако Пегги не принадлежала к тем праздным дамам, что умащают себя кремами и притирками и играют с мужскими сердцами. Пегги была подёнщицей. По утрам она убиралась в конторах, днём чистила богатые дома в Блумсбери и Найтсбридже, а по вечерам отмывала рестораны и банки.

Три раза в неделю Пегги убиралась в Ноннатус-Хаусе, и после её ухода дом благоухал воском и карболовым мылом. Все её любили. Её красота улаждала взор, а улыбка поднимала настроение. Она неизменно напевала, пока возилась со щётками и мылом, и голос у неё был нежный и лишённый фальши. Репертуар её состоял из старомодных народных песенок и гимнов из тех, что учат на уроках и в воскресных школах. Слушать её было одно удовольствие, даже когда она просто говорила.

Пегги была ко всем добра и словно никогда ни на что не сердилась. Помню, как я как-то вернулась в середине ночи (сейчас кажется, что дети появлялись на свет исключительно по ночам, и чаще всего во время дождя), вся мокрая и чумазая. Мне пришлось сорок минут прождать на Манчестер-роуд, пока не сведут мост, разведённый для прохода грузовых кораблей, и я была не в духе. Шагая по холлу, я даже не видела, что оставляю следы на чуждой викторианской плитке, которую Пегги только что отскоблила дочиста. Когда я уже поднялась по лестнице, вдруг что-то заставило меня обернуться, и я заметила, какую грязь развела.

– Простите, пожалуйста! – воскликнула я виновато.

– Не вздумайте извиняться! – с улыбкой запротестовала Пегги и тут же снова опустилась на колени.

Она была куда старше, чем казалась. Глядя на её гладкую кожу с несколькими морщинками у глаз, вы бы дали ей не больше тридцати, но на

деле ей было под сорок пять. Она была гибкой, как девочка, и двигалась необычайно грациозно. Многие женщины мечтают выглядеть так в её годы – так в чём же заключался её секрет? Что за внутренний радостный свет озарял её черты?

Хотя они были ровесницами, Пегги выглядела лет на двадцать младше, чем Джейн. Её мягкие округлости резко контрастировали с костлявыми конечностями Джейн, ясная кожа казалась ещё свежее на фоне её сухих морщин, а белокурые локоны совсем не походили на седые патлы. Пегги заразительно хохотала, а хихиканье Джейн только раздражало. Но Пегги была невероятно нежна со своей подругой, терпеливо сносила её постоянные оплошности и нервную болтовню и как никто умела её рассмешить. Когда приходила Пегги, Джейн словно немного успокаивалась, чаще улыбалась и даже как будто меньше боялась всего вокруг.

Брат Пегги, Фрэнк, торговал рыбой, и все звали его Фрэнком-рыбником. Все сходились на том, что он продаёт лучшую рыбу на Крипп-стрит. Неизвестно, было ли дело в самой рыбе или же в его трудолюбии или обаянии. Возможно, секрет крылся в успешном сочетании этих факторов.

Он мало спал, поднимался в три часа ночи и отправлялся на Биллингсгейтский рыбный рынок. Ему приходилось таскать за собой тележку – мало у кого в те дни имелся грузовик. На рынке он сам выбирал каждую рыбку, поскольку досконально знал пристрастия покупателей, а в восемь утра уже раскладывал прилавок на Крипп-стрит.

Фрэнк любил свою работу и обладал, казалось, неистощимым запасом энергии. Он веселил всех вокруг, и большинство портовых рабочих получали на обед копчёную селёдку, поскольку их жёнушки были не в силах устоять перед сокрушительным обаянием Фрэнка – он совал им скользкую рыбу, подмигивая и украдкой пожимая руку.

В два часа дня он сворачивал торговлю и брался за доставку. Учёта он не вёл, но своих покупателей знал прекрасно и никогда не ошибался. В Ноннатус-Хаус он приходил дважды в неделю, и они с миссис Би были лучшими друзьями, хотя она и недолюбливала мужчин.

Жены у Фрэнка не водилось, а поскольку он хорошо зарабатывал и всегда был в прекрасном расположении духа, половина местных жительниц вздыхала по нему. Но ему это всё было безразлично. «Женат на своей рыбе», – ворчали они.

Казалось странным, что они дружат с Джейн – она патологически

стеснялась мужчин. Если к нам приходил булочник или водопроводчик и она открывала дверь, это была катастрофа: она принималась щебетать, суесться и пытаться им угодить, что выглядело крайне нелепо. Но с Фрэнком всё было по-другому. Его вечные шуточки и прибаутки становились мягче, и Джейн отвечала застенчивыми улыбками и благодарными взглядами. Или влюблёнными, как предполагали мои коллеги Синтия и Трикси. Неужели зажатая, высохшая Джейн втайне страдала по шумному рыбнику?

– Возможно, – говорила Синтия. – Это так романтично! Бедняжка Джейн. Он ведь женат на своей рыбе.

– Никаких шансов, – отвечала прагматичная Трикси. – Будь она в него влюблена, то вовсе не могла бы с ним разговаривать.

Как-то раз, вернувшись от Пегги и Фрэнка, Джейн печально сказала:

– Как бы я хотела иметь брата. Будь у меня брат, я была бы счастлива.

– Ей не брат нужен, а любовник, – ядовито заметила Трикси чуть позже, и все мы от души посмеялись.

Только потом я узнала печальную историю их дружбы. Джейн, Пегги и Фрэнк вместе выросли в работном доме. Девочки были ровесницами, Фрэнк – на четыре года старше. Джейн и Пегги стали лучшими подругами и делились всем: их кровати в общей спальне на семьдесят человек стояли рядом, за обедом они сидели вместе и вместе работали. А главное, они делились мыслями, чувствами, горестями и маленькими радостями. Сегодня работные дома кажутся приметой далёкого прошлого, но для людей, попавших в такие заведения – вроде Джейн, Пегги и Фрэнка – этот опыт стал определяющим.

Становление рабочих домов

Моё поколение выросло в тени рабочих домов. Наши родители, дедушки и бабушки жили в постоянном страхе, что они попадут в это ужасное место. Потеря дохода из-за болезни или безработицы, затем – выселение и улица; внезапная беременность, старость или смерть родителей также могли привести к нищете. Для многих этот кошмар стал реальностью.

Теперь рабочие дома исчезли, и в XXI веке воспоминание о них уже стёрлось. Большинство современной молодёжи даже и не слышали о них или об их обитателях. Но те, кто жил тогда, помнят. Мемуаров, однако, сохранилось немного – тем ценнее то, что мы знаем о судьбах таких людей, как Джейн, Фрэнк или Пегги.

В Средневековье монастыри и святые ордены помогали бедным и нуждающимся, что было частью их христианского долга. Но в 30-е годы XVI века Генрих VIII положил этому конец, начав расформировывать монастыри. Закон о бедных Елизаветы I от 1601 года должен был обеспечить поддержку тем, кто не способен был прокормить себя по болезни или из-за возраста. В каждом округе строилась богадельня, где могли бы найти приют бедняки. Этот выдающийся поступок просвещённой королевы легитимизовал идею того, что государство несёт ответственность за нуждающихся.

Закон о бедных действовал более двух веков, и он работал, пока сельское население не превышало пять-десять миллионов человек. Но промышленная революция, набиравшая силу в конце XVIII века, навсегда изменила мир.

Одной из характерных особенностей XIX столетия был демографический взрыв. В 1801 году население Англии, Уэльса и Шотландии составляло около десяти с половиной миллионов человек. К 1851-му это число увеличилось до двадцати миллионов, а к 1901-му удвоилось ещё раз и составляло уже сорок пять миллионов. Фермы были не в состоянии ни прокормить, ни обеспечить работой столько народу. Правительство тех лет не могло справиться с этой проблемой, которую только усугубляли практика огораживания и «хлебные законы». Развитие промышленности и надежда получить место манили людей в города. Перенаселение, бедность и голод росли, и закон о бедных уже не мог

контролировать такое количество нищих. Чтобы понимать масштабы нищеты в XIX веке, следует принять во внимание, как стремительно увеличилось население за сто лет.

Викторианская эпоха на самом деле не была периодом благодушного самодовольства, какой её принято изображать. В то время росла социальная осведомлённость: люди начали понимать, какая пропасть отделяет богатых от бедных. Тысячи добросердечных мужчин и женщин из обеспеченных слоёв общества, как правило, ведомые христианскими идеалами, посвящали жизни борьбе, осознав положение дел и посчитав его недопустимым. Пусть им не всегда сопутствовал успех, но они хотя бы говорили о существующих проблемах и стремились решить их.

Члены парламента и реформаторы беспрестанно обсуждали, как можно изменить и усовершенствовать старый Закон о бедных. Была созвана Королевская комиссия, и в 1834 году вышел Акт об улучшении Закона о бедных. Ответственность за бедняков передавалась от округов к союзам округов. Окрусные дома призрения закрывались, и союзы должны были открыть новые, большие учреждения, готовые принять по несколько сотен человек. Подразумевалось, что бедняки таким образом получают и работу, и приют.

Так появились работные дома. Ими управляли супруги, которые вели хозяйство вместе с нанятыми помощниками. Ответственность за каждый дом лежала на местном попечительском совете, а финансирование частично поступало из налогов, а частично – из государственных займов, подлежащих возврату. Расходы покрывались местными налогами, а доходы могли также поступать от заработков обитателей дома.

Есть версия, что система работных домов стала первой попыткой создания системы социального обеспечения в стране. Безусловно, работные дома организовывались для поддержки бедняков, что было началом становления нынешней системы.

В этом смысле они почти на век опередили своё время. Однако на деле благородные идеи реформаторов и законотворцев воплощались ужасающим образом, и работные дома стали местами страдания и отчаяния. Люди зачастую предпочитали умереть, лишь бы не попадать туда. Мой дедушка знал человека, который повесился, когда попечители сообщили ему, что ему следует отправиться в работный дом. Большинство работающих бедняков постоянно балансировали на грани нищеты. Для них работный дом не считался поддержкой – это была чёрная бездна, где пропадали безвозвратно.

Авторы Акта 1834 года предложили строить отдельные работные дома для разных категорий граждан, но через пару лет это разделение упразднили – так было проще и дешевле. Теперь в одних и тех же домах жили все нищие – старые, больные, увечные, дети, душевнобольные, а вместе с ними – здоровые мужчины и женщины, которые просто потеряли работу. Попытка управлять такими разношёрстными группами под одной крышей была обречена на провал.

Изначальная идея заключалась в том, что работный дом – это место, куда идут только в самом крайнем случае, а значит, условия содержания в нём должны быть хуже, чем на улице. Существовали строгие правила приёма, не допускавшие туда лентяев, желающих получить бесплатную крышу над головой. Но в результате страдали все. Никто не знал, как отсечь бездельников и не наказывать при этом невинных.

Чтобы в работные дома обращались исключительно в безвыходном положении, в них действовала жёсткая система правил и наказаний. Семьи разделялись, мужчины жили отдельно от женщин, включая мужей и жён, братьев и сестёр. Детей старше семи лет селили отдельно. В теории считалось, что младенцы и ребятишки до семи могут жить с матерями в женских комнатах. Но теория часто расходится с практикой, и зачастую у матерей забирали чуть ли не младенцев-новорожденных. Здания строились так, что группы нищих не могли общаться друг с другом. Дома почти не отапливали, даже зимой. В общих спальнях обитали до семидесяти человек одновременно. Каждому полагались железная кровать, соломенный тюфяк и одеяло: для морозных зим этого было недостаточно. По ночам людей запирали, и санитарные условия были чудовищные. Им выдавали одежду – грубую тканую униформу, царапающую кожу и бесполезную в холода. Головы заставляли брить, хотя и не всегда. Это делалось, чтобы предотвратить распространение вшей, но иногда это делали и в качестве наказания, особенно для девочек, которых это особенно унижало.

Кормили скудно, и есть зачастую приходилось в молчании. В середине XIX века обитателю работного дома доставалось меньше еды, чем заключённому, хотя к концу столетия положение дел улучшилось.

Выходить за пределы дома разрешалось только с позволения его главы и исключительно для поисков работы или же по особым поводам: на крестины, похороны или на свадьбу. По идее, бедняк мог уйти из работного дома, но на деле это происходило редко, поскольку у людей не было ни работы, ни средств к существованию.

Все эти правила соблюдались под угрозой порки, голодовки и одиночного заключения. Жалобы на условия жизни зачастую пресекались

наказаниями. С хозяевами и работниками следовало вести себя смиренно.

Спустя столько времени легко высокомерно осуждать «викторианское ханжество». Но нельзя забывать, что на самом деле это была первая попытка создания системы социального обеспечения, а каждое новое начинание сопровождается ошибками. За тот век, что существовали работные дома, об их деятельности публиковались отчеты, и предпринимались постоянные попытки их реформации.

Все эти суровые условия должны были отпугнуть бездельников. Беда в том, что поскольку под одной крышей содержали самых разных людей и ко всем применялись одинаковые правила и наказания, страдали все: старики, больные, инвалиды, душевнобольные и дети. В атмосфере работных домов ожесточались души людей и уничтожалось их достоинство.

Ещё стоит упомянуть сотрудников этих учреждений. Поначалу туда шли служить совершенно неподготовленные люди. Предсказать это было невозможно, поскольку это был первый опыт, но в результате дома стали прибежищем мелких тиранов, наслаждавшихся обретенным могуществом. Власть хозяев ничем не ограничивалась, и от них зависело, как будут жить обитатели дома. Следовало соблюдать правила, а глава дома мог быть как добрым и человечным, так и суровым. Единственным навыком, который требовали от претендентов на управление работным домом, было умение командовать и обеспечивать дисциплину – из-за этого туда, например, часто шли бывшие военные.

Трудовая деятельность также быстро стала проблемой. Торговля не входила в цели Акта 1834 года, но, чтобы обеспечить какой-то доход на повседневные нужды, работные дома порой продавали то, что производили бедняки. Это вызывало протесты у частных предпринимателей: продукты производства дешёвой рабочей силы наносили урон их делу, и в результате им приходилось снижать зарплату своим сотрудникам или даже сокращать их. Это обернулось трагедией, поскольку эти работники зачастую содержали семьи – в отличие от обитателей работных домов. Главной же сложностью было то, что в системе рыночной экономики рабочие места не могут возникать ниоткуда (данный вопрос сохранил свою остроту и поныне). Хотя в XIX веке промышленная экономика Великобритании стремительно росла, регулярные рецессии приводили к тому, что тысячи граждан лишались мест, тем самым пополняя ряды обитателей работных домов. Чтобы обеспечить занятость в этих учреждениях, людям предлагали бессмысленный, бесцельный труд: например, мужчинам приходилось дробить камни. В промышленной Англии существовали камнедробильные аппараты, но беднякам приходилось дробить щебень молотами. Кости

животных перетирали в пыль для удобрений с помощью машин, но эти несчастные мололи их вручную. В одном из работных домов стояла зернодробилка, которую часами гоняли по кругу, но впустую: там не было зерна.

Женщины готовили и стирали на всех. В этом контексте часто употребляют слово «скоблить». Ежедневно они скоблили каменные полы, лестницы и коридоры. Помимо всего прочего, женщины и дети должны были вручную шить паруса и щипать паклю, которой конопатили щели. Паклю получали из старых канатов, зачастую покрытых смолой или морской солью, и от этого страдали кожа и ногти. Полученным волокном затыкали зазоры в бортах кораблей.

Согласно Акту 1834 года, дети могли получить обязательное начальное образование (в виде обучения основам счёта и чтения); ребятишки учились три часа в день, и каждый попечительский совет нанимал учителя. Когда в 1870 году приняли Закон об образовании, детей переселили из работных домов в отдельные учреждения и обязали посещать местные пансионы.

Согласно тому же Акту, больным полагались услуги квалифицированного медика, но сестринские обязанности выполняли обитательницы работных домов. В больших группах людей, которых не выпускали за пределы дома, заразные заболевания распространялись с невероятной скоростью. К примеру, в 80-х годах XIX века в работном доме в Кенте из ста пятидесяти четырёх детей только у трёх не обнаружили туберкулёза.

Много говорят о сумасшедших, попадавших в работные дома. Мне кажется, что жизнь там подпитывала в людях безумие. В 1950-х годах мне довелось услышать так называемый «вой работного дома» от женщины, которая в начале века прожила там двадцать лет. От этого звука леденела кровь.

Для тех, кто не мог позволить себе врача или больницу, существовали лазареты. Но их боялись едва ли не больше, чем самих работных домов, и считали пристанищами хворей, безумия, забвения и смерти. Врачи и санитары там были самого худшего порядка и зачастую отличались грубостью и невежеством: ни один доктор, заботящийся о своей карьере, туда бы не пошёл. Отношение медиков, безразличных к жизни бедняков, в полной мере отражало нравы того времени.

Стигма внебрачного рождения искалечила судьбы миллионов неудачливых девушек и их детей. Если возлюбленный бросал свою подругу, а её родители не могли или не хотели обеспечить её с ребёнком,

работный дом зачастую был единственным выходом. Малыш появлялся на свет в лазарете. Когда девушка заканчивала кормить, ей следовало покинуть дом и отправиться на поиски работы. Но рынок труда для женщин был ограничен, тем более для матерей. Им также предлагалось отдать ребёнка на усыновление. Многие врачи объявляли «истеричками», «душевнобольными» или вовсе «дегенератками», после чего детей отбирали насильно и выращивали в работном доме. Предполагалось, что молодая мать найдёт работу на воле и, выплачивая налоги, будет компенсировать траты на содержание и образование своего чада. Если найти место не удавалось, ей приходилось возвращаться в женское отделение работного дома. Это была бессердечная и примитивная система, и правила отражали принятое в обществе отношение к «падшей женщине», подлежащей обязательному наказанию.

Именно такая история привела в работный дом Джейн, мать которой уволили за недозволенную связь со своим нанимателем.

Джейн

– За этой маленькой нахалкой нужен глаз да глаз. Ты слышал, что она болтала за завтраком?

– Не волнуйся, дорогая. Уж я её переломаю.

Речь шла о Джейн – она родилась в работном доме. Ходили слухи, что её отец – высокопоставленный джентльмен, известный как в парламенте, так и среди адвокатов. Когда жена обнаружила его в постели с горничной, девушку немедленно выставили и определили в работный дом, где и появилась на свет Джейн.

Мать выкормила дочь, но сразу же после этого малышку забрали и поместили в ясли. Девушка вернулась в женское отделение работного дома и больше никогда не видела своего ребёнка. Так и вышло, что Джейн выросла в работном доме и другой жизни не знала.

Ей приходилось непросто, но никакие шлепки и наказания не могли оборвать радостный смех Джейн. Во дворе она гонялась за другими детьми или же пряталась за углом и выскакивала к ним с радостным криком. В общих спальнях она скрывалась под кроватями и тыкала палочкой в тюфяки спящих. Начиналась суматоха, надзиратель раздавал шлепки и приказывал замолчать. Джейн, вечной заводиле, доставалось больше всех. Она засыпала в слезах, но наутро с хохотом принималась за старое.

С возрастом боевой характер причинял ей всё больше проблем. От детей ожидали послушания, а если порядок нарушался, как правило, выяснялось, что к этому причастна Джейн. Кто связал шнурки на ботинках госпожи Шарп, пока та сидела и штопала носки? Да так, что она упала, когда встала и попыталась сделать шаг. Виновника не нашли, но Джейн видели неподалёку, поэтому ей задали хорошую трёпку. Кто взобрался по водосточной трубе? Ну разумеется, Джейн. А кто перемешал всю обувь в общей спальне, чтобы всем досталась чужая? Если и не Джейн, то это вполне в её духе, так что наказали именно её.

На беду, Джейн выделялась в толпе – не заметить её было невозможно. Она была выше остальных и гораздо симпатичнее, кудрявая и синеглазая, и, что ещё хуже, куда сообразительнее прочих – а хозяева боялись умных детей. Они велели надзирателям не спускать с неё глаз.

– Шагом, не отставать! Голову выше! Не сутулиться!

Уж с госпожой Хокинс не забалуешь.

Воскресным утром девочки строем шли в церковь. Это была очень

длинная цепочка почти что из сотни человек. Джейн, шагая где-то в середине, наблюдала, как старая толстая госпожа Хокинс семенит рядом, словно пингвин, и не удержалась: у неё был прирождённый дар копировать окружающих, и она растопырила руки, закинула голову и закосолапила. Девочки вокруг захихикали. Тут же Джейн ударили по голове, и с такой силой, что она вылетела из строя и рухнула на дорогу. Её подняли, снова ударили и втолкнули обратно в строй. В ушах у неё звенело, а перед глазами плясали искры, но приходилось идти. Ей было шесть лет.

– Что это такое? – вопрошал директор с побагровевшим лицом, выкатив глаза. – Откуда эта дрянь?

Он глядел на свой собственный портрет, накаляканный на тетрадном листке. Для ребёнка это был очень талантливый рисунок, но директор не был способен это оценить. Он видел себя – с громадными усами, квадратной головой, крохотными глазками и огромным пузом. Рисунок уже три дня ходил по рукам, вызывая всеобщий восторг, что ещё сильнее разъярило мужчину.

Директор собрал девочек в зале и обратился к ним с кафедры. Он напомнил им, что они всего лишь нищенки, которые должны уважать своих благодетелей и повиноваться им. С непослушными, дерзкими и нахальными будут поступать строго. Он поднял перед собой рисунок.

– Кто это сделал? – спросил он угрожающе.

Никто не пошевелился.

– Хорошо. Всех вас выпорют немедленно, начиная с первого ряда.

Джейн встала.

– Это я нарисовала, сэр, – прошептала она.

Её отвели в комнату для наказаний – крохотное помещение без окон и мебели, с одной-единственной табуреткой. На стене висели розги. Джейн жестоко выпороли по голой попе. Несколько дней она не могла сидеть. Ей было семь лет.

«Тут-то она сломается», – с удовлетворением думал директор. Но не вышло. Он ничего не понимал. Как она могла на следующее утро беззаботно танцевать во дворе, словно ничего не произошло?

Джейн не падала духом, потому что она знала тайну. Это была самая настоящая тайна, и она не говорила о ней ни с кем, кроме Пегги. Она хранила её и лелеяла. Именно этот секрет давал ей столько сил и радости. Но именно из-за него Джейн суждено было пережить самое большое несчастье, от которого она потом страдала до конца своих дней.

Слухи о том, что её отец – высокопоставленный джентльмен, дошли до

Джейн, когда она была совсем маленькой. Возможно, она подслушала разговоры надзирательниц, или же кто-то из девочек что-то узнал и рассказал ей. Или же мать Джейн поделилась секретом с товаркой, а та поведала остальным. Мы не знаем, как зарождаются слухи.

Но Джейн считала это не слухом, а истиной. Её отец был настоящим джентльменом, и она знала: однажды он заберёт её. Малышка без конца о нём думала. Она фантазировала, что они разговаривают. Воображала, как она причёсывается и кокетливо на него смотрит, а он любит её кудряшками. Она мчится по двору во весь опор, потому что он наблюдает за ней и восхищается её силой и быстротой. Он всегда рядом. Он повсюду.

Джейн ясно представляла его. Он не походил на мужчин в рабочном доме – ни на угольщика, ни на булочника, ни на истопника. Они все были уродливые и низкорослые, носили грубую одежду и полотняные кепки. Он не напоминал ни директора, ни воспитателей. При одной мысли о них Джейн морщила носик от отвращения. Её отец был другим: высоким и стройным, с тонкими чертами лица и бледной кожей. Пальцы у него были длинные – она смотрела на свои изящные руки и знала, что это у неё от папы. У него были густые волосы – лысых она не любила, – мягкие и седые, всегда чистые и аккуратно причёсанные. Его одежда ничуть не напоминала грязные тряпки, которые носили рабочие, и от её отца никогда не воняло потом. Он носил элегантные костюмы, от него пахло лавандой, на голове у него был цилиндр, а в руках – трость с золотым крестом на набалдашнике.

Она точно знала, как звучит его голос, – в конце концов, они постоянно беседовали. Не грубый и скрипучий, как у других, а низкий и музыкальный, полный искорок смеха, ведь они часто дурачились вместе и потешались над руководством и надзирателями. Когда она нарисовала директора, отец одобрительно прищурился и назвал её умницей.

Так отчего же ей было быть несчастной? Чем больше её били, тем ближе она становилась к папе. Он утешал её, когда она плакала по ночам. Утирал ей слёзы и велел быть храброй. Джейн прекращала рыдать, понимая, что ему нравится видеть её довольной и радостной, и тут же придумывала что-нибудь смешное, чтобы повеселить его. Он так любил её рассказы.

Придумала она и дом. Это был великолепный особняк с длинной подъездной дорогой и чудными деревьями в саду. К двери вели ступеньки, а в комнатах пахло воском и лавандой. На стенах висели картины, на полу лежали роскошные ковры. Отец брал её за руку и вёл по комнатам. Он говорил ей, что однажды заберёт её из рабочего дома, и они будут вместе

жить в этом прекрасном доме с длинной подъездной дорогой и чуждыми деревьями.

Когда Джейн исполнилось семь, она стала ходить в школу при местном совете. Она очень гордилась этим – ещё бы, настоящая школа для взрослых девочек, и Джейн она пришлась по душе. Она впервые в жизни увидела мир за пределами работного дома. Кроме того, ей нравилось учиться, и её юный ум начал развиваться. Она поняла, что может узнать тысячи новых вещей, и стремительно впитывала знания. В работный дом высылали отличные табели. Директора это не трогало. Когда глава школы попросила разрешить Джейн брать уроки фортепиано, потому что у девочки оказался замечательный слух, ей отказали, поскольку беднякам в работных домах не дозволялись никакие особые привилегии. По той же причине Джейн не разрешили исполнять роль Марии в рождественском спектакле.

Джейн была страшно разочарована – в основном потому, что её отец был бы счастлив увидеть её в этой роли. Несколько ночей подряд она засыпала в слезах, пока папа наконец не сказал ей, что не стоит так расстраиваться из-за какой-то глупой школьной постановки. Когда они будут вместе жить в прекрасном особняке с чуждыми деревьями, она сможет играть в самых лучших спектаклях.

Девочек из работного дома старались держать подальше от остальных школьниц. Это происходило из-за того, что несколько матерей заявили, что не желают, чтобы их дочери «якшались с этим отродьем». Сегрегация приносила всем много горя – но только не Джейн. Она смеялась, когда слышала, что ученицам из работного дома запрещается играть с другими детьми, и презрительно встряхивала кудряшками. Она им ещё покажет! Всем этим унылым девочкам, дочерям мусорщиков, дворников и торговцев фруктами. Они ещё пожалеют, когда её папа, высокопоставленный джентльмен, подъедет к школе в экипаже. Она бросится к нему у всех на глазах. Он возьмет её на руки, поцелует и заберёт с собой, а все будут смотреть и завидовать. Учителя станут говорить друг другу: «Мы всегда знали, что Джейн особенная».

Джейн повезло с учительницей. Мисс Саттон была молода, умна и полна энтузиазма. Не будет преувеличением сказать, что она подходила к просвещению нищих с поистине миссионерским пылом. Она разглядела в Джейн необычайные способности и твёрдо вознамерилась развить их. Девочка научилась писать и читать чуть ли не в несколько раз быстрее своих товарок, и, пока мисс Саттон мучилась с остальными детьми, которые учили алфавит и пытались разбирать слова, Джейн писала для неё

рассказы. Сочинение давалось ей легко и радостно – она бралась за предложенные мисс Саттон темы и придумывала чудесные детские истории. Несколько рассказов показали директору школы, и та отметила, что перед ними выдающийся ребёнок, и передала для Джейн экземпляр «Детского сада стихов» Стивенсона. Девочку заворожил поэтический ритм, и она быстро выучила множество произведений наизусть и мысленно читала их отцу.

Мисс Саттон познакомила Джейн с историей и географией, используя вместо учебника детскую энциклопедию. Уроки проходили втайне, поскольку мисс Саттон наняли преподавать чтение, письмо и арифметику. Кроме того, ей хватило благоразумия осознать, что, если она попросит дополнительных занятий для Джейн, ей откажут, и на этом всё закончится.

Мисс Саттон избрала мудрую политику – она выдавала Джейн по книге за раз и говорила:

– Думаю, тебе понравится. Как закончишь, напиши мне об этом, и мы обсудим всё за обедом.

Джейн обожала мисс Саттон, и их беседы о королях, королевах и дальних краях были лучшими моментами её дня.

Детская энциклопедия являлась настоящим сокровищем: десять толстых томов в красивых тёмно-синих переплётках с золотой гравировкой. Джейн жадно поглощала их. Она любила книги, ей нравилось трогать и нюхать их, и она была бы счастлива оставить энциклопедию себе, но это было невозможно: она хранилась в книжном шкафу. Однако мисс Саттон по первой же просьбе выдавала её. Джейн относилась к ней с благоговейным трепетом. Каждое слово здесь было священо – ещё бы, ведь так говорилось в «циклопедии».

Однажды ей попалось длинное незнакомое слово. Водя пальцем по странице, она принялась разбирать его вслух. «Пар» – тут всё ясно. «Ла» – хм, странно. «Мент» – вроде бы понятно, но что значит всё вместе? И тут вдруг всё прояснилось: парламент. Говорили, что её папа – в парламенте. Она бросилась читать с такой страстью, будто от этого зависела её жизнь. Дети вокруг разбирали слова: К-О-Т, П-Ё-С. Джейн ничего не слышала – она жадно впитывала информацию о парламенте и конституции Великобритании. Она мало что понимала, но это было неважно, ведь речь шла об отце. Девочка перелистнула несколько страниц и вдруг увидела его. Иллюстрация так и бросилась ей в глаза. Это был папа, именно такой, каким она всегда его воображала: высокий, худой, с проседью, с добрым и задумчивым лицом. В элегантном сюртуке с фалдами, узких брюках и роскошных ботинках. С цилиндром на голове и – тростью с золотым

крестом на набалдашнике в руках. Пальцы у него были длинные и изящные, прямо как у неё. Джейн поцеловала страницу.

Зазвенел колокол, сигнализирующий о начале обеденного перерыва. Подошла мисс Саттон:

– Пойдём, Джейн, пора есть.

– Что такое парламент?

– В парламенте заседает правительство Его Величества. Пойдём.

– А где они сидят? Мне туда можно? Отведёте меня?

Мисс Саттон рассмеялась. Любознательный ученик – счастье для настоящего учителя.

– Обещаю, расскажу о парламенте всё, что знаю. Но сначала надо подкрепиться. Ты же хочешь вырасти, чтобы стать большой и сильной? Приходи после обеда.

После еды мисс Саттон, как смогла, объяснила семилетней девочке, как члены парламента придумывают законы, по которым живёт страна.

– То есть это очень важные люди, так? И очень важные правила? – спрашивала Джейн.

– Очень, важнее у нас никого нет.

– Важнее директора работного дома?

– Гораздо. Члены парламента – самые значимые люди в стране после короля.

Дыхание Джейн участилось. Она не в силах была скрыть свой восторг. Мисс Саттон с изумлением наблюдала за ней. Джейн посмотрела на учительницу, её синие глаза сияли («Какое чудесное сочетание, тёмные кудри и синие глаза», – подумала мисс Саттон). Девочка закусила нижнюю губу. Недавно у неё выпал молочный зуб, и теперь она со свистом втянула воздух через щёлочку, потом потрогала её языком. Наконец она расплылась в улыбке и доверительно прошептала:

– Мой папа работает в парламенте.

Мисс Саттон, мягко говоря, удивилась. Она слишком хорошо относилась к девочке, чтобы оборвать её резким замечанием: «Не говори глупостей!», но рассудила, что она обязана как-то развеять это заблуждение.

– Ну что ты такое говоришь, Джейн, это вряд ли.

– Нет, он там, я в книге видела! Я его видела.

Она нашла нужную страницу и ткнула пальцем в портрет типичного члена парламента, изображённого таким, каким его вообразил иллюстратор.

– Джейн, это не настоящий человек, а просто рисунок, чтобы мы знали,

какую форму носят члены парламента. Он не твой отец, милая.

– Папа! Это мой папа! – разрыдалась Джейн. – Вы просто не знаете! Вы его не знаете!

А я знаю, и это он!

Джейн в слезах выбежала из класса.

Бедная мисс Саттон не понимала, что делать, и отправилась к директору школы. Вместе они решили, что подобная реакция – всего лишь проявление тоски впечатлительного ребёнка по неизвестному отцу. Директор посоветовала занять девочку чем-нибудь ещё и больше не упоминать о парламенте. Так Джейн сама обо всём забудет.

Джейн пришла к тому же выводу. Она не станет говорить об отце никому, кроме Пегги. Никто, даже мисс Саттон, не стоит доверия. Она притворилась, будто совсем позабыла об этой беседе, и вела себя как ни в чём не бывало. Но теперь Джейн знала, в какой книге, на какой странице живёт её папа, и при любой возможности она доставала том из шкафа и любовалась им. Если кто-то проходил мимо, она торопливо переворачивала лист, притворяясь, будто читает о чём-то другом.

Сэр Иан Астон-Смали

Сэр Иан Астон-Смали считался настоящим филантропом. Этот выходец из Оксфорда посвятил большую часть жизни (и значительную часть состояния) улучшению условий жизни детей в бедных районах Лондона. Он основал Оксфордское общество помощи бедным детям и выделял средства для отдыха ребятишек из рабочих домов. Этот труд был также по душе и его жене, леди Лавинии. Они изучали жизнь в рабочих домах, и, хотя оба признавали, что с середины века положение дел значительно улучшилось, они своими глазами видели сотни бледных, неулыбчивых малышей в домах и приютах и стремились им помочь. Идея ежегодных каникул принадлежала леди Лавинии.

– Неужели это так много, – вопрошала она, – две недели у моря, где все эти нежеланные дети могли бы дышать свежим воздухом и греться на солнце?

Противники этой идеи обдали её презрением.

– Каникулы! Для нищих! А больше им ничего не надо? Пусть будут благодарны, что их кормят и содержат!

Сэр Иан с супругой не отступали. Когда стало известно, что одной из причин рахита является недостаток солнечного света, это оказалось ещё одним аргументом за, ведь многие дети в рабочих домах страдали от данного недуга. А они как раз предлагали вывезти их на солнце.

Со временем пара одержала победу, и, к счастью, комитет при небольшом перевесе голосов выпустил резолюцию выделить деньги на каникулы детей из одного лондонского рабочего дома. В случае, если эксперимент окажется успешным, было решено выделить средства ещё на пять домов.

Подходящие постройки нашлись в Кенте – это был ряд амбаров и сараев в поле, которые вполне могли бы служить детскими спальнями, если постелить на полу соломенные тюфяки. Один из сараев должен был стать кухней. Поле вело к морю. Сэр Иан вместе с другими членами комитета лично отправился в Кент, чтобы обследовать условия, и остался доволен.

После этого он поехал в выбранный для эксперимента рабочий дом, чтобы лично сообщить детям, как им повезло. Эту приятную обязанность он никому не уступит, заявил он жене. Разве не он часами спорил с комитетом? Теперь же ему полагалась награда в виде детской радости.

Сэр Иан сел на поезд в Оксфорде, после чего пересел в такси, которое отвезло его в Ист-Энд. Он велел водителю остановиться в миле^[2] от рабочего дома, чтобы прогуляться и ощутить местную атмосферу. На улицах он привлекал всеобщее внимание – высокий, худой, хорошо одетый, опрятный.

– Вот это франт, – шептались вокруг.

Сэр Иан не подозревал, что на него все смотрят. Он сосредоточился на своей миссии и был твёрдо уверен, что с годами на каникулы будут выезжать дети из всех приютов в стране.

Ученицы возвращались из школы. Джейн шла где-то в середине и тихо напевала себя под нос. Она наблюдала за хвостиками на голове девочки перед собой и гадала, почему они качаются чаще, чем она шагает. «Наверняка есть какая-то причина», – думала она, но тут она подняла взгляд, и её сердце замерло. Хвостики, подруги, улица, дома, само небо – всё вдруг исчезло. По другой стороне улицы шёл её папа, и он направлялся к их рабочему дому. Она застыла на месте, и остальные девочки стали наткаться на неё. Началась суматоха.

– А ну двигай! – гаркнула госпожа Хокинс и ударила Джейн по голове. Но она ничего не услышала и не почувствовала. Её отец вошёл в ворота рабочего дома и направился ко входу. Она сразу его узнала. Он выглядел именно так, как она представляла, и в точности напоминал портрет в энциклопедии – высокий, худой, в серых брюках и сюртуке, с цилиндром и тростью. Он пришёл за ней, как и обещал.

Джейн захлестнул поток невероятной радости и любви, не выразимой словами взрослых. Мы не можем в полной мере осознать ту силу чувств, которая присуща детям, хотя все были ими когда-то. Девочка чуть ли не задыхалась от нахлынувших эмоций. Ей казалось, что внутри у неё – нечто огромное, доселе неизвестное, и что её грудь вот-вот разорвётся.

– Шагай, тебе говорят!

Ещё один подзатыльник, и Джейн бегом пустилась догонять остальных. Дверь за её отцом закрылась, а ученицы повернули за угол, к их входу, и выстроились в ожидании осмотра и разрешения зайти.

Джейн пулей бросилась в общую спальню и столкнулась на лестнице с воспитательницей. Девочка вся покраснела и, с трудом переводя дух, набросилась на женщину:

– Скорее! Мне нужно чистое платье и свежий фартук!

Воспитательница не привыкла, чтобы дети обращались к ней в подобном тоне. Она стряхнула руку Джейн.

– Не говори глупостей. Платье получишь в воскресенье, не раньше.

Джейн топнула ногой.

– Мне надо сейчас! Пришёл мой папа, мне надо переодеться в чистое!

– Кто-кто пришёл?

– Мой папа! Он внизу, у директора. Я видела, как он вошёл.

Она говорила так настойчиво и убедительно, что воспитательница сдалась и, вопреки всем правилам, выдала Джейн чистое платье и фартук. Девочка торопливо ополоснула лицо и руки, расчесала волосы, чтобы освежить кудряшки, и бросилась вниз, к своим товаркам.

Воспитательница спустилась на первый этаж и сообщила коллегам о произошедшем. Все рассудили, что ребёнок, очевидно, сошёл с ума, но одна женщина с ухмылочкой заметила:

– А вдруг она права? Все же говорят, что её отец – джентльмен. Так там один пришёл к директору. Мы ж не знаем, зачем.

И она многозначительно почесала нос.

Девочки расселись на скамьях в общем зале – младшие в передних рядах, старшие позади. Джейн расположилась в пятом ряду, не отрывая взгляда от двери в ожидании отца. Она сгорала от нетерпения.

Дверь распахнулась, и в зал вошёл сэр Иан, а следом за ним – директор. Сердце её вновь замерло. Это был он – то же серьёзное, но доброе лицо, те же седые волосы и те же глубоко посаженные, чуть смеющиеся глаза. Джейн выпрямилась – она и так была выше остальных девочек, но сейчас специально расправила плечи, чтобы выделиться. Во взгляде её пылала любовь, губы приоткрылись, белые зубы сверкали.

Сэр Иан обратился к детям с кафедры. Перед ним были десятки детских лиц – большинство, впрочем, мрачные и безучастные, а взаимодействовать с аудиторией, которая тебя не трогает, как известно, очень непросто. Он принёс радостную весть, и ему хотелось увидеть радость в ответ. Но большинство воспитанниц смотрели прямо перед собой, и их лица ничего не выражали. Впрочем, одна девочка в центре зала казалась необычайно оживлённой, и сэр Иан поступил так, как множество ораторов до него, – он начал, обращаясь именно к ней. Он заметил, что лето уже близко и в Лондоне будет невыносимо жарко.

– Поэтому мы поедem к морю, – торжественно произнёс он.

Девочка ахнула, и глаза её засияли.

Сэр Иан говорил о побережье, о полях.

– Нам будет очень весело, – пообещал он.

Бедняжка, казалось, едва сдерживала себя.

– Там можно будет купаться, строить замки из песка и собирать

ракушки, – продолжал джентльмен.

Джейн тяжело дышала, то сжимая кулаки, то принимаясь ломать пальцы.

– Каникулы не за горами, так что можно начинать готовиться! – сказал сэр Иан.

Девочка глубоко вздохнула. Он сошёл с кафедры, весьма довольный собой. Неплохая речь, а как хорошо её приняли!

Директор тоже заметил поведение Джейн и сделал мысленную пометку – напомнить ей, чтобы вела себя скромнее. Он ещё не слышал про чистое платье и фартук.

Воспитанницы стали выходить из зала, проходя мимо директора и сэра Иана. И тут Джейн утратила над собой всякий контроль. Она подбежала к джентльмену, обняла его и разрыдалась:

– Спасибо, папа, спасибо, спасибо!

Мужчина был удивлён и даже несколько тронут. Взъерошив ей кудри, он пробормотал:

– Ну-ну, детка, не плачь. Ты скоро поедешь к морю, там будет весело.

Директор извинялся и пытался оттащить Джейн, но сэр Иан остановил его, заметив, что ребёнку делает честь подобное чувство благодарности. Он похлопал девочку по спине и предложил ей свой батистовый платок.

– Вытри глазки. К чему портить такое прелестное личико слезами? Ну-ка, улыбнись. Так-то лучше!

Девочки шли мимо, но Джейн продолжала жаться к гостю. Директор кипел от возмущения. Когда последняя из воспитанниц вышла, сэр Иан наконец отцепил Джейн.

– Ну давай, дитя моё, беги, – сказал он. Беги к подружкам. Обещаю, летом ты поедешь к морю.

Джейн встала на цыпочки, коснулась его щеки и произнесла:

– Папочка, милый папочка, я так тебя люблю.

Она шептала очень тихо, так, чтобы её услышал только папа, но от директора это не ускользнуло, и он вполголоса велел воспитательнице отвести Джейн в комнату для наказаний. Затем он проводил гостя в отделение мальчиков, где тот снова произнёс свою речь.

Джейн примчалась к подругам. Все они были в восторге, и она тут же очутилась в центре внимания, с гордостью заявив:

– Это был мой папа. Он меня заберёт.

Девочки загалдели – большинство ей поверили, хотя некоторые из старших сомневались.

– Не говори глупостей. Мы все поедem, не ты одна.

– Ну, может, кого-то он и возьмёт, – высокомерно отвечала Джейн, – но это мой папа, и он пришёл ко мне. А потом мы будем жить в его большом доме.

Она не заметила, что за спиной у неё стоит воспитательница, но, увидев взгляды подруг, обернулась. Та схватила Джейн за плечо.

– Пойдём-ка. Тебя вызывает директор.

Сердце Джейн радостно ёкнуло, и она восторженно оглядела товарок.

– Видите! Папа меня сейчас заберёт! Поэтому меня и вызывают.

Воспитательница смотрела недобро, и девочки занервничали. Но счастливая Джейн уверенно зашагала прочь. Её отвели к комнате для наказаний, втолкнули внутрь, после чего заперли.

Джейн была потрясена, очутившись в крохотной – всего восемь футов^[3] – комнатке без окон, за исключением фрамуги над дверью. Мебели здесь не было, только трёхногий табурет на каменном столе. На стене висели разновеликие розги и кожаная трёххвостая плетка со свинцовыми шариками.

Джейн ничего не понимала. Почему её отвели сюда? Впрочем, какая разница. Она до сих пор ощущала папины добрые тёплые руки, чувствовала, как он гладил её по голове, слышала его голос: «Дитя моё». Какая разница? Ничего теперь не важно – она сказала, что любит его, он назвал её своей и обещал отвезти к морю.

Джейн уселась на табурет и принялась ждать.

Сэр Иан Астор-Смали вернулся тем вечером в Оксфорд, его переполняло чувство благодетельного довольства. День выдался замечательный. Они обо всём договорились с директором, выбрали даты, заказали билеты и обеды и даже связались с поставщиком одежды. Неудивительно, что он был в чудесном настроении. Он поможет трём с лишним сотням несчастных детей и представит комитету самый удовлетворительный отчёт.

Леди Лавиния всё поняла по его лицу. Она разделяла радость супруга. Служанка принесла поздний ужин, и они стали обсуждать проделанную работу. Он рассказал, как дважды выступал перед детьми – девочками и мальчиками.

– Они все такие невзрачные, бедняжки, – говорил он, – во многих нет ни искры жизни. Ничуть не похожи на наших ребятишек, буйных и непослушных.

Леди запротестовала – их дети не так уж плохи.

– Впрочем, продолжай, милый.

– Но была там одна девочка, особенная, – делился он. – Такая энергичная, ловила каждое слово, не сводила с меня глаз и была просто счастлива. Она даже подбежала ко мне потом, чтобы поблагодарить.

Сэр Иан чуть было не обмолвился, что девочка назвала его отцом, но передумал. В конце концов, женщины – странные создания. Кто знает, что им взбредёт в голову.

Леди Лавиния спросила, как выглядела эта воспитанница.

– Не знаю. В этой чёртовой форме они все одинаковые. Помню, что у неё тёмные волосы, и всё. Но она единственная подошла ко мне и сказала «спасибо».

Женщина ласково улыбнулась мужу.

– Какая молодец, – сказала леди. – Она наверняка будет помнить этот день всю свою жизнь.

Этот день

Джейн просидела в комнате для наказаний почти два часа, поскольку директор сначала препроводил сэра Иана в отделение мальчиков, затем занялся другими делами. После этого ему захотелось поужинать и обсудить возмутительное поведение девчонки со своей женой.

Два часа – это невероятно долгий срок для запертого ребёнка (Джейн тогда было восемь). Она проголодалась и занервничала. Не то чтобы она чего-то боялась – её по-прежнему переполнял восторг. Отец обнял её и назвал своей.

Услышав, как в замке поворачивается ключ, она вздрогнула и принялась взволнованно разглаживать фартук и поправлять кудряшки. В помещение вошли директор и воспитатель. Она так и обмерла.

– Где мой папа? – спросила она тихо.

Директор и так кипел от злости, а её вопрос только пуще рассердил его. Он шагнул к ней и отвесил пощёчину. Девочка отлетела к стене.

– Чёртова негодяйка! Я выбью из тебя эту дурь.

Но Джейн была не из робких, а теперь она чувствовала себя защищённой и никого не боялась. Глаза её сверкали.

– Я всё расскажу папе! – выкрикнула она.

Директор ударил её ещё раз, уже сильнее.

– Сэр Иан Астор-Смали не твой отец! Поняла? Повторяй за мной: «Сэр Иан Астон-Смали не мой отец». Повтори!

И тут произошло нечто неожиданное. Не вполне понятное взрослому, но совершенно естественное для ребёнка. Дети зачастую воспринимают наши слова вовсе не так, как следует, особенно если для них это нечто новое и непонятное. (Например, всё своё детство моя дочь считала, что наш телефонный номер звучит «сотри пятно». Она слышала, как мы произносим «сто три-пять-ноль» – 10350.)

Джейн показалось, что директор сказал: «Сэр Иан Астон-Смали – немой гордец». Полная чушь. Она изумлённо на него уставилась.

– Повторяй! Немедленно! – кричал директор.

Она молча на него смотрела.

Мужчина вновь повторил ту же фразу и угрожающе замахнулся. Джейн всё так же недоумённо на него глядела.

– Немой гордец? – повторила она неуверенно.

– Маленькая дрянь, – прошипел директор. – Сначала оскорбила сэра

Иана, а теперь решила шутить со мной? Разденьте её! – последняя реплика была обращена к воспитателю.

Тот схватил девочку и принялся расстёгивать ей пуговицы на платье. Тут Джейн испугалась и стала вырываться.

– Отпустите! Я всё расскажу папе!

– Бесстыжая дрянь, – пробормотал воспитатель и сорвал с неё платье. Она стояла перед ними, голая, плачущая и перепуганная, но всё ещё не сдавалась.

– Держите ей руки и поверните спиной, – приказал директор, снимая со стены плётку. Увидев её, Джейн закричала:

– Нет! Не надо! Отпустите меня! Папа!

Первый удар застал её врасплох. Боль была пронзительной, словно удар молнии. Не успела она перевести дух, как последовал второй. Когда её ударили в третий раз, Джейн, корчась от боли, вдруг осознала, что происходит. Собравшись с духом, она принялась вырываться с криком:

– Хватит! Нет! Папа!

Четвёртый удар оказался ещё сильнее. Свинцовые шарики врезались ей в спину. Боль была невообразимая. Порка по спине и плечам невыразимо мучительна, поскольку кости представляют из себя целую массу очень чувствительных нервных окончаний, и они находятся в этих местах прямо под кожей – плоть почти не прикрывает их. Плётка раздирала кожу, обнажая кости. Свинцовые шарики ранили тело.

К пятому удару Джейн начала терять сознание. Она повисла всем своим весом на руках воспитателя, и её стошнило ему на брюки.

– Какая мерзость! – воскликнул он и ударил её коленом по челюсти. Девочка прикусила язык, и изо рта её полилась кровь.

Директор не останавливался. Он планировал двадцать ударов, но жена образумила его: «Ты же не хочешь её убить. Начнутся вопросы. Десяти ударов будет вполне достаточно».

Джейн уже не чувствовала боли – она ощущала лишь, как трясётся её тело. Она ничего не слышала, а перед глазами у неё клубился алый туман.

Восемь... девять... десять. Директор с наслаждением нанёс последний удар. Воспитатель отпустил Джейн, и она рухнула на пол. Она описалась и упала в лужу из мочи, рвоты и собственной крови.

– Позовите женщин, чтобы отвели её в общую спальню. Велите, чтобы явилась в мой кабинет завтра к восьми утра, перед уроками.

Отдав эти приказы, директор повесил плётку на крюк и вышел.

За девочкой пришли нянька и воспитательница. Первая была

шокирована, но воспитательница не раз видела подобное и осталась совершенно равнодушна.

– Ничего, оклемается. Хорошая порка детям только на пользу. «Пожалеешь розги – испортишь ребёнка». Вставай, лентяйка, и надевай платье.

Нянька пришла в ужас:

– Вы видели её спину? Ей нельзя надевать платье! Тут нужны вата, мазь и бинты.

– Обойдётся, – строго сказала воспитательница. – Директор не допускает, чтобы кого-то выделяли.

Няня сняла фартук и закутала в него девочку. Джейн едва держалась на ногах, а о том, чтобы идти, не было и речи, поэтому её отнесли. Няня положила её на кровать лицом вниз и принесла тазик ледяной воды, после чего несколько часов сидела рядом, омывая спину девочки – холодная вода останавливала кровь и сужала капилляры, тем самым уменьшая воспаления.

Несмотря на боль, Джейн уснула. Нянька продолжала ухаживать за ней. В спальню вернулись притихшие, напуганные воспитанницы и разошлись по кроватям. Почти никто не шептался. Самую живую и яркую из них только что избивали до полусмерти, и они пребывали в ужасе.

Одна из девочек, маленькая и белокурая, подошла к няньке вся в слезах. Она сказала, что её зовут Пегги, и принялась что-то шептать Джейн и целовать её. Малышка спросила няню, чем помочь, затем взяла губку и принялась протирать Джейн спину. Так они и выхаживали её – потрясённая нянька и плачущая девочка, – пока Пегги не уснула от усталости.

Возможно, именно их забота спасла Джейн жизнь. Всю ночь она то приходила в сознание, то вновь впадала в забытье, и нянька сидела рядом, пока остальные спали. Иногда Джейн начинала стонать и шевелиться. Периодически она слабо звала папу. Порой крепко сжимала няне руку. Та с удовлетворением заметила, что раны на спине начали подсыхать, и девочка очевидно сохранила подвижность ног, так что ей хотя бы не сломали позвоночник. Так проходили часы.

Директор приказал Джейн явиться к нему в восемь утра, перед уроками, но девочка не смогла подняться. Пришла супруга директора. Хотя в глубине души она была потрясена видом воспитанницы, но вслух заявила, что та симулирует, и так дёрнула за тюфяк, что Джейн упала с кровати на пол – и осталась там лежать, не шевелясь. Женщина смерила её ледяным взглядом, перевернула её неподвижное тело носком туфли и заявила, что

девочка может провести вечер в постели, но на следующее утро пусть приходит в школу.

Желая помочь, нянька (она ничего не знала о произошедшем) обратилась к уходящей даме:

– Девочка всю ночь звала отца, мадам. Может, нам стоит его пригласить?

К её недоумению, женщина пришла в неистовство.

– Отца? Дрянная, испорченная девчонка! Да сколько можно?!

С этими словами она вылетела из комнаты и побежала к директору, чтобы сообщить ему об этом новом откровении. Им предстояло отучить мерзавку лгать.

На следующий день Джейн не смогла явиться в класс. Она провела в постели ещё немало времени. Боль постепенно стихала, и в голове у неё начало стало проясняться. Она начала вставать и понемногу есть, но почти не говорила и не поднимала глаз.

Жена директора пришла в общую спальню и велела Джейн перестать притворяться и немедленно идти на занятия, но перед этим явиться к её супругу в кабинет. Девочка побелела и задрожала. Она попыталась выйти из комнаты, но ноги отказали ей, и она рухнула на пол. Надзирательница подняла её и стащила вниз по лестнице. У двери кабинета Джейн стошнило, и рвота залила весь фартук. Женщина была в ярости.

– Мы эту дурь из тебя выбьем! – гаркнула она и сорвала с девочки фартук.

Сидя за столом, директор смерил Джейн взглядом. Надзирательница удерживала её, не то она наверняка упала бы.

– Испорченный ребёнок. Омерзительная лгунья. Тебя ничем не исправить. Тебя уже наказали, а ты всё равно продолжаешь называть сэра Иана Астора-Смали отцом. Если я услышу об этом ещё хоть раз, тебя снова выпорют. Но моя супруга просит, чтобы сегодня тебя пощадили. Видишь, как добра госпожа? А ведь ты этого не заслуживаешь.

А теперь, чтобы ты не забывала о своей порочности, а окружающие могли извлечь из этого урок, будешь носить мешок вместо платья. Иди. И, если снова обмолвишься, что сэр Иан Астор-Смали – твой отец, я тебя опять обработаю. И в этот раз жалеть не буду.

Джейн отвели в прачечную и отобрали платье. После чего на неё натянули мешок с тремя прорезями – для рук и головы – и перетянули верёвкой вместо пояса. Волосы ей обстригли под корень, и она стала почти лысой. В таком виде её и отправили на уроки.

Мисс Саттон пришла в ужас, увидев Джейн, – но поведение девочки потрясло её ещё сильнее. Она беспрестанно дрожала и горбилась. Стоило мисс Саттон шагнуть в её сторону, та в ужасе отшатывалась. Казалось, что она боится всех, даже других детей. Джейн не читала и почти не участвовала в занятиях. Руки у неё так тряслись, что она не могла писать. Но больше всего пугало её молчание. За две недели малышка не произнесла ни слова.

Директору написала его начальница и спросила, что у них произошло. Он ответил, что наделён абсолютной властью над детьми в работном доме и не обязан ни перед кем держать ответ. Он напомнил ей, что состоит в совете правления и в случае какого-либо конфликта может поднять вопрос о её компетентности. Дальнейшего разбирательства не последовало.

На Джейн сыпались унижения. Она начала писаться во сне. В работном доме провинившихся таким образом детей ставили на возвышение посреди столовой с мокрой простынёй в руках и лишали завтрака. Всю зиму и весну Джейн – несчастная, в мешке, волосы острижены клоками – стояла там у всех на виду, сжимая в руках простыни. День за днём она отправлялась на уроки голодной. Этим утренним наказаниям не было конца.

Шрамы на спине Джейн зажили быстрее, чем шрамы на душе. Она так и не восстановилась – никто больше не наблюдал её улыбку, не слышал её смех. Раньше она ходила гордо и уверенно – теперь шаркала ногами и сутулилась. Окружающие редко видели её сверкающие синие глаза, поскольку она лишь иногда боязливо посматривала на окружающих и тут же снова опускала взгляд. Говорила она теперь только шёпотом. Отличные оценки сменились посредственными. Мисс Саттон была в отчаянии, но, сколько она ни пыталась приободрить Джейн и вновь усадить её писать рассказы, как бывало раньше, всё было тщетно. Девочка зажимала рот руками и в ужасе смотрела на учительницу. Она лепетала: «Да, мисс Саттон» – и через полчаса всё так же сидела перед чистым листом.

В её сознании тоже царила пустота. Бедняжка почти не помнила, что произошло перед поркой, и уж точно не понимала, почему так вышло. Она постоянно прокручивала события того дня, но эти размышления так никуда и не привели. Всё смешалось и казалось бессмысленным.

Джейн догадывалась, что дело в том, что её отец пришёл в работный дом и сказал всем, что заберёт её летом. Но почему директор так рассердился? Папа же не сердился – так почему же? Почему он выпорол её и заставил носить мешок? Она пыталась понять, что же сделала не так, но ничего не приходило на ум. И почему директор говорил, что сэр Иан

Астон-Смали – немой гордец? Это было совершеннейшей загадкой. Почему немой? У него же великолепный голос, низкий и звучный, как она и предполагала. Директор считал её отца гордецом – и поэтому её выпорол? Эти вопросы бесконечно крутились у неё в голове, словно рой ос, пока она не поняла, что скоро сойдёт с ума от этого шума.

Но Джейн ни разу не обвинила ни в чём отца и не усомнилась в своей любви. Её привязанность только окрепла – она увидела его, и обняла, и он погладил её по голове и назвал «дитя моё», и сказал, что заберёт её. Наступила весна, а за ней должно было прийти лето. Уже скоро. Надо было только потерпеть и не нажать новых неприятностей. Папа придёт, как каждый год приходит лето, и вытащит её из рабочего дома. Она цеплялась за эту призрачную надежду – единственное утешение в её несчастье.

Май, июнь, июль. Летние дни утекали. Все восторженно шушукались – им предстояло путешествие. Такого раньше никогда не случалось. Джейн немного воспрянула духом и иногда даже стала поднимать взгляд на окружающих.

Наступил август. Всё было готово. Девочкам выдали летние платья и сандалии. Воспитанницы говорили только об одном – детей буквально лихорадило от предвкушения. Подошёл день отъезда.

После завтрака дети собрались в столовой.

– Теперь встаньте друг за другом и спокойно выходите на улицу, – скомандовала супруга директора. – Мы едем на вокзал.

Девочки выстроились шеренгой.

– Так, а ты остаёшься.

Мадам ткнула пальцем в Джейн. Остальные вышли.

Джейн замутило от обиды. Не двигаясь с места, она наблюдала, как уходят её подружки, слышала эхо их шагов по коридору, хлопанье дверей. Потом наступила тишина.

Её сердце было окончательно разбито. Раньше она страдала лишь физически, но теперь малышку ждала настоящая эмоциональная пытка. Джейн охватило отчаяние, потому что она понимала – её отвергли. Папа не заберёт её. Он не любит её и не хочет видеть. Вот почему она здесь, в рабочем доме. Отец отправил её сюда, потому что она ему не нужна, и они больше никогда не встретятся. Она вдруг ясно это поняла.

На протяжении долгих недель Джейн составляли компанию лишь эти горькие мысли да ещё жена привратника, которая дважды в день приносила ей еду. Девочка скучала – не было ни книг, ни игрушек, ни карандашей и бумаги. По ночам она засыпала в слезах, в одиночестве ела в

огромной столовой, одна гуляла по двору (который здесь называли детской площадкой) и бродила вдоль стен. Она не говорила ни с кем, кроме той женщины.

Затем все вернулись – загорелые и счастливые. Джейн слушала бесчисленные истории о том, как они купались, гребли, ловили крабов и строили замки из песка, и не говорила ни слова.

Ощущение собственной ненужности, отверженности – самое тяжёлое, и брошенный ребёнок, как правило, так до конца и не восстанавливается. Теперь у Джейн всё время болело где-то в области солнечного сплетения, и она так и не оправилась от этой травмы.

Джейн не знала, что сэр Иан и леди Лавиния посетили детский лагерь. Они играли с детьми, устраивали для них забеги по пляжу, наняли погонщика с осликом, который катал всех по очереди, а по вечерам читали им вслух. Они были очень довольны собой.

Как-то сэр Иан спросил директора:

– Что-то не видно той прелестной девчушки, что поблагодарила меня после нашей первой встречи. Где она?

Директор оторопел, но на помощь пришла его верная супруга и сообщила, сделав реверанс:

– У девочки есть тётя, сэр, и она каждый год забирает её на лето. Уверяю вас, сэр, она сейчас играет на пляже где-нибудь в Девоне.

И она вновь исполнила реверанс.

– Рада слышать, – сказала леди Лавиния, – но мне немного жаль. Муж так хорошо отзывался об этой малышке.

Когда они ушли, директор сказал:

– Слава богу, мы не привезли эту чертовку. Если бы она подбежала к нему на глазах у его жены и назвала бы его папой, неизвестно, что бы из этого вышло.

И на этот раз директор, возможно, оказался прав.

Фрэнк

Фрэнк почти не помнил отца, но в его памяти сохранилось, как он смотрел на папу с обожанием, каким высоким и сильным тот был. Его громкий голос и огромные грубые руки. То, как в детстве он водил пальчиком по отцовским венам, а потом разглядывал свою белую кожу и гадал, будут ли у него когда-нибудь такие руки. Папа был его кумиром, и больше всего на свете Фрэнк мечтал походить на него. В поздний, горький период детства он безнадежно пытался вспомнить, как выглядел отец, но образ неизменно ускользал от него, оставляя лишь неясные детали.

Мать он помнил куда лучше – милую, нежную маму. Она как раз не была сильной, потому что вечно кашляла. В памяти остался звук её голоса – она пела сыну и возилась с ним. А лучше всего Фрэнк помнил, как она укладывала его в постель и ложилась рядом.

Зимой мама почти не выходила из дома из-за слабости в груди. Собираясь на работу, отец говорил:

– Ну что, малыш, теперь твоя очередь присмотреть за мамкой. Не подведи.

И Фрэнк взволнованно глядел на своего кумира и со всей серьёзностью принимал возложенное на него задание.

Когда родился младенец – такой крохотный, что все пророчили ему скорую смерть, – Фрэнку исполнилось четыре года. Вся свою жизнь он был единственным ребёнком и помыслить не мог, что в семье появится другой. Многие его ровесники ревновали к малышам, но только не Фрэнк. Его заворожило это миниатюрное существо (не больше чайной чашки), которое умело лишь ёрзать да плакать и которому требовалась постоянная забота. Ни на миг он не сожалел о том, что новорождённому достается столько заботы. Напротив, ему нравилось помогать. А более всего его восхищал процесс кормления – он старался не пропускать этот таинственный прекрасный ритуал. Он потихоньку подбирался к матери и зачарованно следил, как младенец сосёт грудь, как появляется молоко из соска.

Девочка была недоношенной и слабой, и долгое время её жизнь висела на волоске. Отец не раз говорил ему:

– У тебя теперь своя работа, сынок – следить за сестрёнкой. Ты за неё в ответе.

Фрэнк заботился о ней и почти не играл во дворе с мальчишками,

поскольку ему надо было ухаживать за малышкой.

Она выжила. Набралась сил и стала довольно пухленькой, хотя навсегда осталась низкорослой. Ей назвали Маргарет, но все звали девочку Пегги, поскольку имя Маргарет казалось слишком длинным для такой малышки. После крещения отец сказал Фрэнку:

– Хорошо справился, сынок. Я тобой горжусь.

А потом случилась беда. В те годы в Восточном Лондоне бушевал тиф. Отец, такой большой и сильный, вдруг заболел и через несколько дней умер. Слабую мать и сестрёнку болезнь пощадила. Матери пришлось пойти убираться в конторы. Каждое утро и вечер она отправлялась на работу, оставляя Фрэнка следить за Пегги, которая уже начала ходить.

Как-то раз Фрэнк бежал домой из школы (уроки он не любил и считал напрасной тратой времени), чтобы взять на себя сестрёнку и отпустить маму на работу. Похолодало, и мать кашляла, но всё равно ушла. Надо было добывать деньги, иначе они остались бы без крыши над головой. Фрэнк, как обычно, растопил камин собранными по дороге ветками, заварил им с Пегги чаю, поиграл с ней, а когда огонь стал затухать, раздел малышку, уложил спать и сам улёгся рядом, чтобы она не замёрзла.

В середине ночи он проснулся и сразу понял: что-то случилось. Вокруг стояла крошечная темнота и пугающая тишина, нарушаемая лишь сопением Пегги. Чего-то не хватало. Вдруг Фрэнк понял, что матери нет дома, и ему стало дурно. В панике он принялся шарить по постели, но её сторона пустовала. Он позвал её – тихо, чтобы не разбудить Пегги, – но ответа не последовало. Мальчик выбрался из кровати и нашёл спички, чиркнул одной, и пламя моментально осветило комнату. Матери и правда не было. В слезах он залез обратно в кровать и прижал к себе Пегги.

Стоило матери выйти на улицу, как холод сделал своё дело. Она страдала от астмы и бронхита, и уже несколько недель её мучала инфекция дыхательных путей. До автобусной остановки была добрая миля^[4], и ледяной туман с реки выстудил её лёгкие. Краткая передышка в автобусе стала облегчением, но, добравшись до здания, где ей предстояло работать, она почувствовала, что уже еле жива. Она отправилась к шкафу, где хранились её вещи, но ведро казалось таким тяжёлым, что она еле сдвинула его с места. Женщина попросила разрешения выпить чашку чаю. Горячая жидкость немного помогла, но в здании было настолько холодно, что она, вся дрожа, куталась в шаль и всё равно кашляла. Один за другим клерки разошлись, и она осталась одна.

Обычно ей требовалось часа три, чтобы убраться здесь, но через час она

едва ли вымыла одну десятую. Женщина была так слаба, что с трудом передвигала ноги, а следовало ещё отчистить пол. Она вернулась в подвал за ведром – тем самым, что еле подняла чуть раньше, – наполнила его водой и принялась толкать по полу, а потом потихоньку поднимать наверх, отдыхая после каждого рывка. Так она добралась до второго этажа, и тут, видимо, силы кончились. Она упала, скатилась по ступеням, которые преодолевала с таким трудом, и опрокинула ведро. Несчастливая пролежала в луже на каменном полу всю ночь. Наутро её нашли мертвой.

Фрэнк никогда прежде не ночевал без матери. Кровать у них была одна, поэтому все спали вместе – даже когда был жив отец. Мальчик всегда чувствовал рядом успокаивающее мамино тепло. Теперь же, в тёмной и стылой комнате, постель казалась враждебной, чуждой территорией, и ему хотелось убежать прочь. Но надо было думать о Пегги. Она тихо посапывала, не ведая, что произошло. Фрэнк закусил губу, потёр кулаками глаза и свернулся рядом с сестрой.

Ему было шесть лет.

Видимо, он заснул, поскольку, когда его разбудил плач Пегги, было уже светло. Со вчерашнего вечера остались молоко и вода, но они совсем остыли, и малышка оттолкнула еду. Он снял с неё мокрую пелёнку, как обычно делала мать, но не знал, как поступить дальше, и просто сунул её под кровать. Потом он сам выпил холодное молоко и снова лёг. Они задремали.

Проснулся он, когда к ним ввалилась толпа соседок.

– Вот же ж беда-то, а!

– Бедненькие деточки, зачем их рожать-то было.

– Да помрут через полгода, вот и всё.

– Страх, да и только.

Фрэнк непонимающе озирался и инстинктивно прижал к себе Пегги, подтянув одеяло.

В комнату вошёл какой-то мужчина.

– Это дети покойной? – спросил он.

Ему хором ответили.

– Да, бедняжки...

– Вот же ужас!

– Они-то сами ещё и не знают!

– Неужто никого в семье нет?

– Да кажись, и не осталось никого.

– Никого, верно говоришь.

– Им следует пройти со мной. Собственность будет распродана, а

средства пойдут опекунам.

Он оглядел скромную обстановку – кровать, стол, два стула, шкафчик, таз, ночной горшок, подсвечник, жестяные тарелки и кружки. Всё это с огромным трудом купил отец, пытаясь хоть как-то обустроить дом.

– Кто может их собрать, пока я составлю опись?

Две женщины шагнули вперёд, и Фрэнк ухватился за спинку кровати, прижав к себе Пегги.

– Где мама? – жалобно спросил он.

– Померла твоя мамаша, детка.

– Нет, умер папа, – запротестовал он.

– А теперь и мама, милый. Нашли её утром мёртвой.

– Совсем посинела, – зашептались женщины. – Уже окоченела и вся мокрая.

– Промокла, да и померла, у неё ж грудь была слабая.

– Ничего удивительного.

Фрэнк переводил взгляд с одной соседки на другую, и его охватывал ужас. Мама умерла? Но он же обещал отцу, что присмотрит за ней! Что же случилось? Пегги вновь захныкала. Мальчика кто-то обнял, и он изо всех сил вцепился в спинку кровати и отвернулся, ещё крепче прижимая к себе Пегги, которая уже плакала в голос.

– Надо увести его, – сказал мужчина. – Их нельзя здесь оставлять.

Вчетвером соседки разжали его пальцы – дети умеют невероятно крепко цепляться за что-нибудь. Их с Пегги держали на руках, и от страха он кусался, царапался и пинался.

– Отдайте её! – кричал он женщине, подхватившей малышку. – Это моя сестра! Не смейте её забирать!

По его лицу бежали слёзы.

– Надо идти. Кто-нибудь знает, где хранится ключ? – спросил мужчина.

Дверь заперли, и они стали спускаться по лестнице. Женщина, которая несла Фрэнка, вскоре покрылась синяками – так отчаянно он вырывался. Пока они шли по улице, за ними увязалась толпа зевак.

Фрэнка и Пегги определили в детский отдел рабочего дома, где содержались мальчики и девочки до семи лет. Их раздели, помыли и, в целом, о них позаботились. Крохотная белокурая Пегги вызвала всеобщую жалость. Уже обессиленный Фрэнк мрачно позволил вымыть себя и осмотреть на предмет вшей.

– Придётся тебя остричь. Такие правила.

Он покорно согласился, но, когда увидел, что какая-то тётка собирается проделать то же самое с Пегги, бросился к ней и что есть сил врезался

головой ей в живот. Женщина рухнула в кресло, после чего схватила мальчика и звучно его отшлёпала, пока другая надзирательница принялась сбривать Пегги волосы.

– Жаль, конечно, резать такие кудряшки, ну да ничего, отрастут.

Бедная Пегги с лысой головой напоминала инопланетянку, и Фрэнк всхлипывал в бессильной злобе.

Их одели в форму и отвели в игровую комнату, чтобы познакомить с другими ребятами. Конечно, играть там было нечем. Это был просто пустой зал с занозистым полом и огромными голыми окнами.

– Посидите тут тихонько до чая.

Дверь закрылась, и надзирательница ушла.

Брат и сестра застенчиво стояли в дверном проёме, разглядывая местных детей – их было около сорока, все в одинаковых одеждах. Фрэнк чувствовал неловкость из-за того, что их с Пегги только что обрили, и попытался спрятать её под курткой. Тут к ним подбежал мальчик, по виду его ровесник.

– Да ты новенький! Ты откуда? Как тебя зовут, лысый? А это что за малявка?

Он дёрнул Пегги за руку и пощекотал ей затылок.

Фрэнк набросился на мальчика со всей яростью, накопившейся в нём за этот день. Остальные расступились, с удовольствием наблюдая за происходящим. Паренёк тоже оказался не промах, и они дрались на равных. Взрослых в комнате не было, и никто не мог их остановить.

Пегги в ужасе убежала в угол, где скорчилась, заливаясь слезами. От толпы отделилась темноволосая кудрявая девочка, подошла к Пегги и обняла её.

– Не плачь, пожалуйста. Они просто дерутся. Мальчишки вечно бьют друг друга. Они дураки. Залезай ко мне на колени.

Девочка уселась на пол, и Пегги взобралась к ней на колени. Она принялась играть с тёмным локоном и рассмеялась, видя, как он скручивается обратно, если его потянуть и отпустить.

Новая знакомая радостно улыбнулась.

– Ты прямо куколка. У меня никогда не было кукол, но я их видела. Хотя ты лучше куклы, ты же живая, а они нет. Давай дружить? Меня зовут Джейн, мне четыре года. А тебе?

Пегги промолчала, но плакать прекратила. Обняв её, Джейн наблюдала за дракой и над чем-то тихонько посмеивалась.

Мальчики были примерно одной комплекции, но Фрэнком владели холодная ярость и желание защитить сестру. Посмотрев на обступивших

их ребят, он тут же понял: если он проиграет эту драку, Пегги вечно будет в опасности.

Несколько минут спустя соперник Фрэнка валялся на полу.

– Сдаюсь! Держите его! – крикнул он.

Фрэнк обвёл взглядом окружающих.

– Ещё кто-нибудь?

Никто не пошевелился.

С важным видом Фрэнк подошёл к Джейн с Пегги на коленях.

– Спасибо, – сказал он. – Ей всего два годика, немудрено, что ей страшно. Её зовут Пегги, меня – Фрэнк.

У Джейн был весёлый смех, доброжелательный вид и ярко-синие глаза. Фрэнку она понравилась – как она нянчится с Пегги, как дерзко отвечает старшим. Было ясно, что ей можно доверять.

– Давай дружить, – сказал он.

В следующие несколько недель к Фрэнку пришло осознание, что мать и вправду умерла.

От одной только мысли, что они больше не встретятся, его душили слёзы. Мальчишки дразнили его, но ему достаточно было угрожающе выпятить челюсть и поднять кулаки, чтобы они бросились врассыпную. Пегги казалась вполне довольной жизнью, поскольку Фрэнк всегда был рядом. К тому же Джейн вечно болтала с ней, ласкала её и звала «куколкой». Джейн была признанным лидером среди девочек, поэтому её покровительство многое значило.

Общение с Джейн шло на пользу и самому Фрэнку – он сразу инстинктивно потянулся к ней, почуяв родственную душу. Ему нравилось, как нежна она с Пегги, и вместе с тем – какая она хулиганка. Она вечно шалила, устраивала розыгрыши и смешила всех вокруг, высказывала с криком из-за двери, которую открывала надзирательница, и с хохотом убегала. Девочку то и дело ловили и наказывали, но её невозможно было остановить. Фрэнк никогда в жизни столько не смеялся, как тогда, когда она взобралась на водосточную трубу, уселась в жёлобе и отказалась слезать. В тот день дежурила старая толстая надзирательница Хокинс – она полезла на приставную лестницу, пока мальчишки сгрудились внизу, пытаясь разглядеть её панталоны.

Когда она наконец спустила Джейн, то тут же отшлёпала, а потом ещё раз, на ночь, но Джейн просто потёрла отбитую попу и независимо встряхнула кудряшками. Она явно не расстроилась.

Ночью было хуже всего. Оставшись в одиночестве на узкой, жёсткой кровати, в полной темноте, он тихо всхлипывал от тоски по милой маме,

которую обожал всю свою жизнь. Ему не хватало тепла её тела, её запаха, прикосновения, её дыхания. Он забирался в кровать к Пегги и устраивался рядышком – от аромата волос сестрёнки ему становилось легче, и они спали вместе до утра. Это стало единственным утешением в их первые месяцы в работном доме.

Прошёл год. Как-то утром после завтрака Фрэнк и ещё двух мальчиков вызвали в кабинет к директрисе.

– Вам уже семь, теперь вы взрослые, и мы переводим вас в отделение для мальчиков, – сообщила она. – Ждите в холле, в девять за вами приедет машина.

Мальчики не поняли, что имелось в виду, и уселись на скамейку, время от времени в шутку переругиваясь.

В девять часов в дверь зашёл мужчина и поинтересовался:

– Эти трое?

Затем их вывели на улицу и велели им забираться в кузов. Всё это было ужасно интересно – они никогда раньше не ездили в грузовике и с восторгом полезли внутрь, готовые к приключениям. Автомобиль рывком тронулся с места, и они слетели со скамьи на пол, умирая от хохота. День обещал быть отличным. Поездка в грузовике! Они воображали, как вернутся и расскажут всё остальным. По пути к ним посадили ещё шестерых мальчиков, и они катились по улицам, то и дело падая на пол на поворотах или по очереди вглядываясь в крохотное окошко, чтобы помахать прохожим. Все на них оглядывались – в те дни на улицах было не так много машин. Мальчики раздувались от гордости и чувствовали себя неизмеримо выше всех пешеходов или пассажиров в экипажах.

Наконец грузовик остановился, и заднюю дверь открыли. Фрэнк увидел перед собой огромный дом из серого камня, не самого уютного вида.

– Где я? – спросил он.

– Здесь учатся мальчики. Здесь ты будешь жить с семи до четырнадцати лет, – ответил надзиратель – выглядел он довольно сурово.

– А где Пегги?

– Не знаю, кто такая Пегги, но её здесь нет.

– Пегги – моя сестра. Я о ней забочусь. Мне папа велел.

Надзиратель рассмеялся.

– Ну, значит, теперь о ней будет заботиться кто-то другой. Тут девочек нет.

Фрэнк ничего не понимал. Он был растерян, напуган, ему хотелось плакать, но нельзя было показать это остальным, поэтому мальчик

расправил плечи, сжал кулаки и вразвалочку пошёл вместе со всеми в кабинет к директору.

Разговор был коротким. Им сообщили, что следует соблюдать правила, слушаться надзирателей, а в противном случае мальчиков накажут.

– Обед и ваши задания выдадут в час. Уроки начинаются завтра.

Фрэнку хотелось спросить про Пегги, но директор так его напугал, что он не решился. Он шагал вслед за надзирателем в столовую и чувствовал такой же ужас, как в ту ночь, когда проснулся и не нашёл рядом матери.

Обедать в огромном зале, где сидело полторы сотни мальчиков – среди них имелись довольно крупные, – было страшновато, и ему кусок не лез в горло. Фрэнк съел половину картофелины и выпил воды. Мальчик чуть не подавился, и у него потекли слёзы. Кто-то из старших начал показывать на него пальцем и хихикать. Никто из надзирателей не выказал никакого сочувствия. Трое новичков, приехавших вместе с ним, тоже поутихли. От их дорожного веселья не осталось и следа. Они покинули привычный и в какой-то степени даже уютный мирок, где жили до этого, расстались с няньками и надзирательницами и попали в холодную и жестокую реальность рабочего дома, где следующие семь лет им предстояло видеть только мужчин.

Вернувшись в общую комнату после завтрака, Пегги принялась искать Фрэнка, но его нигде не было. Она осмотрела туалет и умывальную, класс и пространство под лестницей, но всё оказалось тщетно. Напуганная, озадаченная, она стояла на ступенях, держась за перила, и топала ногами. Когда к ней подошла надзирательница, девочка закричала и затопала ещё сильнее.

– Бедняжка, – сказала надзирательница коллеге. – Она будет скучать по брату, они везде ходили вместе. Придётся ей привыкнуть. Тут ничего не поделаешь.

Пегги тогда исполнилось три года, и она всю жизнь провела вместе с Фрэнком. Она не заметила потерю отца – ей было тогда полтора года; она почти не помнила мать. Но Фрэнк являлся для неё всем миром, самой жизнью и защитой от всего, и теперь она пребывала в полном отчаянии. Весь день она простояла на ступенях, держась за гладкие перила, и то молчала, то всхлипывала. Иногда девочка принималась пинать ступени и ушибла пальчик. Дважды она описалась, но так и не сошла с места. Джейн пыталась поговорить с ней, но Пегги замотала головой и закричала: «Уйди!»

– Оставь её, – сказала Джейн надзирательница. – День-два, и она

привыкнет.

Вечером Пегги принялась биться головой о перила. Было больно, но ей так хотелось. Может, Фрэнк вернётся, если узнает, что она поранилась. Но он так и не пришёл, и девочка горько зарыдала, после чего соскользнула на ступени и незаметно уснула. Нянечка подняла её и отнесла в кровать.

Следующие три месяца Пегги каждый день искала Фрэнка. Она всё время ждала, что вот-вот встретит его, – но безрезультатно. Она спрашивала всех, где он, и слышала, что он переехал к взрослым мальчикам, но ничего не понимала. У неё появилась привычка сидеть одной в углу и раскачиваться. Одна из нянек знала, что это очень тревожный знак, и пыталась успокоить бедную малышку, но та была безутешна. Каждую ночь она сосала палец, качалась и в слезах звала Фрэнка. Но он не приходил.

Со временем она перестала ждать брата и стала реже о нём спрашивать, а потом и вовсе перестала. Все решили, что она забыла о Фрэнке.

В следующий раз они встретились девять лет спустя и не узнали друг друга.

Биллингсгейт

В семь лет Фрэнк попал в мир, состоящий из одних мужчин. Здесь царили строжайшие правила, жёсткая дисциплина и безграничная тирания. Многие надзиратели сами выросли в работных домах, а в XIX веке условия содержания там были совершенно бесчеловечными. Только самые сильные и здоровые дети выживали в условиях постоянного голода, холода, тяжкого труда и окружающей жестокости. Эти люди не знали другой жизни, и им казалось совершенно естественным так же вести себя с подшефными детьми.

Фрэнка немедленно пристроили к работе, которой занимались бедняки: чистить картошку, резать капусту, мыть огромные кухонные котлы (только самые младшие мальчики могли залезть внутрь) и духовки, полировать медь и скоблить каменные полы на кухне – и горе тому, кто запачкается! Список дел был бесконечным, а день длился долго и начинался в шесть утра. Кроме того, ребята ходили в местную школу, так что работать приходилось до или после уроков. Фрэнк вскоре выяснил, что, если не выполнить все дела до занятий, его побьёт надзиратель, а если задержаться, чтобы всё закончить, ему достанется от учителя за опоздание.

Младшие вскоре привыкали скрывать слёзы. Они знали, что любой признак слабости тут же заметят старшие и начнут издеваться. Единственное, что могли вызвать слёзы – травлю, постоянные угрозы и насмешки.

Один-единственный раз Фрэнк спросил у одного из надзирателей, где Пегги. Тот, видимо, рассказал об этом кому-то из старших – возможно, намеренно, зная, что за этим последует. В тот же день в умывальной все голосили: «Пегги, Пегги, где же Пегги?»

– Пегги – его девка!

– Пегая кобыла!

– Пегги – вонючка!

– Пегая, потому что в дерьме валялась!

Фрэнк расплакался, и старший мальчик толкнул его так, что он упал на пол.

– Да какая у него девка, у этого нытика! – заявил старший и так схватил Фрэнка за яички, что тот вскрикнул от боли.

Вошёл надзиратель, и обидчик с невинным видом скрылся в толпе.

Надзиратель оглядел собравшихся и ничего не спросил.

– Вставай, – коротко сказал он Фрэнку. – Мойся и спать.

Мальчик забрался в кровать и разрыдался от тоски по сестре и маме. Так происходило каждую ночь. Он научился плакать беззвучно, дабы не привлекать ничьего внимания, и не шевелиться, чтобы казалось, что он спит. Но зачастую он лежал так часами, и сердце его разрывалось.

Во время этих бессонных часов он почти всегда слышал чьи-то тихие шаги, шелест соломы в тюфяках, скрип пружин. В каждой общей спальне за порядком следил надзиратель, который сам вырос в работном доме. Он обитал в закутке в конце помещения, и каждую ночь один из мальчиков тихо выскальзывал из кровати и направлялся туда.

Чего же ещё ждать, если сгоняешь в один дом толпу мальчиков, где они не могут рассчитывать ни на улучшение своего положения, ни на женское участие? Всем им было одиноко. Всем не хватало матери. Только друг в друге они могли найти утешение и – будем надеяться – радость, поскольку жить им предстояло недолго. С 1914 по 1918 год старших мальчиков из общей спальни Фрэнка (тех, кто родился в 90-е годы XIX века) посылали из работного дома напрямиком во французские траншеи, где они служили пушечным мясом во славу короля и страны.

* * *

В сентябре 1914 года в работный дом пришёл уличный торговец по имени Тип и попросил проводить его к директору. Директор держался чопорно и важно, гость без умолку болтал и в общем вёл себя развязно. Своим хриплым, порой срывающимся голосом он сообщил, что его помощник отправился на войну, и ему нужен умный мальчонка лет одиннадцати-двенадцати, но лучше б одиннадцати, поскольку они быстро учатся, да чтобы трудолюбивый был и хватал на лету, и никакая там особенная грамотность ему не требуется, для торговли рыбой это без надобности и что-то ни разу не пригодилось, но он, Тип, сам всему мальчонку научит и сделает из него хорошего торговца, чтоб тот смог себе честно зарабатывать на жизнь и вращаться в лучшем обществе, а уж крышу над головой и питание он ему обеспечит, вернее, мадам его, и нет ли у директора на примете такого паренька, чтобы работы не боялся?

Голос Типа то срывался на визг, то переходил на шепот, он то ревел, то подвывал. Директор задумался, и торговец, который не привык молчать и представить не мог, о чём тут размышлять, начал заново:

– И чтоб сильный был, потому что в таком деле нытики ни к чему, а мадам моя уж накормит его, чтоб силёнки были, а ещё...

Директор поднял руку, чтобы утихомирить гостя.

– Подождите здесь, пожалуйста, – сказал он и вышел из кабинета.

Директоров работных домов поощряли, когда те отправляли детей куда-то ещё для снижения расходов, но просто выставить их на улицу, не удостоверившись, что у них будут еда и кров, было нельзя. Но разрешалось отдавать их в подмастерья.

Директор как следует обдумал просьбу торговца, и ему вспомнился Фрэнк – ему как раз одиннадцать, он сильный, выносливый, послушный мальчик, а по словам учителей, ещё и «способный, хоть и неусидчивый».

Фрэнка вызвали из столовой, где он вместе со всеми пил чай.

– Стой прямо, смотри бодро и молчи, – велел директор, взяв его за ухо. – Там за тобой пришли.

Они вошли в кабинет, где сидел и насвистывал торговец. Свистел он невероятно музыкально, что казалось странным при его необычном голосе.

– Этот мальчик, по-моему, вам подходит. Уверяю, работы он не боится. Все наши ребята умеют трудиться.

Тип оглядел Фрэнка с головы до пят и пососал зуб. У него осталось всего два зуба, один на нижней, а другой на верхней челюсти, и он крайне комично сосал их по очереди.

Он ущипнул мальчика за ухо.

– Ну и костлявый ты. Ящик с селёдкой-то подымешь?

Фрэнк не осмелился ответить и просто кивнул.

– А язык-то у тебя есть, или как?

Фрэнк снова кивнул.

– Есть у него язык, и он отлично болтает, когда хочет, – вмешался директор.

– Да-а, мальчонка должен кричать так, чтоб вся улица оборачивалась.

– Тогда он вам подойдёт. Его голос звучит как труба, – решительно сказал директор.

– Ладно, беру его. Ежели не справится, на следующей неделе верну.

Не успел Фрэнк сказать и слова, как с него стащили форму и натянули дурно сидящую уличную одежду. Тип взял его за руку, и они вышли на улицу.

Торговец одевался броско. Серо-бурые рабочие вещи были не для него. Он носил зелёные парусиновые штаны и ярко-синюю рубашку. На ботинках у него были огромные банты вместо скромных шнурков, а на горло он повязывал красно-синий шёлковый платок. На голове у него красовалась не банальная английская шляпа, не обычный французский беретик – хотя нечто французское в этом головном уборе чувствовалось. Это был огромный берет из наилучшего бархата, а цвет его, не то синий, не

то зелёный, менялся и играл в зависимости от освещения и движения хозяина. Он почитал себя настоящим щёголем, и его мадам безмерно его обожала.

Мужчина оглядел Фрэнка, и честолюбие подсказало ему, что подобное соседство будет бросать тень на его сияющий облик.

– В нашем деле надо выглядеть соответствующе, малец. Нельзя ходить в таком рублище. Леди это не по нраву. А они нам всю кассу делают, ясно? Так что дамам надо угождать. Это первое правило. Пойдём-ка прикупим тебе какой новой одежды.

В таком виде ты мне всё погубишь. Все леди поразбегутся. Есть тут один еврейчик, он тебе справит костюмчик в лучшем виде.

Когда Тип начал говорить, голос его казался низким, но под конец слова́ звучали визгливо и скрипуче. Увидев, с каким удивлением слушает его Фрэнк, торговец пояснил:

– Это всё горло. Поизносилось с годами от крика. Так хорошего торговца и узнаёшь, а я один из лучших. Горло не выдерживает. За этим мне мальчонка и нужен, чтоб зазывать, ну и для других дел, которых тут масса. Давай-ка послушаем тебя. Видишь того ребятёнка, что в луже играет? А ну-ка крикни ему что есть мочи: «Эй, малец, мамка идёт!»

Фрэнк, воодушевившись, завопил изо всех сил. Паренёк подпрыгнул и бросился наутёк. Фрэнк расхохотался и схватил Типа за руку.

– Что надо, – заявил Тип. – Ну что, ежели ты и остальному научишься так же быстро, мы с тобой прославимся. Пойдём-ка теперь ко мне домой, и моя мадам – её Куколкой звать – редкой души женщина, но не терпит, чтобы ей дерзили всякие, так что и не вздумай.

Тип в задумчивости потёр подбородок и добавил вполголоса:

– И лучше б тебе её не злить, точно тебе говорю.

По тёмной и вонючей лестнице они взобрались на четвёртый этаж. Их встретила пышная женщина в красной юбке с грязным обтрёпанным подолом и лиловой, глухо застёгнутой блузе – огромная грудь рвалась наружу, взывая о помощи. Талию украшал пояс из агатовых бусин, по плечам рассыпались тяжёлые чёрные волосы. Зубы у неё тоже были чёрные, словно выкрашенные в тон наряду. Оглядев их, она воскликнула:

– Этот, что ли, из работного дома? Господи, ну и худышка! – Она прижала голову Фрэнка к груди. Это оказалось довольно приятно, хотя запах у неё мог бы быть и посвежее. – Надо бы ему пирожка выдать, а, Тип?

Куколка завязала волосы в роскошный узел (Фрэнк заворожённо наблюдал за процессом) и воткнула в него несколько шпилек. У одной на

конце была птичка – эта шпилька украсила макушку.

– Так-то, малец, – сказала она и подмигнула, после чего наклонилась к Фрэнку. – Хороший мальчуган, но до чего ж тощий. Сердце кровью обливается на них смотреть. Как тебя звать-то?

Давай-ка поедим, а?

Время было к семи, на улицах сновали люди. Фрэнк в течение нескольких лет почти не выходил из рабочего дома, разве только чтобы шеренгой дойти до школы. Любопытство снедало его, и желание помедлить, осмотреться не давало покоя. Тут ссорилась какая-то семья, и мужчина с женщиной пылко угрожали друг другу; там дама набирала воду из колонки, а вокруг стояла толпа в ожидании своей очереди и сплетничала. Фрэнк уже несколько лет не видел женщин и теперь не мог отвести от них взгляда, пока вдруг не понял, что Тип и Куколка уже скрылись вдали. Пришлось броситься за ними следом. Они двигались неторопливо, здороваясь со знакомыми, подшучивая над детьми. Тип трепал щёчки юным девушкам, Куколка кричала что-то приятелям. Оба они были одеты куда ярче окружающих, и Фрэнк втайне гордился, что идёт с ними, хотя они даже не оглянулись, чтобы проверить, где он.

Они вошли в пивную – высокие потолки, голые стены, деревянный пол. В углу рядом со стойкой на возвышении стояло пианино. Народу было немного, и Тип с Куколкой тут, казалось, всех знали. Фрэнк слушал во все уши. Вот это высшее общество!

– Что, хочешь рушку випа [кружку пива] пропустить?

– Ну так, я нынче такой куш сорвал. Но ты зырь-ка! Это кто?

– Воненький [новенький] мой. Дай-ка ему випа с довой [пива с водой].

Фрэнк взял протянутый стакан и стал пить из него в полном недоумении. Разговор продолжался.

– Да Джеку поднавалило [не повезло]. Да и липу [фальшивые деньги] подложили. Самрудак [сам дурак].

– Да он, небось, не похырсал [не просыхал].

– Да просто поднавалило.

В те дни торговцы говорили между собой на своеобразном жаргоне, переставляя слоги и добавляя выдуманные словечки. Со стороны их понять было невозможно. Так продолжалось вплоть до второй половины XX века.

Фрэнк с удовольствием наблюдал за этими большими, уверенными в себе мужчинами, но никто из них не был и вполонину так же великолепен, как Тип, и в его юном сердце появились первые зачатки обожания.

Мальчик попивал своё пиво. Никто не обращал на него внимания. Он был голоден, но Куколка заигрывала с мужиком, чья растительность на

лице напоминала усы моржа, и явно забыла про обещанный пирог.

Посетителей всё прибавлялось. Кто-то достал карты, и мужчины занялись серьёзным делом – игрой. Группа мальчиков в углу была увлечена напёрстками. Заиграл тапёр, и все принялись подпевать, с каждым куплетом всё громче и громче. Одна из девушек вылезла на сцену и заплясала – скорее энергично, чем грациозно, но публика одобрительно заулюлюкала. Фрэнк в изнеможении заснул прямо на полу.

Его разбудил крик Куколки:

– Ах ты бедняжка! Тип, оттащи его домой.

– Что я тебе, носильщик? – проворчал Тип. Он потряс Фрэнка и поставил на ноги. – Пошли, скоро работать.

Куколка еле держалась на ногах и повисла у Типа на руке. Фрэнк в полусне брёл за ними. Они вскарабкались по бесконечной лестнице на четвёртый этаж, из-под пуховой кровати достали для Фрэнка соломенный тюфяк и одеяло и положили под стол. Мальчик рад был и такой постели. Он заснул под привычные и уютные звуки – пыхтение, стоны и скрип пружин.

Проснулся он от того, что ему на лицо бросили мокрую холодную тряпку. Он подскочил и ударился головой о стол.

– Что случилось? Где я?

Перед ним стоял Тип. Но он уже не был похож на себя вчерашнего – никаких ярких одежд, никаких ухмылок и подколок. По утрам Тип превращался в торговца, дельца, холодного и расчётливого.

– А ну вставай. Надо работать. Биллингсгейт открывается в четыре, сейчас три, пора идти за тачкой. Одевайся, и за мной.

Тип уже надел свои рабочие штаны и теперь натягивал тяжёлые ботинки. Поняв, что дело срочное, Фрэнк вскочил. Ночью он так и не разделся, и теперь ему оставалось только обуться. Торопливо сунув ноги в ботинки, он вытянулся в струнку.

– Молодец. Теперь бери сумку, и вперёд.

Они вышли на тёмную улицу. Тип так и фонтанировал энергией. Он то пускался бегом, то победно выбрасывал кулаки в воздух. Несколько раз он издавал короткие хриплые возгласы, набирал полную грудь воздуха и с шумом его выпускал. Он накручивал себя перед рабочим днём, и Фрэнка захватило это настроение. Мальчик понимал, что происходит нечто важное, и бежал следом по неосвещённым тихим улицам, охваченный нетерпением.

Они отправились в туннель под мостом. Там уже были и другие

мужчины, каждого сопровождал мальчик. Они здоровались на привычном жаргоне. Открыв дверь, они вошли в тёмный погреб и зажгли керосиновую лампу. Пламя озарило бесконечные тачки, тележки, упряжки, узду, крюки, цепи, канаты, горы брезента – груды дерева и металла.

– Смотри, что я беру, и запоминай, – бросил Тип Фрэнку. – Ежели перепутаешь – не сможешь работать, а вон тот дылда только и ждёт, чтобы нас облапошить.

Он выбрал то, что ему понадобится в течение дня, и заплатил человеку с лампой.

– Клади сюда, и пойдём.

– Эй, воненький! – окликнул какой-то мальчик.

Фрэнк не отреагировал. Парень пнул его что есть силы.

– Ты что, глухой, воненький?

– Он имеет в виду «новенький», – пояснил Тип. – Это он про тебя. Не обращай внимания, нам надо работать. Скоро наблатыкаешься по-нашему.

Хромая, Фрэнк принялся толкать тележку. В работном доме он научился скрывать любые признаки слабости, и это было весомым подспорьем.

– Всё, пошли.

Тип налёг на тачку всем своим весом, и железные колёса загремели по булыжникам.

Рыбный рынок Биллингсгейт располагался на северном берегу Темзы, к востоку от Монумена. Рыбацкие лодки приходили по ночам, к четырёх утра рынок открывался, и столы были завалены свежей рыбой.

Возбуждение Типа всё усиливается. Кажется, что каждый нерв в его теле дрожит. Учув запах рыбы и водорослей, он глубоко втягивает воздух.

– Ах, как хорошо, – бормочет он.

Вокруг стоит шум. Все голоса перекрывают крики торговцев, взобравшихся на ящики и столы, чтобы объявлять цены. Настоящее вавилонское столпотворение.

– Наилучшая треска в городе, ещё живая!

– Кому ярмутской копчёной селёдки?

– Угорьки, угорьки, свежие угри!

– Улитки к вашему столу!

– Эй, начальник, глянь, какая камбала, лучше не найдёшь!

– Лучшая пикша, пикшая лучша!

– Кому трубочей, свежих трубочей!

Повсюду спрашивают: «Почём?», повсюду хохочут, торгуются,

ругаются; шум становится всё громче.

В полумраке Фрэнк видит, как перламутрово светятся белые брюшки палтуса, как беспомощно машут клешнями омары, как переливается мелкая селёдочная чешуя; огромные корзины с серыми устрицами, голубыми мидиями, розовыми креветками, мешки моллюсков с жёлтыми раковинами; ведра бело-серых, скользко извивающихся угрей.

Фрэнк подмечает грузчиков в кожаных шлемах причудливой формы, наподобие приплюснутых пагод, с корзинами на головах. Каждый день на Биллингсгейт поступает и продаётся восемь тонн рыбы, и вся эта рыба, до последней селёдки, проходит через них. Человек с натруженной шеей может перетащить на голове шестнадцать корзин, по шесть с лишним килограммов каждая. На этих силачах держится весь рыбный рынок, и их история необыкновенно романтична. Здесь также разгружали десятивёсельные галеры из Ниневии, что привозили специи и драгоценные масла. Здесь, в старейшем порту Лондона, стояли на якоре галеры Цезаря, приводимые сюда по Темзе рабами в цепях, и разгружали их такие же люди, которых теперь видит Фрэнк.

Когда мимо проходит один из гигантов с криком: «Разойдись!», Фрэнк расплывается по стене.

Тощий мужичонка, дрожа под весом своего непосильного груза, бормочет сквозь стиснутые зубы:

– Да отойди ж ты с пути.

Повсюду снуют оборванцы с отчаянным видом, надеясь поднести кому-нибудь груз и заработать за день шиллинг-другой.

В арке в противоположном конце здания на фоне серого рассветного неба Фрэнк видит мачты и снасти суден для добычи устриц и омаров. Дрожащие паруса кажутся чёрными. Он видит красные шапки матросов, спускающих паруса. Он слышит, как грохочут примитивные моторы. До него доносятся крики грузчиков.

– Держись поближе, – командует Тип, – и всё слушай. Ничего не упускай! Тебе надо выучиться, как покупать.

С непринуждённым видом он идёт по проходу, насвистывая, словно на прогулке. Через арку он выходит на набережную, где в темноте загадочно поблёскивает река, а небо становится серебристым. Они с Фрэнком перелезают через канаты и идут вдоль длинного ряда устричных суден, выстроившихся вдоль берега, – здесь это называется «Устричная улица», и рыбаки торгуют своей добычей прямо с лодок.

– Тут нет посредников. Лучшие цены, – шипит Тип.

На каждом борту свои цены, и устанавливает их хозяин в белом

фартуке. Трюмы забиты устрицами и песком, и хозяин с треском ворошит их лопатой.

Тип обсуждает цены с владельцами, трясёт головой и отходит, громко говоря Фрэнку:

– Да в канавах устрицы и то лучше!

Торговец устрицами кричит ему вслед. Не обращая внимания, Тип перебирается через сети для креветок и грузы и подходит к мускулистой рыбачке, торгующей креветками. Хозяин судна тоже здесь – он набирает в кувшин креветок и высыпает их обратно, словно конфеты. Тип отламывает голову креветки и нюхает её.

– Я б такое и собаке не скормил, – говорит он и отдаёт креветку Фрэнку, который не знает, что с ней делать.

Перелезая через канаты, снасти, паруса, банки с моторным маслом, сети, чаны с омарами, сходни, трапы, корзины, ящики, которыми хаотично уставлена и завалена набережная, Тип и Фрэнк преодолевают всю Устричную улицу и ничего не покупают.

Скоро шесть утра. Тип вмиг теряет весь свой расслабленный вид и начинает действовать. Он возвращается к рыбачке и покупает у неё креветки за половину от означенной цены, устрицы – за треть. За этим следуют камбала и лиманда, которые раньше были отвергнуты как «дрянь», и ведро угрей – «чтоб почистить».

Покупки окончены. Возбуждение схлынуло.

Тип нанимает грузчика, голодного на вид мужичка лет шестидесяти, и отказывается платить запрошенные шесть пенсов.

– Ну тогда три, – робко попросил грузчик.

– Бери два пенни или проваливай. Я тут легко и посильнее найду, мешок ты с костями.

Мужичок взял два пенни и потащился к воротам, где Тип и Фрэнк оставили тележку.

– Так, а теперь завтрак, – объявил Тип.

Помощник торговца

Лес сладок, тёмен и глубок, но в путь пора мне – долг есть долг.

И ехать долго – сон далёк.

Роберт Фрост^[5]

– Бетти, золотце, что ж ты за красотка такая! Я тут, пожалуй, устроюсь в креслице у камина, а ты, Бетти, душа моя, будь так любезна, принеси-ка мне доброй ветчины с яичницей, да и кексов с маслом бы неплохо, и чашечку Розы Ли [чая] завари. Бетти, любовь моя, до чего ж ты хороша; позаботься и об этом парнишке как о родном и принеси ему того же – он тут новенький, и у нас весь день впереди, а мальчику никак нельзя работать на пустое брюхо, как и всякому мужику.

Тип откинулся в кресле, взгромоздил ноги на стол и сопровождал свой заказ величественным жестом. Фрэнк набросился на лучший завтрак в своей жизни. После хлеба с маргарином в рабочем доме в течение долгих лет эта еда показалась ему пищей богов. Кексы сочились маслом ему на подбородок, желток растекался по ветчине, и он макал туда хлеб. Он весь сосредоточился на этом наслаждении. Мужчины и мальчики наполняли зал, Бетти сновала вокруг. Трещал камин, в воздухе клубился табачный дым. Голоса слились в тихий гул, и Фрэнк уснул, положив голову на стол.

Проснулся он от шлепка.

– Подъём. Восемь утра, самая пора шагать!

Тип торопливо пошёл прочь, и Фрэнк потащился следом, потирая глаза. Они вместе загрузили тележку – Тип следил за каждым его движением и раздавал указания, укреплял борты и планки, расставлял ящики и гири, раскладывал ножи, мешки и рваные газеты. Перед каждым действием он говорил: «Так, не забудь про это».

Они пустились в путь. Если Фрэнк раньше и думал, что жизнь в рабочем доме тяжела, так это только потому, что он не знал, как живут уличные торговцы. С того дня он не прекращал работать – и не прекращал любить своё дело.

Он шагал по улицам и во весь голос объявлял сегодняшний товар. «Креветки, скумбрия, селёдки, моллюски», – его высокий голос доносился повсюду. Он быстро всему научился и через месяц уже мог выпотрошить рыбу с такой скоростью, что вы бы и не заметили. Фрэнк очаровывал леди одним взглядом, и те покупали то, что и не собирались. Одним движением ножа он извлекал мидию из раковины – даже быстрее, чем Тип. Он мог

удалить желудок у моллюска-трубача, прежде чем тот успевал понять, что происходит.

За день они проходили с тележкой около десяти миль^[6]. Обычно Тип прекращал работать часа в три дня. Все остатки предстояло продать Фрэнку. Он вешал лоток себе на шею и отправлялся торговать в одиночестве. Тип измерял рыбу и говорил Фрэнку, сколько за неё брать. Всё, что ему удавалось получить сверху, называлось «халява» и доставалось мальчику. Это была зарплата помощника торговца, и других денег он не получал: считалось, что еда и кров – это достаточная плата за труд.

Фрэнк быстро выяснил, что это – самая сложная часть дня. Лоток был тяжёлым, и ноги вскоре начинали болеть. К этому моменту большинство покупок уже было сделано, и покупателей оставалось мало, так что их следовало сначала привлечь, а затем убедить купить. Товар терял свежесть, а запах несвежей рыбы замаскировать невозможно, особенно летом. Фрэнку зачастую приходилось пройти несколько километров, прежде чем он распродал все остатки и собирал требуемую сумму. Зачастую ему самому ничего не доставалось. Но иногда всё же ему удавалось заработать, и Фрэнк был в восторге от любого шестипенсовика или шиллинга – целое состояние для мальчика, у которого никогда не было своих денег. «Халява» стала его главной целью, и порой он возвращался домой только в девять-десять вечера. Там он забирался под стол, не помня себя от усталости, и спал до трёх ночи, после чего снова шёл на рынок.

За несколько недель он освоил жаргон и вскоре быстро и уверенно болтал на этом невразумительном наречии, которым так гордились уличные торговцы. Он научился ходить вразвалку. Он подражал нарядам Типа, слегка перекроив свою одежду и добавив шейный платок и шнурки, купленные на свои гроши. Фрэнк мечтал о шляпе.

Он усвоил и здешнее отношение к деньгам: «Трать пока есть, вдруг завтра помрёшь». Он видел, что уличные продавцы не боятся работы и что хороший торговец получает достаточно. Каждый вечер всё спускалось в пабах и тавернах. Всякий, кто хорошо заработал за день, без раздумий тратил деньги на выпивку для друзей. Если же выручить денег не удалось, тебя угощал другой товарищ. Если кто-то из них разорялся или попадал в тюрьму, ему немедленно собирали нужную сумму. Никто из них не сберегал на будущее ни пенса.

Уличные торговцы жили не в домах, а в меблированных комнатах – кантовались там понемногу, а потом переезжали. Это были неизменно убогие помещения, поскольку жильцы там почти не находились. Жизнь

проходила на улицах, рынках, в пабах, на танцах и представлениях, в борделях и на ипподромах. Все богатство жизни было за пределами четырёх стен. Торговцы возвращались к себе только чтобы прикорнуть на несколько часов, пока не займётся новый день и не откроются рынки.

Но главное, Фрэнк научился торговать. Единственный способ стать успешным продавцом – обучаться этому с юности. Хитрости и уловки, жульничество и воровство не менее важны, чем наука торговли и обмена. Всё это Фрэнк перенял у других юных помощников торговцев, когда они во второй половине дня выходили на улицу сбывать остатки. Он научился прикрывать рыбу петрушкой, чтобы та приятно пахла, выжимать на неё лимон, чтобы улучшить вкус. Он стал брать с собой в путь орехи, чтобы дольше продержаться на ногах. Научился выдавать четыре пинты моллюсков за пять^[7], незаметно отсыпая понемногу. Он узнал, где можно продать рыбные головы и хвосты и когда больше всего покупателей. Он научился примешивать дохлых угрей к живым, чтобы куча выглядела внушительнее, поскольку «они и не заметят одного дохлого, пока не дойдут до дома». Фрэнк завёл дружбу с беспринципным поваром, который покупал дохлых угрей. Он выяснил, что скумбрия и селёдка выглядят свежее при свете огня, и в тёмные вечера ходил со свечой. Он научился хныкать и жаловаться, что хозяин прибьёт его, если он не продаст товар.

И он всегда сбывал всё, что осталось.

К двенадцати годам у него уже была бульдожья хватка. Он не останавливался ни перед чем, и некоторые уже поговаривали, что он не глупее Типа. Он часами торчал на рынке, знал все цены и никогда ничего не забывал. Жаргоном он овладел мастерски и вёл переговоры только на нём. Он мог переубедить любого. Он был виртуозом.

В тринадцать Фрэнк решил, что пора завести своё дело. Он не собирался тратить лучшие годы жизни на работу на другого человека. Он будет сам себе хозяин, сам станет покупать и продавать, и заработки его будут принадлежать только ему. Он ещё им покажет.

Он оставил Типа с Куколкой и переехал в меблированные комнаты для мужчин на задах кабака на берегу. Пол был здесь каменный, потолок и стены неотделанные. За две пенни в день у него были соломенный тюфяк и одеяло. В любом другом месте комната стоила бы ему десять пенсов, так что Фрэнк поселился сюда, рассудив, что он всё равно почти не будет тут бывать – и зачем тратить деньги на место, где только спишь?

Местные мужчины были грубыми и жестокими, и Фрэнк до смерти их боялся; но он быстро рос, хорошо бегал и дрался. Кое-как удавалось справляться. Больше всего он опасался, что его ограбят – такое случалось

сплошь и рядом. Особенно ему запомнился всхлипывающий паренёк лет двенадцати, костлявый и бледный – за ночь он потерял все свои деньги, а если ты не можешь купить рыбу, то и продать тебе нечего. Фрэнк дал ему шиллинг на каштаны, чтобы торговать ими возле театра, и приучился хранить свои деньги в надёжном месте – он запихивал их в носки и каждую ночь спал в этих носках и туго зашнурованных ботинках.

Большинство обитателей меблированных комнат были простыми трудягами – они целыми днями рыскали в поисках подработки. Профессии ни у кого не было. Фрэнк считал себя среди них аристократом – он-то специализировался на торговле рыбой. Он брал в аренду оборудование, закупал свой товар и продавал его на улицах, а весь доход брал себе и тратил его на яркие наряды, вкусную еду, пиво, девушек, танцы, уличные театры и азартные игры... в основном на последнее.

К четырнадцати годам Фрэнк уже был заядлым игроком. Этим занимались все уличные торговцы и их помощники, но Фрэнк предавался игре со страстью. Игра для него была главной любовью, и в каждую свободную минутку он подбрасывал монету и предлагал окружающим сделать ставки. Ему не важно было, на что или с кем играть, важен был лишь шанс на победу. Трудился он без устали, подстёгиваемый мыслью о зарплате, который можно будет поставить. Порой он проигрывал не только все деньги, но и платок, и пиджак, но ничто не могло охладить его пыл – серия неудач только раззадоривала его.

Парни собирались повсюду – под железнодорожными мостами, во дворах пабов, на набережных или даже на отмели, когда отступал прилив. Если кто-то замечал группу подростков, сгрудившихся вокруг чего-то в центре, можно было с уверенностью предположить – там идёт игра – и смело поставить все деньги на то, что в центре её – Фрэнк, самый громкий, самый быстрый, самый уверенный.

- Шесть пенсов на Тола.
- Шесть пенсов, что он продует.
- Есть.
- Ставлю шиль [шиллинг].
- Посвети [покажи].

Тол побеждает, и проигравший с печальной ухмылкой признаёт поражение.

Теперь в круг выходит Фрэнк и готовится бросить монеты. Он хмур.

- Шесть пенсов на Фрэнка.
- Шиль, что продует.

– Идёт.

– Пару [два шиллинга] на Фрэнка.

– Глянь-ка, Тол спёкся.

Фрэнк холоден и собран. Он подбрасывает три монеты и говорит: «Решка». Все три падают решками вверх. Фрэнк забирает свой выигрыш.

Снова начинаются ставки. Тол подбрасывает монеты: «Орёл». Монеты падают – один орёл, две решки. Он кидает их снова. Три решки. Фрэнк забирает выигрыш. Тол ругается и сплёвывает, бросает опять: «Орёл». Три решки. Фрэнк выигрывает и смотрит на Тола в упор.

– Полсовы [полсоверена].

Зрители ахают и начинают делать ставки за или против Фрэнка.

– Идёт, – с вызовом отвечает Тол.

Фрэнк бросает монеты.

– Орёл!

Монеты падают. Он победил.

– Вонючая рыба, – шипит Тол и стягивает пиджак и ботинки. Он начинает злиться, и толпа подбегает поближе. Тол резко бьёт локтем. – Да разойдитесь вы!

Губы его сжаты, в глазах – тревога.

Всеобщее возбуждение привлекло проходящих мимо мужчин, которые делают свои ставки.

Тол пытается вернуть покинувшую его удачу. Он распахивает наблюдателей и перемещается на новое место, прежде чем бросить.

– Берегись! Полсовы! – объявляет он решительно, понимая вместе с тем, что ставит половину своих сбережений.

– Идёт, – уверенно отвечает Фрэнк.

Зрители продолжают делать ставки, и Фрэнк с Толем знают, что на них ставятся целые соверены.

Тол плюёт на монеты, затем берёт полпенни и подбрасывает её, чтобы решить, на что поставить. Потом он снова плюёт на три монеты, вызывая топают, подбрасывает их в воздух с возгласом: «Решка». Монеты падают. Все решки. Он расслабляется и оглядывает зрителей с победной ухмылкой. Деньги переходят из рук в руки.

Удача покидает Фрэнка до конца дня. Он продолжает играть, но продувает четыре раза из пяти. Он слышит, как зрители ставят против него, и в ярости скрежещет зубами. Если бы принято было убивать своего противника, он бы так и поступил. Тол вызывает его снова и снова. Каждый раз Фрэнк соглашается и вызывает его в ответ. Он проигрывает всё, что успел выиграть за день, свой заработок, а также платок, пиджак и

даже ставит свой бархатный картуз, надеясь, что тот принесёт ему удачу. Тщетно. Он проигрывает.

Тол встаёт с картузом в руках, бросает на Фрэнка снисходительный взгляд, плюёт на картуз и бросает его в реку.

– Пошёл-ка я шамать [есть].

Он вразвалочку удаляется под восхищённые возгласы мальчишек и одобрительные кивки мужчин.

Фрэнк, вне себя от ярости, клянётся ему отомстить.

– Подожди, чирей, я тебе ещё покажу, я тебя выдеру! – кричит он вслед.

Мужчины со смехом расходятся. Мальчишки теряют интерес. Начинается новая игра.

Фрэнк попытался принять независимый вид, но без пиджака, шейного платка и картуза он уже не чувствовал себя холодным, расчётливым игроком. Он повернулся и зашагал прочь.

Он пробродил так несколько часов, не чувствуя ледяного ветра с Темзы, весь в мыслях о следующей игре. Он им покажет, снимет с этого сосунка штаны. Он все свои деньги отыграет, да ещё и сверху возьмёт. При мысли о перенесённом оскорблении его переполняла злоба. Услышать в свой адрес «вонючая рыба» – это уже чересчур. Он ещё отомстит. На следующей неделе удача вернётся. Ему ни на миг не приходило в голову, что он ведёт себя как дурак: страсть к игре держала его намертво.

Снедаемый гневом и ненавистью, Фрэнк шёл, ничего вокруг себя не замечая и огрызаясь на прохожих. Впереди него шагала какой-то замухрышка в мешковатых штанах и ботинках с дырявой подошвой и вёл за руку маленькую девочку в подгузниках. Фрэнк окинул их презрительным взглядом. Девочка с хохотом переставляла неверные ножки. Вдруг она упала и издала театральный вопль. Мальчик наклонился и помог ей встать, утёр ей слёзы рукавом, плюнул на пальцы и потёр ей колени, после чего со смехом сказал: «Так-то лучше!» Но девочка не унималась. Она уткнулась белокурой головкой ему в плечи и обвила его руками. Он поднял её и унёс, и Фрэнк их больше не видел.

Порой мелочи поворачивают нашу жизнь. Нас могут никак не затронуть важнейшие исторические события, но при этом малозначительные детали способны повлиять на нашу судьбу.

Фрэнк так и застыл посреди улицы. Ему вдруг стало холодно. Пыл ярости стих, и на смену ему пришли сомнения. Он поёжился и привалился к стене, вдруг почувствовав, что силы покидают его. Что случилось? Всё было таким мутным, неясным. Но почему? Он и сам себе казался

ненастоящим. Он коснулся лица и вдруг представил, как его шею обнимают пухлые детские ручки. Фрэнк вдохнул и ощутил сладкий запах детских волос. Ему хотелось броситься вдогонку за этими двумя, выяснить, кто они. Но они уже ушли. Да видел ли он их – мальчишку в мешковатых штанах, белокурую девочку, – или это были призраки? Он снова поёжился и потёр глаза, пытаясь что-то вспомнить. Но всё словно тонуло в тумане, и ему никак не удавалось ухватиться за воспоминания.

По пути домой мысли его по-прежнему пребывали в хаосе. Он же Фрэнк-торговец, Фрэнк-игрок, все боятся его, все знают, что он далеко пойдёт. Что ему эти сопливые дети? Он попытался забыть их. Ну ладно, у него есть сестра, она в работном доме. И что теперь? Пусть сама о себе позаботится; он же смог. Он не думал у ней уже много лет, и она наверняка о нём позабыла. Он не просил маму с папой умирать, они сами так решили, и он отлично без них справился. Фрэнк выбросил из головы образ брата с сестрой и, насвистывая, зашагал домой. Он весь день ничего не ел, поскольку проиграл все деньги, так что просто завернулся в одеяло и улёгся. Сон, однако, не шёл.

Он слышал, как приходят остальные, как они ругаются, рыгают и выпускают газы, и ненавидел их всех. Как можно докатиться до такой жизни? Ему представился призрак какого-то мужчины, большого, сильного и заботливого, который заботился о своей слабой, больной жене. Призрак растворился в окружающих звуках и запахах, и Фрэнк уснул. Впервые за много лет ему снилась мать, которую он так беззаветно любил. Она уходила – ей нужно было на работу. Он проснулся с тревожным криком и ощупал постель, но её нигде не было, и тут он вспомнил, где она, и разрыдался. Он вспомнил вдруг ту жуткую ночь, когда она не вернулась, и вспомнил, как прижимал к себе Пегги до утра, пока их не забрали в работный дом.

Юноша лежал и смотрел в пустоту, и воспоминания захлёстывали его: их двор, их комната, смех и песни матери или её кашель – и тревога отца. Призрак был где-то рядом, но никак не материализовывался. Он вспоминал крошечного младенца – когда она родилась, то была немногим больше чайной чашки. Он вспоминал, как они с мамой купали её и надевали на неё детские одёжки, которые всё равно были слишком велики. Он представил, как мать кормит Пегги, и заплакал. Фрэнк зарылся лицом в соломенный тюфяк, чтобы заглушить всхлипы, как часто делал в работном доме. Призрак приблизился, словно хотел заговорить с ним, но этого так и не произошло.

Фрэнк проснулся от того, что торговцы вокруг него стали собираться на

работу. Что за безумная ночь! Что произошло? Вот она, настоящая жизнь. Он бросил сапогом в соседа и попросил его одолжить денег. Он знал, что все уличные торговцы помогают друг другу в тяжёлый час.

Придя на рынок, он снова превратился в холодного профессионала. Взгляд его не упускал ни одного жулика, уши слышали всё вокруг. Он взялся за торговлю с удвоенной силой и к двум часам уже всё распродал. Он нашёл соседа, вернул ему долг. Для уличных торговцев это было делом чести.

Фрэнк пересчитал заработок. Тут хватало и на завтрашний товар, и на обед. Он отправился к Бетти и заказал Кейт и Кочки [стейк и почки] с картошкой и ступенями [ломтями хлеба], смородиновый пудинг с подливкой и пинту^[8] випа. Нет. Лучше две пинты.

Вот что нужно мужику – хорошая заправка. Со всеми этими ставками и переживанием он не ел со вчерашнего утра. Неудивительно, что ему не по себе. Мужик на голодный желудок долго не проходит. Он уселся спиной к двери. Бетти принесла ему еду и ущипнула его за ухо, но он был не в духе, и она обиженно отошла.

В паб вошёл широкоплечий мужчина. Он нанял мальчишку, чтобы тот держал узду, и теперь бросил ему через плечо:

– Присмотри за ней, малец, пока меня нет.

Фрэнк услышал эти слова, и призрак вернулся и сел с ним рядом. Он вспомнил – вначале смутно, а затем отчётливо, будто это было вчера – что он обещал отцу заботиться о матери и сестре. Пудинг стал у него поперёк горла, и юноша не мог больше есть. Неужели Бетти и правда услышала, как он бормочет, глядя куда-то в сторону: «Прости, папа, прости» – или ей показалось? Она определённо видела, как он утёр слезу рукавом, и сказала Мардж, поварихе:

– Что-то не то с ним нынче. Пудинг не ест. Что-то не то, кишками чую.

Фрэнк долго сидел за столом, не в силах пошевелиться. Призрак исчез, но воспоминания остались. Мать его была мертва, но сестра, насколько он знал, жила в работном доме. Он ударил кулаками по столу и впился ногтями в ладони, вспомнив, какой невыносимо жестокой была там жизнь. Он молился, чтобы его сестре приходилось легче. Может, с девочками обращаются мягче. Фрэнк вспомнил, как они жили там вместе и как он по ночам забирал её к себе в кровать, если она плакала. Вспомнил, как дрался с мальчишкой, назвавшим её лысой, и удовлетворённо ухмыльнулся. Вспомнил девочку по имени Джейн, с которой они дружили, и понадеялся, что та всё так же приглядывает за Пегги. Раньше он никогда не молился, но начал молиться теперь и поклялся небесам, стиснув кулаки и сжав

челюсти, что, если его сестра жива, он найдёт её и заберёт из рабочего дома. Он позаботится о ней, как обещал отцу.

Обеспокоенная Бетти подошла и принялась убирать со стола.

– Как насчет чашечки Розы Ли, дорогой?

Я угощаю.

Пегги

Так Фрэнк снова оказался в рабочем доме. На этот раз он ждал в кабинете директора. Он, как мог, привёл себя в порядок, и теперь его снедал ужас. Жива ли она? Ведь тут дети постоянно умирают. Он сам такое видел и слышал множество историй. Если Пегги погибла, он убьёт тех, кто в этом виноват, и пусть его повесят. В коридоре раздались шаги, и Фрэнк встал.

Самым удивительным оказалось то, каким маленьким был директор. В детских воспоминаниях он представлял огромным страшным человеком, чьи слова были абсолютным законом, человеком, который мог избить и выпороть за малейшее неповиновение. Но теперь перед ним стоял обрюзглый мужичок на голову ниже Фрэнка, он наверняка не смог бы поднять и кусочек трески с тарелки – не говоря уж о полном ящике на скользкой набережной. Глядя на его жалкие мускулы, Фрэнк вспоминал силачей, с которыми пахал бок о бок все эти годы, и чуть не расхохотался: неужто это и есть страх всего рабочего дома, эта жалкая медуза?

Но у него есть цель, а значит, надо держаться вежливо. Он спросил, жива ли его сестра. Директор ответил утвердительно. Фрэнк с облегчением выдохнул. Так где же она? Мужчина сообщил, что она в школе для девочек, и о ней хорошо заботятся. Фрэнк был счастлив. Она здесь? В этом здании? Можно её увидеть? Директор равнодушно заметил, что мальчиков не допускают в женские классы.

Фрэнк недоумевал.

– Так что ж мне поделать, если я мальчик, – выпалил он. – Будь я её сестрой, вы б меня пустили?

Директор улыбнулся и согласился.

– Но правила есть правила, – сказал он, и по его тону было ясно, что беседа окончена.

Радость от того, что сестра жива, была сильнее разочарования от невозможности её увидеть. Но Фрэнк твёрдо решил с ней встретиться – будь проклят этот директор! – и поменял маршрут так, чтобы к четырём часам, когда девочки возвращались из школы, оказываться вблизи рабочего дома. Он болтался вокруг, покрикивая: «Улитки и угри!», пока мимо него маршировала шеренга учениц. Но он её не узнавал. Среди них была пара десятков белокурых девочек примерно её возраста, но, хотя он искал Пегги каждый день на протяжении двух недель, опознать сестру не

удавалось. Некоторые из старших девочек, проходя мимо него, хихикали и толкали друг друга. Обычно он ответил бы на их заигрывания, но сейчас ему было не до кокетства. Он снова сменил маршрут.

Фрэнк добился ещё одной встречи с директором. На этот раз он спросил: если ему нельзя увидеться с ней, можно ли вообще забрать её отсюда? Директора удивила настойчивость мальчика, и он снисходительно объяснил, что любой родственник вправе подать заявку, чтобы забрать кого-то из жильцов работного дома, и если он докажет, что сумеет содержать сестру, то заявку одобряют.

Фрэнк быстро перевёл сказанное в уме.

– То есть если я буду её содержать, то могу забрать?

Мужчина кивнул.

– А что вы считаете содержанием?

Директор окинул взглядом этого настырного подростка и улыбнулся – такими нереальными были его притязания.

– Для начала заявитель должен быть порядочным гражданином и располагать жильём. Ему следует доказать, что он в состоянии содержать родственника, которого хочет забрать, и иметь достаточную сумму на случай болезни или потери работы.

– И сколько это – «достаточная сумма»?

Директор постучал карандашом по столу и насмешливо улыбнулся.

– Двадцать пять фунтов, например. Это достойная сумма.

Фрэнк сглотнул. Двадцать пять фунтов! Попросите какого-нибудь современного рабочего скопить двадцать пять тысяч фунтов, и он так же сглотнёт и побледнеет.

Директор сказал, что разговор окончен, полагая, что больше не увидит мальчика.

Фрэнк печально побрёл домой. Задача казалась нерешимой. Почему ему не дают просто забрать её? Войдя в свой унылый кукольный дом, где жили одновременно человек двадцать, он понял, что директор был прав. Нельзя привести сюда девушку. Ему потребуется содержать её и следует найти им подходящий дом.

Фрэнк начал работать так усердно, как никогда раньше. Он, как обычно, торговал рыбой, но, распродав всё, не шел отдыхать, а продавал фрукты и орехи и сновал с ними по пабам, театрам и мюзик-холлам до десяти-одиннадцати вечера. Доход его вырос вдвое. Он сменил привычки и стал белой вороной среди своих старых дружков, поскольку больше не играл и не сорил деньгами в кабаках. Трудяги презирали его и посмеивались. Он открыл сберегательный счет на почте. Уличные

торговцы никогда не копили деньги – они тратили их по вечерам в пабах. Но Фрэнк не интересовало, как живут остальные. Он открыл счёт, потому что понимал, что в меблированных комнатах его рано или поздно ограбят. Узнав, что ему на счёт будет поступать четыре процента от вложений, он пришёл в восторг и стал подсчитывать, сколько пенсов ему принесёт каждый фунт. К пятнадцати годам он скопил восемь фунтов.

Можно с уверенностью сказать, что Фрэнк был гениальным и крайне изобретательным торговцем. Он стал зарабатывать на жареной рыбе: отдавал её готовить пекарям, после чего вручал нанятому мальчику, чтобы тот продавал её по фиксированной цене со своим процентом. Он занялся жареными каштанами и посчитал, что аренда оборудования окупится к Рождеству. И оказался прав. К шестнадцати годам у него было на счету двадцать пять фунтов.

Тогда он принялся искать жильё для них с Пенни. Он решил, что это должна была быть достойная комната. Нельзя приводить сестру в какую-нибудь вонючую дыру. Ей теперь двенадцать лет, она уже юная леди. Он не видел её с младенчества, но представлял хорошенькой и хрупкой, очень похожей на мать. В его воображении мать и сестра слились в один образ, божественный женский идеал, ангел-хранитель его надежд и устремлений.

Фрэнк нашёл комнату на верхнем этаже – восемь шиллингов в неделю плюс два шиллинга за обстановку. Это жильё казалось ему аристократическим. На втором этаже стояла газовая плита, которой могли пользоваться все жильцы, а в подвале имелся водопровод. Во дворе стоял туалет. Фрэнк был доволен.

Юноша вновь пришёл в кабинет к директору. Он надел свой лучший костюм, а в кармане у него лежала сберегательная книжка. Директор не ожидал его видеть и был потрясён, когда понял, что шестнадцатилетний мальчик за два года скопил двадцать пять фунтов. Как ему это удалось? Он взглянул на Фрэнка с уважением и сказал:

– Твой запрос должен рассмотреть совет попечителей. Он собирается через три недели.

Он сообщил Фрэнку дату и время встречи попечителей и велел прийти в тот же вечер.

Фрэнк спросил, можно ли ему увидеться с сестрой, но получил сухой отказ: только через три недели. Пылая от негодования, он взглянул на свои мощные кулаки и еле сдержался, чтобы не сбить директора с ног, но вспомнил, что ему полагается быть «порядочным гражданином», и спрятал руки за спиной. Если он ударит директора, то никогда не вызовет Пегги

из работного дома!

Попечители долго спорили из-за его заявки. Случай был необычный, но они решили отпустить девочку, если она согласится уйти с братом. Фрэнка вызвали и подвергли допросу. Ответы удовлетворили комиссию, но больше всего их впечатлила сберегательная книжка. Ему велели стоять у окна, и Пегги вызвали с дежурства.

В этот момент Пегги была в умывальной и помогала младшим девочкам вымыться перед сном. Ей нравилась эта работа – лучше, чем скоблить жирные кухонные полы или выносить вонючие мусорные корзины. Она играла с детьми, и укладывание неизменно сопровождалось хохотом. Смеяться приходилось тихо, чтобы никто не услышал, но почему-то кусочек мыла, скользящий по каменному полу, казался ещё смешнее от того, что надо было затыкать рот полотенцем, дабы никого не рассердить. Для маленьких девочек тайное веселье становится вдвое радостнее.

Пегги покраснелась от пара и смеха. Белокурые волосы её намокли, и локоны у лба завились ещё сильнее. Её фартук пропитался водой, руки были покрыты мыльной пеной.

В умывальную вошла надзирательница.

– Тебя вызывают попечители. Иди за мной.

Пегги не знала, что это значит, и у неё не было времени испугаться. Её отвели в большой зал, где за овальным столом сидела группа джентльменов.

Фрэнк, не привлекая внимания, стоял у окна и наблюдал за каждым её шагом. Она была выше, чем он думал. Ему представлялось крохотное хрупкое создание, поскольку он запомнил её младенцем. Но это была уже настоящая девушка. Ему понравились её взлохмаченные влажные волосы, дружелюбное лицо, и он ощутил укол жалости, увидев, как она встревожена.

– Твой брат хочет забрать тебя из работного дома, – добродушно сообщил председатель.

– Мой брат? – озадаченно переспросила Пегги.

– Да, у тебя есть брат. Ты не знала?

Она покачала головой. От ужаса у Фрэнка подкосились ноги. Он привалился к стене.

– Ну что ж, это так, и он просит разрешения забрать тебя, чтобы самому за тобой присматривать. Ты хотела бы уйти с ним или остаться здесь со своими друзьями?

Пегги замешкалась, и один из попечителей резко сказал:

– Не молчи, дитя! Если председатель так любезен, что заговорил с

тобой, надо ему отвечать.

Губы Пегги задрожали, и она заплакала, но так и не произнесла ни слова. Фрэнк был охвачен ужасом. А если она не хочет уходить? Такой вариант даже не пришёл ему в голову.

Председатель был добрым человеком, и у него самого имелись дочери.

– Это твой брат, его зовут Фрэнк, – сказал он мягко и показал на юношу. – Очень жаль, что ты не видела его с трёх лет, но теперь он готов забрать тебя, и мы, твои опекуны, считаем, что он сможет тебя обеспечить. Желает ли ты уйти с ним?

Пегги взглянула на него. Перед ней стоял какой-то высокий незнакомец, совершенно чужой ей человек. Незащищённые дети боятся перемен. Ей вспомнились весёлый смех в умывальне, подружки в классе и в общей спальне. Она разглядывала этого неизвестного, недоступного юношу, и ей хотелось вернуться к друзьям, к привычной жизни.

Фрэнк понял, что она сейчас откажется, и его захлестнула паника. Прежде чем она заговорила, он шагнул к ней.

– А ну стой на месте, у тебя нет права!.. – крикнул директор.

Фрэнк не обратил на него внимания. Он подошёл к Пегги и посмотрел ей в глаза. Все в комнате смолкли, наблюдая, как брат и сестра встречаются впервые за девять лет. Он медленно взял мизинцем правой руки за её мизинец и улыбнулся:

– Привет, Пег.

Этот жест вдруг подстегнул её память, и вряд ли бы нашлось что-то более действенное. Сцепленные мизинцы были милой и практически забытой деталью из детства. Никто, кроме брата, так не делал. Теперь она это вспомнила. В ней начали пробуждаться давно похороненные воспоминания об их разлуке, о её тоске. Она смотрела на Фрэнка и чувствовала, как её заполняет любовь, которой она не знала все эти годы.

Пегги сжала его мизинец и заговорщически улыбнулась. Он заметил ямочки на её щеках и вдруг понял, что видел их и раньше. И вдруг она с неожиданной лаской обняла брата и положила голову ему на плечо. Попечители заворожённо следили за происходящим. Даже директор молчал. От пьянящего запаха её волос по телу Фрэнка пробежали мурашки, и он расслабился, понимая: она – его сестра, теперь всё будет хорошо.

Объятие их продлилось недолго. Девочка повернулась к председателю и сделала реверанс.

– Я бы хотела уйти с братом, если позволите, сэр.

Образы детства обитают в своеобразном лимбе: мы не помним о них, но они и не забыты. Пока Пегги, пританцовывая, шагала по мостовой и

поглядывала на Фрэнка, ей отчаянно хотелось его вспомнить, но всё было тщетно. Она разглядывала его лицо, волосы, улыбку и пыталась убедить себя, что знает его и помнит его мальчиком, но приходилось признать: перед ней незнакомец. И всё же он не был чужим. Его большая грубая рука казалась ей родной. Когда они шли по тёмной улице и он обнимал её за плечи, это тоже казалось родным. Его прикосновение затрагивало в ней какие-то невидимые струны.

Фрэнк был сам не свой от счастья. Он чувствовал себя королём. Никто из его товарищей не был способен на такое. Он спас из рабочего дома свою сестрёнку, и она никогда туда не вернётся. Пегги была совсем не такой, как он воображал, но это не важно: она оказалась куда лучше. По пути им встречались его знакомые, которые пихали друг друга и кричали:

– Что это у тебя за девка? Где взял? Для нас там таких нет?

– Это моя сестра, – добродушно отвечал Фрэнк, – и она такая одна в целом свете.

Он отвёл её в их комнату и сообщил, что они живут на приличной улице. Он с гордостью продемонстрировал ей все удобства дома. Они проследовали на второй этаж, и юноша показал главный предмет роскоши: газовую печь, на которой она могла готовить. Преодолев два пролёта по деревянной лестнице, он торжественно распахнул дверь.

Это была крошечная чердачная комната со скошенным потолком и узким окном – вместо одного из стёкол в нём красовался картон. С некрашенных стен отваливались хлопья штукатурки. Пожелтевший потолок был покрыт сырыми пятнами. Обстановка, стоившая два шиллинга в неделю, состояла из грубого деревянного стола и стула, узкой железной кровати с серыми армейскими одеялами, деревянного ящика, свечи в молочной бутылке, кувшина, таза и ночной вазы. Выглядело это весьма уныло, но дети любят маленькие комнаты, и Пегги их дом показался раем.

Она бросилась к Фрэнку на шею:

– Тут чудно! Мы правда будем здесь жить? – Она вдруг встревожилась. – Мне же не надо возвращаться? Только не отправляй меня обратно.

Я хочу остаться тут, с тобой.

Он обнял её и уверенно сказал:

– Ты никогда туда не вернёшься. Слышишь? Никогда. Пока я жив. Мы всегда будем вместе. Клянусь. А теперь улыбнись, я хочу посмотреть на ямочки.

Она доверчиво улыбнулась, и он коснулся её лица мизинцами.

– Тебе бы радоваться почаще.

Он принёс еды и разжёг огонь в крохотном камине. Красно-жёлтые языки пламени добавили красок комнате. Фрэнк купил выпечку и настоящее масло, и они уселись на полу у огня, поджаривая кексы на кончике ножа. Было так вкусно, что Пегги всё ела и ела, и масло стекало у неё по подбородку. Юноша рассмеялся и вытер его рукой. Она поймала его руку и слизала масло у него с пальца. Взгляд её затуманился. По коже у него пробежали мурашки. Он не знал, что сказать.

– Кексы и масло, – пробормотала она. – Лучше, чем этот вонючий чёрствый хлеб и маргарин. А можно я всегда буду есть кексы?

– Конечно. Сколько угодно. Я уж позабочусь. Хоть каждый день ешь. И конфеты, и шоколад, и пироги.

– А джем можно? А мёд, а сливки?

– Всё, что захочешь, сестрёнка. Вот увидишь.

– А красивые платья?

– Да сколько скажешь.

– А экипаж с четырьмя лошадьми?

– Конечно. Шесть лошадей и кучер.

Пегги вздохнула от счастья. Но на душе у неё было тревожно, и она приникла к брату.

– Но ты же никуда не уйдёшь? Ты же не позволишь им опять меня забрать?

Глаза её расширились от ужаса. Его взгляд был спокойным, а голос звучал уверенно.

– Никто тебя у меня не заберёт. Никто. Никогда. Я же пообещал. Мы всегда будем вместе.

Обилие кексов и переживаний и тепло камина сделали своё дело, и Пегги стала засыпать. Фрэнк разглядывал её, думая, что никогда не видел такой красавицы. Она была куда краше всех подружек его товарищей. Все они были грубыми шумными девами с грязными волосами. Он наклонился и коснулся её локонов. Они напоминали шёлк, и он дунул на прядь, чтобы посмотреть, как она разлетится. Почувствовав его дыхание, Пегги открыла глаза.

– Пойдём, малышка, пора спать.

Фрэнк говорил так же, когда ему было шесть, а ей – два. Она хихикнула и привалилась к стене, стуча по полу пятками.

– А вот и не пойду!

Он стянул с неё ботинки и носки, приговаривая, как тогда:

– Этот поросёнок пошёл на рынок, этот остался дома...

– ...А этот пел песни по пути домой! Домой, Фрэнк, не в рабочий дом,

а сюда, к тебе.

Он раздел сонную девочку, как делал это почти десять лет назад. Юноша уложил её в кровать, и она тут же уснула, укутавшись в тёплое одеяло.

Фрэнк подбросил в огонь ещё одно полено. Спать ему не хотелось. Он ощущал необычайный прилив энергии, и внутри него пробудилось множество чувств. Всё получилось! Он спас её! Теперь всё будет хорошо. А как этот вонючий директор подскочил, когда увидел его сберкнижку и узнал, где они будут жить. Фрэнк гордо оглядел комнату. Вот это настоящая роскошь.

Он погладил по волосам спящую девочку, и его охватила нежность. Это его сестра. Похожа ли она на их мать? Сложно было сказать. Теперь Пегги появилась вживую, и образ матери стал понемногу таять. Какие же девочки нежные и милые. Он погладил её мягкое белое плечо и сравнил со своим, покрытым чёрными волосами. Он взял её руку и заметил, какие у неё красные, потрескавшиеся пальцы и короткие переломанные ногти. Вот твари! Её вынуждали тяжело работать! Лучше б им не попадаться ему на пути, а то он их переубивает! Нет, это было бы слишком хорошо. Лучше заставить их самих скоблить полы. Пусть трудятся годами! Вот это будет для них урок. Он выругался и поклялся, что Пегги теперь никогда не придётся гнуть спину.

Он встал и поддел бревно ногой. В воздух взвились искры, и угли заалели – в их свете мрачный чердак казался уютным. Он оглянулся и вспомнил про унылое жильё, где он провёл два года. Вот же мерзость! Жильцы вечно кашляли и плевались. Все мужчины постоянно пускают газы, рыгают и ругаются. Дерутся не пойми из-за чего. Он не только спас Пегги. Он и себя спас из этой вонючей дыры и больше туда не вернётся. Никогда.

Фрэнк снова сел рядом с девочкой и стал слушать её тихое дыхание. А мужчины храпят! По крайней мере, все известные ему мужчины храпели как слоны. Спать было невозможно. Пегги тихо засопела, и Фрэнк задержал дыхание. Так вот как девушки храпят? Ему вспомнилась общая спальня в рабочем доме, семьдесят мальчиков, надзиратель, но он быстро оборвал эти мысли. Не надо об этом больше думать. Это слишком ужасно. Теперь они оба выбрались и уже туда не попадут. Они будут вместе. Решительно выпятив челюсть, он стал думать о будущем.

Ей следует пойти в школу. Его сестра получит хорошее образование, манеры. Уж он-то проследит. Она не будет обыкновенной торговкой, как эти несчастные голодающие замёрзшие дети, которые часами пытаются

продать несколько гнилых, никому не нужных яблок и груш, а потом получают трёпку, потому что ничего не заработали. Нет, его сестра станет леди, начнёт учиться по книжкам и красиво разговаривать.

Скрипнуло полено, и мысли его потекли в другом направлении. Наверное, надо ложиться спать. В три часа ему предстояло отправляться на рынок. Теперь стало ещё важнее заработать, а о школах можно будет подумать завтра. Но ему не хотелось портить этот момент. Огонь угасал, но он видел тёмный изгиб ресниц на фоне бледной кожи, белое плечо на сером одеяле. Он наклонился и нежно поцеловал сестру. Это был лучший день его жизни.

Вдруг он почувствовал усталость. Всё пережитое за день словно разом на него навалилось. Он зачихал бревно поглубже в угли, разделся и прилёг, стараясь не потревожить девочку, но кровать была такой узкой, что ему пришлось её подвинуть. Пегги вздохнула, протянула к нему тёплые руки, обняла его за шею и притянула к себе.

– Это Фрэнк? Мой милый братец Фрэнк?

Я так тебя люблю.

Юноша поцеловал её глаза, её волосы, лицо, губы. Он провёл руками по её стройному телу, и его охватила дрожь, когда он ощутил округлости её небольших упругих грудок и ягодиц. Она пребывала в полудрёме, но все равно любила его всем сердцем, всей душой, всем телом. Союз их был столь же неизбежен, сколь и невинен.

Пока смерть не разлучит нас

Пегги, напевая что-то, мыла и чистила Ноннатус-Хаус. Слышать её было неизменной радостью.

– У тебя весёлый вид, – заметила сестра Джулианна. – Как поживает Фрэнк?

– Фрэнк? Ну, у него живот болел, но я ему дала солей, скоро всё пройдёт.

Несколько недель спустя она пожаловалась сестре:

– Фрэнк по-прежнему страдает животом. Соли не помогают. Что ему ещё дать?

Расспросы показали, что боли в желудке у её брата продолжались уже полтора месяца. Сестра посоветовала сходить к врачу, но Фрэнк отказался. Такие, как он, докторов недолюбливают.

– Вот ещё, никогда к этим костоломам не ходил и не собираюсь. Всё пройдёт, вот увидите.

Но не прошло. Пару недель спустя ему пришлось свернуть торговлю на рынке на Крисп-стрит в одиннадцать утра, не распродав и половины рыбы. Такого раньше не бывало. Вернувшись домой, он выпил пару таблеток кодеина, и уснул, и на следующее утро почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы спозаранку отправиться в Биллингсгейт.

– Я ж говорил, что всё пройдёт, нет? – сказал он, целуя Пегги на прощание.

Но в семь утра его принесли домой. Боли стали такими сильными, что он уже не мог работать. Пегги уложила его в кровать и вызвала врача, который обследовал его и посоветовал отправиться в больницу. Фрэнк отказался. Доктор принялся уверять его, что это всего лишь на несколько дней, Пегги настаивала, и в конце концов Фрэнк сдался. Анализы показали начальную стадию опухоли поджелудочной железы. Им сказали, что поджелудочная железа воспалена, и Фрэнку показана радиевая терапия.

Пегги пришла искать утешения в Ноннатус-Хаус.

– Это же всего лишь воспаление, да и что такое поджелудочная железа? Какой-то крохотный орган, это ж не желудок и не печень. Облучение всё мигом уберёт. Эта железа не больше аппендикса, а сколько народу их поудаляло.

Мы утешали её. Что нам оставалось делать? Мы не сказали, что в те дни никто и не слышал, чтобы человек пережил рак поджелудочной

железы. Фрэнку предложили либо лечь в больницу, либо приходить на облучение дважды в неделю. Он остался дома, сдал свой прилавок на три месяца и сказал, что скоро придёт в себя и потребует его обратно. Он запретил сестре увольняться, потому что не желал, чтобы над ним хлопотали. Однако Пегги всё же отказалась от большей части работы, сказав, что это первый раз в их жизни, когда он не вкалывает шесть дней в неделю, и это настоящий праздник. Какое-то облучение им вряд ли помешает, и в остальное время они будут гулять и радоваться.

Но Пегги не отказалась от работы в Ноннатус-Хаусе. Возможно, близость к сёстрам успокаивала и поддерживала её. Она не казалась встревоженной. Мы слышали только:

– Он хорошо себя чувствует, спасибо, сестра.

Или:

– Мы мало куда ходим. От радия он устаёт, поэтому мы сидим дома. Ему нравится, когда я ему читаю. Мы решили, что так лучше.

Как-то раз она сказала:

– У него по ночам всё болит, но ему дали какие-то таблетки, так что теперь будет легче, да, сестра?

А в другой раз:

– Он немножко похудел. Ну и хорошо, я ему говорю, а то уже брюхо себе отрастил. А он смеётся и говорит, мол, ты права, Пег.

Несколько недель спустя нас попросили отправить к Фрэнку сиделку. Мы с сестрой Джулианной отправились к ним домой.

Пегги и Фрэнк жили в модульном доме на Собачьем острове. Это были небольшие сборные постройки, в изобилии возникавшие на улицах после войны, – там поселились тысячи людей, чьи жилища оказались разрушены. Модульные дома возводили второпях, в качестве временной меры. Предполагалось, что они прослужат не более пяти лет, но некоторые из них простояли по полвека. Это было уютное и симпатичное жильё, и многим оно нравилось больше, чем домишки, погибшие под бомбами. В лучах утреннего солнца район выглядел чудесно: низкорослые строения, деревья, усиденные воробьями, плеск реки. Меня всегда поражало, как такая идиллия может существовать неподалеку от одного из крупнейших торговых портов в мире.

Их крошечный сад, всего четыре фута на шесть^[9], выглядел образцово и был полон цветов, капусты и стручковой фасоли. По южной стене вился виноград – интересно, съедобный ли? Входная дверь вела прямым ходом в уютную, безупречно чистую гостиную. Пегги, очевидно, гордилась своим домом.

Она встретила нас с обычной радостной улыбкой.

– Как хорошо, что вы пришли, – сказала она, забирая у сестры пальто. – Фрэнк сейчас в постели, но вообще он хорошо себя чувствует. У него уже две недели как идёт терапия, и он всё крепнет. Говорит, скоро вернётся на рынок.

Мы вошли в спальню, и я порадовалась, что рядом со мной сестра Джулианна. Будь я одна, то вряд ли могла бы скрыть шок, который испытала, увидев Фрэнка впервые за три месяца. Он выглядел чудовищно. Мужчина лежал в центре широкой двуспальной постели – бледный, с запавшими глазами. Он так похудел, что кожа его вся обвисла, и у него выпали почти все волосы. Сомневаюсь, что кто-то из дружков с рынка узнал бы его.

Сестра Джулианна подошла к нему и тепло сказала:

– Здравствуй, Фрэнк, как мы рады тебя видеть. Нам тебя не хватает, и мы очень ждём твоего возвращения. Твой коллега – вполне себе ничего, мы не жалуемся, но с тобой нам куда лучше.

Фрэнк улыбнулся, и у него натянулась кожа на носу и скулах. Запавшие глаза блеснули от удовольствия.

– Скоро уж вернусь, сестра. Мне всего несколько недель осталось этой терапии, и я снова буду на ногах.

– Ты уверен, что не хочешь пройти оставшееся лечение в больнице? Там тебе будет спокойнее. Все эти поездки взад-вперёд очень утомительны, особенно после сеансов.

Но и Пегги, и Фрэнк стояли намертво.

Сестра осмотрела его. Она осторожно переключивала его истощённое тело, руки и ноги, в которых, казалось, уже не хватало мускулов, чтобы шевелиться самостоятельно. Неужели это тот самый Фрэнк, всего несколько недель назад поднимавший тяжёлые ящики трески? Я подошла с другой стороны кровати и уловила аромат смерти.

Как ни странно, Пегги словно не замечала, как тяжело болен брат. Она казалась совершенно довольной и всё повторяла: «Он хорошо себя чувствует», «Он с каждым днём все крепче» или «Он тут съел весь молочный пудинг, что я приготовила, а это хороший знак, да?» Меня потрясло, до какой степени все мы видим только то, что хотим. Пегги настолько закрылась от реальности, что не понимала, в каком состоянии пребывает её брат. Для неё это был всё тот же Фрэнк, её родственник и возлюбленный. Ради него билось её сердце, ради него кровь бежала у неё по венам, и очевидные каждому изменения она просто не желала признавать.

Мы договорились, что я начну ухаживать за Фрэнком дважды в день, а сестра Джулианна будет приходить, когда её вызовет Пегги.

Не знаю, заметила ли сестра Джулианна устройство жизни в этом домике. Все модульные дома были спроектированы одинаково: большая комната и две смежные с ней маленькие. Задумывалось, что это будут две спальни, но здесь во второй устроили столовую, которую мы видели сквозь открытую дверь. В единственной спальне стояла только одна широкая кровать. Если сестра Джулианна и обратила внимание на это всё и сложила два и два, то ничего не сказала. Сёстры часто встречали подобное. В стеснённых условиях, когда в одной-двух комнатах жили десять, двенадцать, пятнадцать или более человек, инцест был обычным делом. Семьи хранили свои тайны, и сёстры ничего не комментировали и не осуждали. Я понимала, что за семьдесят лет работы в Попларе они видели всё, что может случиться с человеком.

Позднее сестра сказала мне:

– Будем подыгрывать, как будто он и правда поправится. Пусть этот спектакль продолжается – бессмысленное лечение, бесполезные лекарства. Пусть думают, что врачи ему помогут. Самое важное здесь – надежда, а без надежды на будущее большинство наших пациентов умирали бы в мучениях.

Как-то раз я застала их за изучением брошюр из туристического агентства Томаса Кука. Фрэнк был в полном сознании. Говорил он медленно и тихо, но взгляд был ясным, и он казался почти оживлённым.

– Мы тут с Пег подумываем съездить отдохнуть в Канаду, когда это лечение закончится и я снова буду на ногах. Она ещё никогда не бывала за границей. Я-то был во Франции и Германии, когда мы воевали с Гитлером, и что-то в Европу больше не хочу. Но в Канаде неплохо, много воздуха. Взгляните-ка, сестра. Хороши картинки, а? Мы вот решили, что Канада нам по душе, да, Пег? Может, и останемся там, если понравится, да, Пег?

Пегги сидела на краю кровати, и глаза её сверкали от предвкушения.

– Поплывем на «Куин Мэри», – поддакнула она. – Первый класс, как щёголи.

Они рассмеялись и взялись за руки.

Мы с Пегги отвели Фрэнка в ванную. Было непросто, но у него ещё оставались силы, чтобы туда доковылять. Пегги вымыла его – он мог сам забраться в ванну, но вот вылезти оттуда уже не мог. Одетый в чистую пижаму, он сел в гостиную, разглядывая уток на обоях, пока мы с Пегги меняли постельное бельё. Над кроватью висела вышивка, выполненная по-детски крупными стежками: «Бог есть любовь».

Мы обучили Пегги основам сестринского дела – как бороться с пролежнями, с болью, с тошнотой. Она схватывала на лету всё, что могло хоть как-то помочь Фрэнку. Я задала все обычные вопросы про аппетит, недомогание, стул, рвоту, головные боли и количество потребляемой жидкости и оставила их совершенно счастливых, погружённых в планирование. Они никак не могли решить: поехать в Ванкувер или к Скалистым горам?

Когда я вышла из дома, воздух вокруг был свежим, и грохот грузовых судов, кранов, грузовиков казался очень далёким. Я подумала о многочисленных силачах, неустанно трудящихся в порту, и о хрупкости человеческой жизни. Здоровье – величайший из даров Господа, а мы принимаем его как должное. Оно висит на волоске не толще паутины, и любая мелочь может разорвать этот волосок, в мгновение ока сделав сильнейших абсолютно беспомощными.

В течение шести недель Фрэнк проходил курс радиевой терапии, и дважды в неделю карета скорой помощи отвозила его в больницу. Они с Пегги трогательно восхищались тем, что новая система здравоохранения предоставляет всё это бесплатно.

– Повезло, что я заболел сейчас, а не несколько лет назад. Тогда бы я это всё не смог бы оплатить.

Они казались совершенно уверенными в том, что лечение подействует, – возможно, потому что оно было таким непростым. То, что Фрэнк слабел с каждым днём, списывали на побочные эффекты терапии, которые непременно пройдут, когда курс закончится. Все участники процесса (то есть все врачи и медсёстры – по меньшей мере тридцать человек) поддерживали иллюзию, хотя никакого официального решения на этот счёт принято не было.

Тошнота – неприятный побочный эффект облучения, и Фрэнка заранее о нём предупредили. Он считал, что слабеет и теряет вес, потому что недоедает.

– Конечно, похудеешь тут, если будешь есть как я. Да мне хоть раз нормально пообедать и не сплевать – я вмиг вес наберу, вот увидите.

Ещё одной проблемой была боль. Устранение боли – первейшая задача при уходе за умирающим. Боль загадочна, поскольку у нас нет меры для её оценки. У всех людей разный болевой порог, поэтому требуемая доза анальгетика всегда различается. Нужно соразмерять силу болеутоляющего с потребностью пациента и не допускать, чтобы боль становилась нестерпимой.

Фрэнк три раза в день получал по полграмма^[10] морфина. Позднее

количество приёмов возросло до четырёх, а потом и до шести. Этого хватало, чтобы заглушить боль, но никак не влияло на его умственные способности. Он живо интересовался всем.

Как-то он сказал:

– Я каждое утро слышу, как приходят рыбацкие лодки. Привык рано просыпаться. Прямо вижу это всё: слепящее солнце, чёрные паруса выходят из тумана. Уж такая красота, не передать. Это надо видеть, словами не выразишь. А теперь всё моторы слушаю. На слух устричную лодку от тральщика отличаю. Я даже знаю, сколько морских судов приходит с Атлантики. Скорей бы вернуться.

Мы с Пегги хором уверили его, что теперь-то ждать осталось недолго. Он явно поправляется.

К тому моменту Пегги отказалась от всей работы и не отходила от него – разве чтобы заняться хозяйством. Она часами ему читала. Фрэнк так и не выучился писать, а читал медленно и неуверенно.

– Учился я всегда так себе, но Пег у нас образованная. Так люблю, когда она читает. Голос у неё прелесть.

Так Пегги познакомила его с полдюжиной романов Диккенса – она читала и вместе с тем следила за каждым его движением, каждой переменной настроения. Она примечала всё и закрывала книгу, едва почуввав, что её любимый устал или ему неудобно. Пегги быстрее него самого догадывалась, что ему нужно.

В каждом углу, в каждой скважине, в каждой трещинке этого дома жила любовь. Мы ощущали её, как только входили, она была настолько осязаема, что её как будто можно было коснуться. Если и есть что-то, что для умирающего важнее облегчения боли, то это любовь. Позднее, когда я служила старшей палатной медсестрой в больнице Марии Кюри в Хэмпстеде, я видела, как в одиночестве умирают нелюбимые, не нужные никому люди. В жизни нет ничего более трагичного. А для медицинского персонала это самые безнадёжные случаи.

Любовь заставляла Пегги петь Фрэнку по вечерам – старые шлягеры, а также народные песни и гимны из их детства. Любовь заставляла её двигать кровать, чтобы он видел мачты и трубы кораблей, входящих в доки. Любовь подсказывала ей, кого из посетителей принимать, а кому отказывать. Брат с сестрой стали ещё ближе. Они всегда были плотью от плоти друг друга – теперь слились и их души. Всё это время Пегги вела себя так, будто он скоро выздоровеет. Если она и плакала в кухне наедине, он этого никогда не видел.

Меня удивил Фрэнк. Мы только что закончили обтирания (у него уже

не было сил добраться до ванной), и он попросил Пегги принести грелку и попить чего-нибудь горячего. Услышав, как закрылась дверь, он сказал:

– Сестра, обещайте, что не скажете Пегги ни слова. Она не переживёт. Обещайте.

Я в тот момент складывала вещи в сумку, стоя к нему спиной. Услышав его слова, я замерла не дыша. Надо было ответить, но я словно лишилась голоса.

– Обещайте прямо сейчас.

– О чём вы? – спросила я наконец. Мне пришлось повернуться. Он смотрел прямо на меня; запавшие глаза ярко сияли.

– Я о том, что уже не выздоровею и не хочу, чтобы Пегги знала об этом раньше времени.

– Но, Фрэнк, с чего вы взяли, что не поправитесь? Терапия заканчивается на следующей неделе, а потом вам станет лучше.

Я ненавидела сама себя за это жалкое враньё. Мне было стыдно. Почему мы так поступаем? Говорят, что в Индии человек сам предсказывает собственную смерть, прощается с родными, уходит в святое место и там кончается. А мы даже не можем сказать правду умирающему и притворяемся, и я такая же лгунья, как и все остальные.

Он не сказал ни слова, просто молча опустил тяжёлые веки. Мы услышали, как открывается кухонная дверь, и он с усилием прошептал:

– Обещайте. Обещайте, что не скажете ей.

– Обещаю, Фрэнк, – прошептала я.

Он облэгченно вздохнул.

– Спасибо, – хрипло сказал он. – Спасибо, теперь я буду спать спокойно.

Радиевая терапия ненадолго приостановила рост злокачественной опухоли, но лечение нельзя было продолжать более шести недель, так как из-за этого страдали остальные органы. Когда курс закончился, Фрэнку стремительно стало хуже. Боли усилились, и дозу морфина повысили сначала до одного, а потом и до двух гранов каждые четыре часа. Он почти не ел, и Пегги сидела рядом с ним и кормила его мягкой пищей с ложечки.

– Ну давай, Фрэнк, милый, ещё один кусочек, надо же тебе сил набраться.

Он кивал и пытался проглотить. Сестра мыла и брила его, переворачивала, чистила ему зубы и промывала глаза. Она убирала его мочу и стул и содержала его в чистоте и удобстве, и всё это – напевая его любимые песни. Он больше не разглядывал туристические брошюры, и у него не было ни сил, ни желания слушать Диккенса, но ему, казалось,

нравилось её пение. Он уже почти не разговаривал и пребывал в полубессознательном состоянии.

Фрэнк понемногу ускользал в ту загадочную пограничную зону между жизнью и смертью, и в это время человеку нужны лишь покой, отдых и приятные звуки. Как-то раз, когда я была у них дома, он долго глядел на Пегги, будто не узнавая её, и вдруг отчетливо произнёс:

– Пегги, моя первая любовь, единственная моя любовь, всегда рядом, всегда со мной.

Он улыбнулся и вновь потерял сознание.

Умиравшему прежде всего нужно, чтобы кто-то был рядом. В больницах об этом знали, и, когда я проходила обучение, никто не умирал в одиночестве. Как бы ни был занят персонал, как бы мало ни было рук, медсестру всегда посылали посидеть с безнадёжным пациентом, чтобы поддержать его за руку, погладить по лбу, прошептать что-нибудь.

К ним относились с заботой и даже благоговением.

Я совершенно не согласна с идеей, что сидеть с людьми без сознания не обязательно, – якобы они ничего не чувствуют. Мой многолетний опыт показывает, что так называемое состояние забытья не означает полного отсутствия. Скорее можно сказать, что человек присутствует, просто на уровне, который находится вне нашего поля зрения.

Пегги это понимала, и в последние недели жизни Фрэнка она каким-то неясным для нас образом общалась с ним на этом недоступном нам уровне.

Как-то раз, когда я уходила, она сказала:

– Ну, теперь уж недолго. Я за нас обоих порадуюсь, когда всё закончится.

Она не казалась печальной. Напротив, на лице её читалась обычная безмятежность. Но теперь мы уже не притворялись друг перед другом.

– Как долго вы знали, что он умрёт? – спросила я.

– Как долго? Ну не знаю. Да давно уж. Когда врач послал его в больницу сдавать анализы, тогда и поняла.

– Так вы знали всё это время и никак не выдали себя?

Пегги не ответила и просто молча улыбалась, стоя на пороге.

– Но как вы догадались? – спросила я.

– Да что тут догадываться. Просто поняла, и всё, будто кто-то мне сказал. Мы с Фрэнком так были счастливы, как мало кому суждено. Мы больше, чем брат с сестрой, больше, чем муж с женой. Так как же мне не знать, когда его не станет?

Она улыбнулась и помахала проходящему мимо соседу:

– Да-да, он прекрасно себя чувствует, спасибо! Ещё немного, и встанет

на ноги.

Последний вечер его жизни наступил неожиданно скоро. Плох тот профессионал, что берётся предсказать день смерти. Молодые могут скончаться вдруг, внезапно, а хрупкие старики, от которых не ждёшь, что они протянут ещё ночь, способны жить в таком состоянии неделями.

Как-то в конце лета я шла к их дому. Вечер был восхитительный – река серебрилась в лучах солнца, а стены домов в этом свете казались мраморно-розовыми.

Пегги встретила меня со словами:

– Он изменился, сестра. Где-то час назад. Всё по-другому.

Она была права. Фрэнк лежал без движения. Не похоже было, чтобы он испытывал боль или неудобство. За всю свою жизнь я не видела, чтобы человек умирал в беспокойном состоянии. Все мы слышали про «смертельную агонию», но я её никогда не наблюдала.

Дыхание Фрэнка стало другим: медленным и глубоким. Я посчитала вдохи – всего шесть в минуту. Кожа вокруг губ, носа и ушей слегка посинела. Глаза его оставались открыты, но ничего не видели. Пегги крепко сжала его руку, погладила его по лбу и склонилась к нему с шёпотом:

– Я здесь, Фрэнк, всё хорошо, милый, я рядом.

Казалось, что он без сознания, но я увидела, как шевельнулась его рука, когда он ответил на её пожатие. Что это значит – быть без сознания? Уверена, он понимал, что она тут. Возможно, он даже слышал её и различал, что она говорит. Я ощупала его нос, уши, ступни – они были довольно холодными. Проверила пульс – всего двадцать ударов в минуту.

– Я побуду здесь с вами, – прошептала я. – Посажу у окна.

Она кивнула. Я присела, разглядывая их. Пегги выглядела совершенно спокойной и не казалась опечаленной или даже встревоженной. Она предельно сконцентрировалась на умирающем. Она была с ним в момент смерти – так же, как была с ним всю жизнь.

Частота его дыхания снизилась до четырёх вдохов в минуту, и кисть ослабла. Я вновь посчитала пульс – всего восемь-десять ударов. Я опять села, а Пегги продолжала гладить его лицо и руки. Тикали часы. Так прошла четверть часа. Фрэнк сделал глубокий вдох, и воздух с хрипом прошёл через его измученное горло. Из рта вытекло немного жидкости и попало на подушку. Глаза его были ещё открыты, но уже начали подёргиваться белой плёнкой.

– Кажется, он умер, – прошептала Пегги.

– Да. Давайте подождём ещё минуту.

Она продолжала неподвижно сидеть у тела, как вдруг, через две минуты, Фрэнк ещё раз судорожно втянул воздух. Мы засекали ещё пять минут, но больше он не дышал. Пульса или биения сердца мне нащупать не удалось.

– В твои руки, Господи, предаю дух его, – вдруг сказала Пегги, вслед за чем стала читать «Отче наш». Я присоединилась.

Мы встали и привели в порядок тело покойного. Мы закрыли ему глаза. Рот его постоянно открывался, и мы подвязали ему челюсть – когда окоченение возьмёт своё, повязку можно будет снять. Нам пришлось поменять постельное бельё, поскольку в момент смерти кишечник и мочевого пузыря опорожнились.

Мы обмыли его, и я сказала:

– Оденем его в рубашку задом наперёд. Потом вам принесут саван.

– У меня есть саван, – ответила Пегги. – Уже несколько недель. Я же не могла его так оставить.

Она принесла стул и достала из шкафчика над счётчиком коробку, в которой хранился саван. Мы одели Фрэнка. Я спросила: стоит ли мне позвонить гробовщикам? Она поблагодарила и сказала, что будет очень признательна.

– Только попросите их прийти завтра утром, не раньше, хорошо?

Это было совершенно естественно. В те дни покойные зачастую оставались в доме ещё день-два в знак уважения со стороны живых. Родственники и соседи заходили «отдать последние почести».

Всё это время Пегги была совершенно спокойной. Ни лицо её, ни голос не выдавали горе. В ней чувствовалось нечто нереальное. Я оставила её, преисполненная уважения.

Когда я уже выходила, Пегги попросила:

– Если увидите соседей или ещё кого-нибудь, не говорите, что Фрэнк умер, ладно? Я завтра скажу. Хочу сообщить сама.

– Разумеется, – уверила я её, хотя мне следовало доложить об этом в Ноннатус-Хаус.

Она явно успокоилась.

– Ну хорошо. Это ж только соседи. Не хочу, чтобы они знали. Пусть завтра заходят. Но не сегодня.

Мы улыбнулись друг другу, и я пожала ей руку. Сегодня никто не придёт – ни гробовщики, ни соседи. Она останется наедине с мыслями и воспоминаниями. Может, оставить снотворного?

Пегги на секунду задумалась. Да, хорошая идея. Я открыла сумку и протянула ей пару таблеток сонерила.

Когда я ушла, Пегги заперла дверь. Несколько часов она просидела на краю постели, не отводя глаз от Фрэнка, мысленно перебирая в памяти их жизнь. Счастье её было полным и совершенным, она всегда это понимала и теперь не собиралась с ним расставаться.

Она пододвинула стул, вновь заглянула в тот же шкафчик и вытащила из него ещё две коробки.

Из большой она достала белый саван и надела его, аккуратно завязав ленточки на спине, а из маленькой – пятнадцать гранов морфина, к которым добавила две таблетки снотворного. Она взяла бутылку бренди и стакан, проглотила все лекарства, после чего продолжила пить, пока не начала валиться с ног.

Когда наутро пришли гробовщики, им никто не открыл. Они выбили окно и нашли её мёртвой, обнимающей Фрэнка.

Кроткие наследуют землю

Преподобный Торнтон Эпплби-Торнтон в течение двадцати пяти лет служил миссионером в Сьерра-Леоне. Полугодовой отпуск он провёл в Англии и в основном – в семейном доме Эпплби-Торнтонов в Херефордшире. Жизнь там порой была непроста – его отец, девяностолетний вдовец, за которым приглядывали две местные леди, был отставным полковником индийской армии и никогда не понимал духовных устремлений сына. На самом деле он презирал его, презирал всю эту слабость и втайне стыдился подобного отпрыска. «Единственный сын, – ворчал он, – мог бы быть настоящим мужчиной, а не бабой в ошейнике с вечными проповедями и беспрестанной вознёй с проклятыми туземцами».

«Да всыпать этим дикарям, и всех делов, – бушевал он обычно. – Они только одно и понимают!»

Тогда его сын решил, что, возможно, пришла пора навестить двоюродного брата, Джека, который проживал на своей ферме в Дорсете, но Джек как раз вышел в отставку и перебрался на юг Франции, оставив ферму своему сыну, Кортни. Но Торнтону, говорилось в письме, безусловно, будут рады на ферме, особенно если он согласует свой визит с плотным расписанием Фионы в конной школе, которую они только что открыли. Прожив на ферме неделю, преподобный Эпплби-Торнтон убедился, что радости верховой езды не для него. Хозяева меж тем решили, что бедный старикан на самом деле – редкостный зануда и его не стоит представлять своим знакомым; возможно, ему и правда самое место в Африке.

Поэтому он отправился навещать своих старых школьных приятелей и студентов из теологического колледжа. Они с удовольствием приняли его, но, увы, после обсуждения воспоминаний тридцати-сорокалетней давности оказалось, что больше им сказать друг другу нечего.

Возможно, стоит провести пару недель в Брайтлингси – или его теперь зовут Брайтоном? Там оказалось недурно, и морской бриз был весьма приятен, но, наблюдая за течением жизни, преподобный был вынужден признать, что столько времени провёл в Африке и столько сил отдал миссии, что окончательно утратил связь с Англией. Ожидая увидеть манеры, обычаи и наряды 1920-х годов, он был потрясён переменами.

Эпплби-Торнтон был холостяком – и не по своему выбору, как он спешил уточнить. Он восхищался прекрасным полом, буквально

преклонялся перед ним и мечтал о поддержке и утешении, которые мог бы подарить священный союз с любящей женой, как у его более удачливых друзей и коллег; но идеал ему так и не встретился. Правда заключалась в том, что преподобный был по сути своей однолюбом, и единственная дама в жизни, которой он увлёкся, оказалась, к сожалению, монахиней. Он никогда не говорил с ней, за исключением сакраментальной фразы «Вот плоть Христова», сопровождающей передачу просфоры; но в сердце своём воздвиг ей алтарь, и, когда её перевели в другую миссию, он продолжал о ней помнить. «Но всё это было так давно», – размышлял он, разглядывая полуголых юношей и девушек, фланирующих по брайтонскому пляжу. Времена переменялись. Возможно, он сам отстал от жизни?

Он вытащил из кармана письмо. Один из его старых приятелей по теологическому колледжу теперь стал главой церкви Всех Святых в Попларе. В письме говорилось, что он будет счастлив видеть старого друга и показать ему приход. Уложатся ли они в две недели?

Так преподобный Торнтон Эпплби-Торнтон оказался в Попларе в те времена, о которых я сейчас пишу. Поскольку в миссии в Сьерра-Леоне планировали открыть акушерскую практику, настоятель предложил старому другу ознакомиться с работой ордена сестёр Святого Раймонда Нонната. Такое приглашение не следовало игнорировать. Затем настоятель связался с сестрой Джулианной, и они договорились, что знакомство с нашей работой начнётся на следующий день, с визитов к некоторым нашим пациентам.

Эпплби-Торнтон пришёл на обед в Ноннатус-Хаус. В тот день за столом нас собралось около двенадцати человек. Мы привыкли к гостям за обедом: чаще всего это были священнослужители, а иногда – миссионеры в отставке. Визит преподобного внёс разнообразие. Наш сегодняшний посетитель оказался высоким благообразным человеком лет пятидесяти. Он был хорош собой, с тонкими, слегка заострёнными чертами лица и изящными губами, белоснежной шевелюрой и смуглой кожей. Его худоба, как я подумала, наверняка была вызвана неоднократными приступами дизентерии и других кишечных инфекций. Он от души поел бараньего рагу авторства миссис Би, нашей поварихи, и многословно поблагодарил её за доставленное наслаждение. Голос у него был низкий и приветливый, и он смотрел на собравшихся за столом добродушно и понимающе. Когда он заговаривал с кем-то, то полностью концентрировался на собеседнике, и казалось, что он видит вас насквозь.

За столом шла общая беседа. Сестра Джулианна попросила нашего гостя рассказать о миссии в Сьерра-Леоне, и он описывал местное

христианское общество, ужасающую бедность туземцев и труды по возведению школ и больниц. Речь его была плавной и увлекательной, и он не стремился как-либо похвалить себя, хотя и заслужил награду как первопроходец в непростой и враждебной среде.

Он был великолепен. Мы впитывали каждое его слово, особенно наша коллега Чамми – она мечтала однажды стать миссионеркой, ради чего и пошла учиться на медсестру. Она горячо заинтересовалась планами по открытию акушерской практики, на что преподобный с улыбкой ответил, что надеется, что она окажет миссии честь, став их первой квалифицированной акушеркой. От гордости и радости Чамми расправила широкие плечи и, прикрыв глаза, воскликнула:

– Непременно! Можете на меня положиться.

Он внимательно осмотрел её: подобный энтузиазм не мог не радовать. У большинства людей массивная фигура и неловкие манеры Чамми вызывали лишь насмешки, но только не у этого джентльмена. Склонившись к ней, он тихо ответил:

– Я совершенно уверен, что мы и вправду можем на вас положиться.

Чамми ахнула от восторга, после чего справилась с собой и утихла.

Преподобный Эпплби-Торнтон повернулся к сестре Джулианне.

– Кстати говоря, о цели моего визита. За такой дивной беседой и восхитительным обедом я совсем позабыл, что прибыл, чтобы ознакомиться с вашей сестринской и акушерской деятельностью.

Было ли это случайностью? Совпадением? Ошибкой? Или дьявольской хитростью? Сохраняя абсолютное спокойствие, сестра Джулианна, от взгляда которой ничто не ускользало и которая всегда была в курсе всего происходящего, холодно посмотрела на него и соврала, не моргнув глазом:

– Мне очень жаль, но ни одна из сестёр не может сопроводить вас. Прошу простить нас, но, к сожалению, у всех нас сегодня есть дела.

Джентльмен был разочарован, а мы все – крайне удивлены.

– Сейчас у нас непростое время, – продолжала сестра, – и, к несчастью, я не могу также отпустить ни одну из сестёр.

Бедняга явно чувствовал себя неуютно, как будто попросил слишком многого и теперь ему следовало уйти.

– Впрочем, Джейн сегодня как раз свободна...

Услышав это, бедняжка чуть не упала со стула, уронив солонку и тарелку с мятным соусом, который растёкся по столу зелёной лужей. Сестра Джулианна словно ничего и не заметила.

– Джейн прекрасно знает окрестности – возможно, лучше любой из нас – и будет счастлива помочь вам.

Она поднялась. Мы все вскочили следом и встали за своими стульями, пока сестра Джулианна читала молитву. Я взглянула на Джейн. Руки её не были молитвенно сложены – она уцепилась за спинку стула и тяжело дышала. На лбу у неё проступили бисерины пота, и в целом она выглядела так, будто сейчас упадёт в обморок. Да что же задумала сестра Джулианна, дивилась я. Это же просто жестоко.

Выйдя в холл, я услышала, как сестра Джулианна предлагает Джейн для начала отвести преподобного на Манчестер-роуд и в Докленд. На следующий день можно было бы осмотреть районы Боу, Лаймхаус и другие места.

Джейн на подгибающихся ногах отправилась за верхней одеждой. Я видела, как преподобный Эпплби-Торнтон внимательно наблюдает за ней с задумчивым видом. Джейн потянулась за пальто, но руки её так тряслись, что у неё никак не получалось снять его с вешалки.

– Позвольте мне, – сказал он любезно и помог ей, после чего взял под руку и повёл к двери. У выхода преподобный повернулся и поблагодарил сестру Джулианну за такого превосходного и наверняка знающего проводника. С чуть старомодным поклоном он открыл перед Джейн дверь и сказал:

– После вас, мадам.

Они вернулись к чаю. Преподобный был в восторге – как много он узнал от Джейн, как благодарен ей за уделённое ему время. Когда его спросили, хочет ли он ещё экскурсий по округу, он ответил, что он жаждет знаний. Тогда решили уточнить, доволен ли он компанией и не предпочтёт ли он в следующий раз сопровождение опытной акушерки. Эпплби-Торнтон заявил, что хотел бы продолжать прогулки именно с Джейн, которая, по его словам, оказалась великолепным гидом. Он и надеяться не смел на такую эрудицию и поистине энциклопедические знания топографии и социологии окрестностей.

Джейн, похоже, смирилась со своей ролью гида для Эпплби-Торнтон и выполняла новые обязанности с обычной для себя тщательностью. Сестра Джулианна посоветовала ей взять карту и отмечать места, где они уже побывали.

Неделю-другую спустя сестра Джулианна поинтересовалась за обедом, как проходят прогулки.

– Пиппин собирается... – начала Джейн, но тут же осеклась и побагровела от смущения, зажав руками рот, после чего, заикаясь, принялась объяснять. – Прошу, сестра, не сочтите меня фамильярной,

просто он попросил называть его Пиппином.

Я сказала, что это было бы бесцеремонно, но он говорит, что его зовут так все друзья и он расстроится, если я откажусь...

На это сестра с преувеличенной торжественностью ответила, что Джейн поступила совершенно верно и должна отныне звать его Пиппином.

В тот же вечер мы возились в сарае с велосипедами: сестра Джулианна занималась колесом, а я подтягивала тормоза. К моему удивлению, она вдруг спросила:

– Где вы одеваетесь, Дженнифер?

Решительным движением она сняла покрышку.

– Вообще-то у меня есть портниха. Обычно я не покупаю готовую одежду.

– Но какой магазин вы всё же порекомендовали бы?

Я на мгновение задумалась. Сестра Джулианна погрузила камеру в миску с водой.

– «Либерти», пожалуй. На Риджент-стрит.

– Конечно, «Либерти». Звучит неплохо.

Она задумчиво поворачивала камеру в поисках пузырьков.

– Джейн нужны новые вещи. Я собираюсь велеть ей купить что-нибудь. Дженни, вы не могли бы составить ей компанию? Она наверняка будет благодарна вашим советам. От вас ничего не потребуется – Джейн зарабатывает деньги, но никогда их не тратит.

Устоять перед просьбой сестры Джулианны было невозможно – для меня, во всяком случае. Однако сюрпризы ещё не закончились.

– А кто ваш парикмахер?

– Обычно я хожу к Жаку на Риджент-стрит, это напротив «Либерти».

Лицо её осветилось: она наконец-то определила прореху по пузырькам в воде. Но мой ответ, казалось, интересовал её больше.

– Как раз напротив! Замечательно. Очень удобно. Когда будете в том районе, можете заодно отвести Джейн к парикмахеру? Она всегда стрижётся сама, но мне кажется, что с хорошей стрижкой она будет выглядеть гораздо лучше.

Мои родные и близкие знают, что, когда дело доходит до сводничества, я начинаю соображать крайне туго. Мой мозг просто-напросто не работает в этом направлении, и надо мной все посмеиваются. Но тут даже я поняла, о чём речь.

– Буду счастлива, сестра. Просто доверьтесь мне.

Джейн выглядела блёкло и неряшливо. Я никогда не видела, чтобы кто-то одевался хуже. На ногах у неё были тяжёлые чёрные ботинки, коричневые фильдеперсовые чулки свисали складками, причёска напоминала воронье гнездо, а тусклая кожа была испещрена морщинами. Приукрасить её представлялось непростой задачей.

На следующее утро после завтрака сестра Джулианна заявила:

– Джейн, тебе нужна новая одежда. Отправляйтесь с Дженнифер в магазин, она что-нибудь для тебя выберет. Также тебе надо постричься.

– Да, сестра, – кротко ответила Джейн.

Может показаться странным, что кто-то так говорит со взрослым человеком, но с Джейн по-другому было нельзя. Она была не способна ни на какое решение, и ей постоянно следовало давать указания. Взяв пример с сестры Джулианны, я обдумала наш план и поняла, что изменения должны быть крайне деликатными. Если нарядить её как последнюю модницу, может получиться нечто чудовищное. Но для начала – к парикмахеру.

Джейн никогда раньше не бывала в салоне в Вест-Энде и поначалу застенчиво топталась у двери. Но, когда я сказала: «Ты уже записана, так что надо идти», она тут же послушалась.

– Что-нибудь мягкое, чтобы обрамить лицо, – тихо попросила я месье Жака. – Ничего чрезмерного, никаких начёсов. Какой-нибудь вариант, подходящий для скромной леди в годах.

Месье Жак кивнул с самым серьёзным видом и взялся за работу.

Как известно каждой женщине, стрижка – это самое важное, а Жак был превосходным мастером. Удалось ли ему когда-нибудь превзойти собственный подвиг, совершённый в тот день? Возможно, его вдохновила непосильность стоящей перед ним задачи, поскольку результат казался настоящим чудом. Кудри Джейн теперь пребывали в полном порядке, на смену мышино-серому цвету пришёл благородный стальной с мягким серебром на висках. Джейн с восторгом любовалась собой в зеркале, и, когда Жак поправил выбившуюся прядь расчёской, она по-настоящему улыбнулась. Её лицо выглядело не таким тревожным, и она хихикнула:

– Неужели это я?

В «Либерти» я принялась искать продавщицу, которая не напугала бы Джейн. Некоторые из них держатся так резко и уверенно, что рядом с ними тяжело находиться. Апатичная худая девица с надменным видом проскользнула мимо нас, и мы направились к продавщице попроще – у неё на шее висела сантиметровая лента.

Я объяснила, что нам требуется, и та пробормотала:

– Так, скромно, но элегантно, в духе «Хебеспортс», и пара блузок... Сейчас всё принесу.

После этого она проворно обмерила костлявую фигуру Джейн.

Как и было обещано, Джейн совершенно преобразилась. На ней был строгий костюм благородного серого цвета.

– Великолепная посадка соответствует вашему прекрасному росту, мадам, – зашебетала продавщица. – Элегантный крой юбки придаёт плавности линии бёдер. Обратите внимание, как строчка на карманах выстраивает изгибы. Видите, как закруглённый воротничок украшает ваши восхитительные плечи?

Всё это означало, что покрой костюма каким-то образом замаскировал тощую фигуру Джейн. Сама она стояла молча, покорно позволяя поправлять на себе складки.

Можно было предположить, что на этом продавщица выдохнется, но как бы не так. Она только набралась сил, чтобы продемонстрировать весь свой потенциал.

– Этот классический костюм подчёркивает вашу изящную фигуру и великолепный рост, мадам. Ваша грациозная осанка...

(Джейн, как обычно, сутулилась.)

– Высококачественный наряд отражает творческий полёт его создателя, это зенит его вдохновения. Настоящий костюм – это сдержанное и благородное произведение искусства. Ваш безупречный облик будет выражать ваше тонкое понимание истинной элегантности.

К этому моменту Джейн уже испугалась, да и я ощущала себя неуверенно.

Смерив нас профессиональным взглядом, продавщица поняла, что мы поплыли, и перешла в наступление.

– Обратите внимание, как шёлковые нити отражают свет и подчёркивают переливы локонов мадам.

Мне пришлось согласиться, что цвет костюма действительно хорошо сочетается с оттенком волос Джейн, хотя сама она продолжала молчать, не располагая мнением по данному вопросу.

– А теперь нам следует подобрать такой простой и вместе с тем необходимый предмет одежды – блузку, – обратилась продавщица к своей помощнице. – Идеальным выбором будет наша фирменная ткань «Тара Лоун», не правда ли?

– О, это и правда идеальный выбор, – прошелестела помощница, и мы отправились в зал с блузками.

– Цвет у лица необыкновенно важен. Вам, мадам, подойдёт что-то

сдержанное. Вызывающие цвета не для вас. Пыльно-розовый, я полагаю.

Она сняла с вешалки розовую блузку и приложила ее к тощему горлу Джейн. Этот оттенок безусловно её украсил.

– И вместе с тем синий – неяркий, разумеется, – подчеркнёт великолепный оттенок ваших глаз.

Нам продемонстрировали вторую блузку. В самом деле, я никогда раньше не замечала, какие синие у Джейн глаза.

Продавщица достала ещё одну.

– А что вы думаете о кремово-жёлтом варианте, мадам?

Джейн о нём ничего не думала, но помощница сообщила, что кремово-жёлтый, возможно, чересчур громко заявляет о себе, и не лучше ли подобрать нежно-сиреневый оттенок, такой спокойный и вместе с тем бескомпромиссный?

Продавщица воздела к небу ухоженные руки.

– Сиреневый! Божественный сиреневый! Как же я сама не догадалась!

Она подала сигнал помощнице, та засеменила прочь и вернулась с ещё одной великолепно скроенной блузкой прекрасного оттенка. Все они отлично смотрелись на Джейн.

Продавщица пребывала в экстазе.

– Сиреневый! Само совершенство! Любимый цвет королевы Марии и лучший ваш друг, мадам! Сиреневый – это поэзия, это амброзия, нечто нереальное! Мадам, не лишайте свой гардероб божественного сиреневого.

Эти дамы, безусловно, предлагали неплохую сделку, и мы согласились.

Подбор туфель, перчаток, сумочки и чулок произошёл в том же ключе, и мы направились обратно в Поплар.

Заметит ли Пиппин весь этот женский труд, цель которого – привлечь его внимание и усладить взор? Увидит ли он разницу? Вынуждена признать, что ответ на оба эти вопроса должен быть отрицательным. Я ещё не встречала мужчину, способного хоть приблизительно описать, как была одета женщина, с которой он расстался десять минут назад. Возможно, он ответил бы с неопределённым жестом: «Она чудно выглядела в этом летящем зелёном наряде!», тогда как на его собеседнице было узкое синее платье.

Джейн переделалась к обеду и продемонстрировала результат нашего похода женскому обществу. «Прекрасно!», «Вот это да!», «Другое дело», – заахали все, и Джейн выглядела удивлённой и втайне польщённой.

– Отличная работа, – прошептала мне сестра Джулианна и позволила себе многозначительно подмигнуть.

Пиппин пришёл ровно в два часа дня и не выказал ни малейшего удивления, увидев Джейн. Возможно, он ничего не заметил! Они отправились в Майл-Энд, северную часть нашего района.

Не будем дотошно интересоваться, что же именно происходило на этих экскурсиях, предпринятых с целью помочь коренным жителям Сьерра-Леоне. Это было бы безвкусно. Достаточно будет сказать, что двухнедельный визит растянулся на полтора месяца, и постепенно Джейн становилась всё более расслабленной и счастливой, и её постоянный невроз понемногу начал отступать.

Несколько недель спустя Пиппин пришёл к воскресному обеду и по окончании его заявил:

– Вскоре мне придётся вас покинуть. Мой полугодовой отпуск подходит к концу, и мне следует вернуться к обязанностям в Сьерра-Леоне, которые Господь имел милость возложить на меня. Прежде чем покинуть Англию, мне надо провести несколько недель со своим пожилым отцом в Херефордшире. Эти поездки даются мне непросто, поскольку наше мнение по некоторым вопросам расходится – особенно по части обращения с африканцами. Видите ли, моему папе сейчас девяносто лет, а в 1880-х годах он воевал в Африке и теперь придерживается взглядов, которые мне кажутся чрезмерными. Ему же моя позиция представляется слабой и безвольной. Это бывает непросто.

Он повернулся к сестре Джулианне.

– Дорогая сестра, не могли бы вы отпустить со мной Джейн на пару недель? Мне кажется, женское влияние разрядит атмосферу в этом холостяцком доме. Её очарование и деликатность могут смягчить отца. Самому мне это никогда не удавалось. А я, в свою очередь, буду безмерно признателен.

Рука Джейн лежала на столе, он коснулся её и слегка пожал. Джейн порозовела и пробормотала:

– О, Пип.

Визит начался не вполне удачно, поскольку полковник назвал Джейн «старой клячей», после чего Пиппин пришёл в ярость и собрался покинуть отчий дом. Но Джейн только рассмеялась и сказала, что слышала в свой адрес вещи и похуже. Пиппин рвал и метал, но Джейн подошла к нему, коснулась пальцем губ и прошептала:

– Радуйся, что у тебя ещё есть отец, милый.

Мучаясь раскаянием, он взял её за руки и притянул к себе.

– Да простит меня Господь. Я тебя не стою.

Он нежно поцеловал её.

– Все мои грехи искупятся твоими страданиями, моя мудрейшая любовь.

В тот же вечер полковник вновь затронул лошадиную тему, упомянув «эту твою кобылку» Пиппин так и застыл, но отец продолжал:

– У неё хорошие ноги. Призрак породы у лошадей и женщин. Порода видна по лодыжкам.

Дни текли мирно. Полковник привязался к Джейн. Ему нравились её молчаливость и скромность.

– Одного у неё не отнять, – заявил он как-то. – Эта твоя кобылка вряд ли сведёт тебя с ума своими разговорами. Не выношу этих болтливых сорок, которые и рта закрыть не могут.

– Это значит, ты нас благословляешь? – спросил его сын с улыбкой.

– Благословляю я вас или нет, понятно, что ты уже твёрдо всё решил, и мне тут ничего не поделаться. Давай, женись, твоя мать была бы рада, упокой Господь её душу.

Мистер и миссис Эпплби-Торнтон приехали в Поплар на несколько дней, прежде чем отправиться в Сьерра-Леоне. Никогда прежде я не видела таких перемен в человеке. Джейн держалась прямо и величественно, глаза её светились, и от неё исходила спокойная уверенность. Пиппин не сводил с неё взгляда и называл не иначе как «моей милой женой» или «моей обожаемой Джейн».

Разумеется, мы устроили вечеринку. Монахини их обожают. Это очень скромные мероприятия, и заканчиваются они обычно не позже девяти, после чего наступает время службы и вечернего обета молчания. Но веселиться мы умеем. Миссис Би приготовила восхитительные пироги и бутерброды, к которым мы подали сладкий херес, присланный настоятелем. Двери были открыты для всех, кто знал Джейн и хотел пожелать счастливой паре всего наилучшего. Пришло около полусотни человек, и мальчики из местного молодёжного клуба сыграли нам на гитарах и барабанах, что было сочтено крайне смелым. Пиппин выступил с прекрасной речью. Витиеватость фраз и богатство лексики (упоминались, к примеру, драгоценные перлы и амброзия изысканной выдержки) помешали многим присутствующим полностью постичь суть выступления, но вкратце оно сводилось к тому, что перед нами счастливейший человек на Земле, и по завершении все зааплодировали.

Когда начались танцы, зазвонил телефон. В тот вечер дежурила я.

– Да... да... Ноннатус-Хаус. Миссис Смит...

А какой адрес? Как часто идут схватки? А воды отошли? Пусть лежит в

постели, я сейчас приеду.

Часть II

История сестры Моники Джоан

Сестра

Моника Джоан

Сестра Моника Джоан не умерла. После того как однажды холодным ноябрьским утром она разгуливала по Ист-Индия-Док-роуд в ночной рубашке, у нее началась тяжёлая пневмония, но она справилась с ней. На самом деле это происшествие, скорее, вернуло её к жизни. Возможно, она наслаждалась хлопотами и суетой сестёр и миссис Би, нашей поварихи. Вне всякого сомнения, ей нравилось быть в центре внимания. Возможно, пенициллин, новое чудодейственное лекарство, расшевелил её старое сердце. Как бы то ни было, сестра Моника Джоан в свои девяносто воодушевилась и вскоре, ко всеобщей радости, уже ходила по всему Поплару.

Сёстры Святого Раймонда Нонната представляли собой англиканский орден монахинь с профессиональным образованием – все они являлись медсёстрами и акушерками, и их задачей была работа с беднейшими слоями населения. Они обосновались в Докленде в 1870-х, и это была настоящая революция. Малообеспеченным женщинам в те годы не полагалась никакая медицинская поддержка во время беременности и родов, и смертность была очень высока.

Акушерства как отдельной профессии не существовало в принципе. В каждом сообществе имелись женщины, которые принимали роды, и знания об этом процессе традиционно передавались от матери к дочери. Таких женщин называли повитухами, и про них говорили, что они «достают да выносят» (то есть принимают роды и выносят тела умерших). Некоторые знали своё дело и были заботливы и добросовестны, но ни у кого из них не было ни образования, ни лицензии.

Множество женщин, включая сестёр нашего прихода, боролись с бесконечными насмешками и абсурдными препятствиями со стороны парламента, добиваясь, чтобы акушерство признали профессией, а акушерки получали обучение и лицензии. После того как палата заблокировала несколько законопроектов, женщины наконец победили, и в 1902 году был официально принят Повивальный закон. После основания Королевского колледжа акушерского дела показатели смертности среди рожениц и новорождённых начали падать.

Сёстры были настоящими героинями. Они трудились в портовых

трущобах, куда в те времена не отваживался заходить никто, кроме полиции. Они не прекращали работу во время эпидемий холеры, тифа, туберкулёза, скарлатины и оспы, не боясь заразиться. Они помогали во время двух мировых войн и пережили бомбардировку «Лондонский блиц». Их вдохновляла и поддерживала идея служения Господу и человечеству.

Но не думайте, что сёстры обитали в своём мирке из колоколов и чёток, отрезанные от жизни. Все они вместе и каждая по отдельности видели больше примеров героизма, деградации, греха и чудес, чем многие видят за всю жизнь. Они не были далёкими от реальности святошами, отнюдь. Это были решительные женщины, испытавшие всё, пережившие любовь и горе и оставшиеся верными своему призванию.

Ноннатус-Хаус стоял неподалеку от Ист-Индия-Док-роуд, вблизи Поплар-Хай-стрит и туннеля Блэкуолл. Это было крупное викторианское здание рядом с разбомблённым пустырьём. Треть доклендских трущоб были уничтожены в ходе «Блица», и большую часть руин и мусора так и не убрали. На этих пустырях днём играли дети, а по ночам здесь спали пьяницы.

Поплар страдал хроническим перенаселением – говорили, что здесь обитает пятьдесят тысяч человек на квадратную милю^[11]. После Второй мировой войны положение дел ухудшилось, поскольку было разрушено множество домов и квартир, а восстановительные работы так и не начались, поэтому люди просто переезжали друг к другу. Многие семьи жили в крошечных домишках тремя, четырьмя поколениями. Порой пятнадцать человек ютились в двух-трёх комнатных многоквартирного дома – Канада-билдингс, Пибоди-билдингс или злополучный Блэкуолл-Тенементс. Это были викторианские здания с квадратным центральным двором и выходящими на него балконами – своеобразными артериями всего дома. Уединение здесь не представлялось возможным. Все знали, кто чем занят, и порой, когда жизнь в тесноте окончательно выводила людей из себя, тут случались жуткие скандалы. В грязных зданиях было полно насекомых. В лучших домах имелся водопровод и даже туалет, но в большинстве не было ни того, ни другого, и инфекции распространялись с пугающей скоростью.

Большинство мужчин работали в порту. Когда по утрам открывали ворота, через них проходили тысячи. Время тянулось долго, труд был тяжёлым, а жизнь – ещё тяжелее, но здесь жили крепкие люди, которые не знали другой участи. Темза служила фоном для всего, что происходило в Попларе, а суда, краны, вой сирен, шум воды являлись нитями, из которых веками ткалась местная жизнь. Река была постоянным спутником людей,

их другом и врагом, работодателем, развлечением, а зачастую, для самых бедных, и последним пристанищем.

Жизнь кокни, несмотря на всю нищету и лишения, была полна смеха, доброты, драмы и мелодрамы, пафоса и, увы, трагедии. Сёстры Святого Раймонда Нонната служили людям Поплара несколько поколений. Кокни не забывали об этом, и сестёр уважали, любили и даже почитали все местные жители.

В те времена, о которых я пишу, произошёл случай, потрясший самые основы Ноннатус-Хауса. На самом деле он поразил весь Поплар, поскольку об этом узнали все и долгое время не могли говорить ни о чём другом.

Сестру Монику Джоан обвинили в воровстве.

Я впервые заподозрила неладное, когда вернулась с вечернего обхода, промокая и голодная, гадая, как можно было совершить такую глупость – стать приходской акушеркой. «Почему не какая-нибудь уютная конторка?» – думала я, отстёгивая сумку от велосипедной рамы, зная, что у меня уйдёт битый час на то, чтобы всё отмыть, простерилизовать и упаковать заново. «С меня довольно, – подумала я в сотый раз. – Лучше устроюсь в контору с центральным отоплением и обычным графиком, буду сидеть за красивым гладким столом, стучать на пишущей машинке и думать про вечернее свидание. Самой сложной моей задачей будет разыскать протокол прошлой встречи, а худшей бедой – сломанный ноготь».

Я вошла в Ноннатус-Хаус и тут же увидела на элегантных викторианских плитках множество мокрых грязных следов. Гигантские следы в монастыре? Это и вправду были огромные отпечатки ног – слишком большие, чтобы принадлежать монахине. Может ли такое быть, что к нам пришли какие-то мужчины? В семь вечера это казалось маловероятным. А если бы к нам зашёл настоятель или кто-то из викариев, они бы так не наследили. Если утром к нам заглядывал какой-нибудь торговец и оставил о себе такое малоприятное напоминание, к обеду всё бы уже отмыли. Но тем не менее весь холл был испещрён большими грязными следами.

Загадка.

Затем я услышала голос сестры Джулианны, доносящийся из её кабинета. Обычно она говорила тихо и спокойно, но сейчас в её интонации чувствовалось напряжение, хотя и неясно было, испугана ли она или просто нервничает. Раздались мужские голоса. Все это казалось очень странным, но мне не хотелось медлить, потому что я знала, что до ужина

должна разобрать сумку. В комнате я застала Синтию, Трикси и Чамми, увлечённых разговором.

Как сообщила Чамми, она открыла дверь сержанту и констеблю, и те попросили проводить их к старшей сестре. Чамми пришла в замешательство – во-первых, она всегда терялась в присутствии мужчин, а во-вторых, перед ней стоял тот самый полицейский, которого она сбила с ног, когда училась кататься на велосипеде. От смущения она потеряла дар речи. Мужчины вошли, и она нечаянно так хлопнула дверью, что раздался грохот, точно от выстрела. Затем Чамми зацепилась о коврик и рухнула в руки стража порядка, атакованного ею в прошлом году.

Чамми по-прежнему пребывала в таком расстройстве, что не могла толком говорить, но Синтия, по-видимому, услышав грохот двери и падения бедняжки, вышла посмотреть, что случилось. Именно она и отвела полицейских к сестре Джулианне.

Больше никто ничего не знал, но женские умы могут построить массу ни на чём не основанных версий. Пока мы кипятили инструменты, нарезали и складывали марлю и наполняли горшки и бутылки, наша фантазия металась между пожаром и убийством. Чамми была убеждена, что полицейский пришёл из-за неё, но Синтия мягко успокоила её, заметив, что вряд ли бы кто-то стал предъявлять претензии год спустя, и это всего лишь совпадение.

Мы отправились ужинать на кухню, нарочно оставив дверь открытой. Услышав, как отворяется дверь кабинета и кто-то уходит, мы наострили уши, но слышали лишь:

– Доброй ночи, сестра. Благодарю вас за уделённое нам время. Мы свяжемся с вами утром.

Входная дверь закрылась, и четверо девушек остались умирать от любопытства.

Лишь после обеда на следующий день сестра Джулианна попросила нас не расходиться, так как хотела с нами поговорить. В столовую пригласили также Фреда, нашего котельщика, и миссис Би, повариху. Дело вскоре должно было стать предметом общего обсуждения, и сестра Джулианна стремилась избежать различных слухов.

Как оказалось, хозяин ювелирной лавки на рынке на улице Крисп-стрит увидел, как сестра Моника Джоан вертит в руках какие-то украшения. Другие торговцы уже говорили ему, что кто-то из монахинь нечист на руку, поэтому он стал исподтишка наблюдать за ней. Она взяла детский браслет, огляделась и ловко сунула его под наплечник, после чего с обычным своим высокомерным видом попыталась уйти. Но тут её

остановили. Когда владелец лавки попросил показать, что у неё под наплечником, сестра Моника Джоан нагрубилась ему, обвинила в наглости и назвала «дерзновенным мужичьём». Вокруг, разумеется, собралась толпа. Хозяин разозлился, и обозвал её старой перечницей, и потребовал немедленно вернуть браслет, пока он не вызвал полицию. В ответ на это сестра Моника Джоан презрительно швырнула на стол золотой браслет.

– Оставь себе эти жалкие побрякушки, наглый чурбан! Мне они ни к чему.

После чего она удалилась с видом оскорблённой королевы.

Миссис Би так и взорвалась:

– Да я ни слову не верю! Ни слову! Он же лгун. Я его прекрасно знаю, и он в жизни правды не говорил. Ни за что не поверю, что сестра Моника Джоан на такое способна, ни за что.

Сестра Джулианна остановила её:

– Боюсь, что в подлинности истории сомневаться не приходится. Несколько человек видели, как сестра Моника Джоан бросила браслет на прилавок, прежде чем выйти. Однако это не всё. Есть новости и хуже.

Она печально оглядела нас, и мы задержали дыхание.

Очевидно, торговец оскорбился, когда его назвали «дерзновенным мужичьём» и «наглым чурбаном», отправился на поиски тех, кто говорил о «нечистой на руку монахине», и собрал восемь мужчин и женщин, утверждавших, что они подозревают сестру Моника Джоан в краже или даже видели, как она прячет что-то под наплечником. Вместе они отправились в полицию.

– Вчера приходили полицейские, – продолжала сестра Джулианна, – и утром я решила побеседовать с сестрой Моникой Джоан, но она не стала со мной разговаривать. Она просто смотрела в окно, будто не слышала меня. Я сказала, что вынуждена осмотреть её комод, а она равнодушно пожала плечами, надула губы и сказала: «Тьфу ты!» Честно говоря, это было довольно неприятно, и, если она так же вела себя с продавцом – неудивительно, что он пришёл в ярость.

Сестра Джулианна достала из-под стола чемодан.

– Вот что я нашла у сестры Моника.

Мы увидели несколько пар шёлковых чулок, три подставки для яиц, изобилие цветных лент, шёлковую блузку, четыре детские раскраски, кудрявый парик, штопор, несколько мелких деревянных зверьков, жестяной свисток, множество чайных ложек, три узорчатых фарфоровых птички, кучу спутанной шерстяной пряжи, яркие бусы, с десяток носовых платков из тонкого кружева, игольницу, рожок для обуви и собачий

ошейник. Все предметы были совершенно новыми, а на некоторых ещё сохранились ярлыки.

– Боюсь, это продолжается уже долго, – сказала сестра Джулианна, но её слова были излишни. Мы и так всё поняли, и миссис Би разразилась слезами.

– Ох, бедняжка, благослови Господь её душу, бедная овечка, сама не знала, что делает. Что ж теперь будет, сестра? Её же не посадят, в таком-то возрасте?

Сестра Джулианна ответила, что не знает. Тюремное заключение казалось маловероятным, но торговец явно собрался подавать в суд, и в этом случае сестре Монике Джоан следовало ожидать приговора.

Сестра Моника Джоан была очень стара. Она родилась в 1860-е годы в семье аристократов.

У неё, очевидно, был сильный характер, и она бунтовала против ограничений и узости интересов своего социального класса. Около 1890 года она ушла из дома (неслыханное дело) и стала учиться на медсестру. В 1902-м, после принятия закона, Моника Джоан выучилась на акушерку и вскоре присоединилась к сёстрам Святого Раймонда Нонната. Уход в монастырь оказался последней каплей для её семьи, и родственники отказались от неё. Но новообращённая Моника Джоан осталась к этому совершенно равнодушна и продолжила заниматься своим делом. К моменту нашего знакомства она проработала в Попларе уже пятьдесят лет, и её знали все. Сказать, что к девяноста годам она стала чудаковатой, – ничего не сказать. Сестра Моника Джоан была бесконечно экстравагантна. Невозможно было предсказать, что она выкинет или скажет в следующий момент, и она часто обижала людей. Порой она казалось очень милой, но тут же становилась совершенно невыносимой. Бедная сестра Евангелина, грузная и тугодумная, больше всего страдала от едких уколов своей сестры Божьей. Сестра Моника Джоан являлась настоящей интеллектуалкой и тонко чувствовала искусство и поэзию, но музыку совершенно не воспринимала, как я выяснила однажды на концерте для виолончели. Она была очень умна – некоторые даже называли бы её хитроумной. Она держалась надменно и высокомерно и вместе с тем полвека проработала в лондонских трущобах. Как в одном человеке могут сочетаться такие противоречивые качества?

Будучи монахиней и убеждённой христианкой, в старости сестра Моника Джоан тем не менее увлеклась эзотерикой – от астрологии и гаданий до космологии. Ей нравилось рассуждать на подобные темы, но я

сомневаюсь, что она понимала, о чём говорит.

Когда мы с ней познакомились, она уже впадала в маразм. Сознание её то прояснялось, то вновь покрывалось туманом. Порой она вела себя совершенно разумно, но иногда казалось, что она смотрит на окружающий мир через дымку, силясь разглядеть, что происходит. Подозреваю, она всё же понимала, что разум покидает её, и иногда пользовалась этим, чтобы добиться желаемого. В ней было нечто притягательное, и я искренне восхищалась ею и любила её общество.

Когда сестра Джулианна объявила, что сестру Монику Джоан будут судить за воровство, все были шокированы. Новообращённая Рут тихо заплакала. Миссис Би громогласно твердила, что не верит ни единому слову. Трикси заметила, что ничуть не удивлена. Сестра Евангелина одёрнула её и потребовала замолчать, после чего села неподвижно, уставившись в тарелку; виски её пульсировали, а костяшки пальцев побелели.

– Мы все должны молиться за сестру Монику Джоан, – сказала сестра Джулианна. – Будем просить помощи Господа. Кроме того, я найму хорошего адвоката.

Я спросила, можно ли мне навестить сестру Монику Джоан в её комнате, и мне тут же разрешили.

Пока я поднималась по лестнице, мысли мои лихорадочно метались. Как меня примет леди, к которой приходили полицейские? Мало того, что её обыскивали в поисках украденного, так ещё и сообщили ей, что её ждёт суд.

Комната сестры Моники Джоан не была обычной скромной монашеской кельей. Это была элегантная спальня, полностью приспособленная для удобства пожилой дамы. Остальные монахини жили по-другому, но сестра Моника Джоан всегда умела стоять на своём. Переболев пневмонией, она стала больше времени проводить у себя, и я с радостью её навещала. Но в этот раз на душе у меня было беспокойно.

Я постучала. Ответ был резким:

– Входите. Не стойте на пороге. Входите.

Я зашла и увидела, что она сидит за столом, заваленным блокнотами и карандашами. Она торопливо что-то писала и бормотала себе под нос.

– Ах, это ты, дорогая. Присаживайся, прошу. Ты знала, что вечный астральный атом эквивалентен вечному эфирному атому, и оба они действуют в параллельной вселенной?

К счастью, она явно не понимала, что происходит. Терзайся она

угрызениями совести, говорить было бы гораздо сложнее.

– Нет, сестра, – ответила я с улыбкой. – Я ничего не знаю ни о параллельной вселенной, ни о вечном атоме. Расскажите, пожалуйста.

Она начала чертить план:

– Гляди же, дитя моё, вот точка внутри круга, а это – семь параллелей, благодаря которым стабильны атомы, сама суть параллельной вселенной, где люди, ангелы, чудовища и прочие... Наверное.

Голос её утих, и она продолжила торопливо рисовать – мысли явно опережали карандаш.

– Эврика! – воскликнула она вдруг восторженно. – Всё прояснилось. Парралелей одиннадцать. Не семь. О, это совершенное число. Одиннадцать есть великолепия. Всё скрыто в этом числе.

Голос её понизился до шёпота, и она возвела взгляд к потолку, сияя от восторга. Всё же было в ней что-то необычайно притягательное – меня очаровывали мельчайшие её жесты, движение пальцев, поднятые брови. Кожа у неё была такая тонкая и светлая, что, казалось, с трудом прикрывала хрупкие кости и голубые вены на руках. Она сидела совершенно неподвижно, зажав в пальцах карандаш (она умела сгибать первые фаланги пальцев вне зависимости от остальных).

– Одиннадцать параллелей, одиннадцать звёзд, – бормотала она с закрытыми глазами, – одиннадцать корон...

Я была очарована. Многие терпеть не могли сестру Монику – её считали высокомерной, нетерпимой и полагали, что уж больно много она умничает. Надо признать, что доля истины в этом была. Некоторые находили её жеманной кривлякой, но с этим я согласиться уже не могла. Мне кажется, она всегда держалась совершенно искренне.

Все сходились во мнении, что от сестры Моники Джоан можно ожидать чего угодно, но воровство!

Я была уверена, что она не помнит ничего из произошедшего и её нельзя привлекать к ответственности. Меж тем она продолжала бормотать:

– Одиннадцать звёзд, одиннадцать сфер... одиннадцать чайных ложек...

И тут она открыла глаза и заговорила громко и ясно:

– Приходили утром два полицейских. Два неотёсанных увальня в сапогах и с блокнотами рылись у меня в комод, будто я какая-то воровка. И сестра Джулианна всё забрала. Все мои вещички. Все ленточки, чайные ложечки. Я их коллекционировала и уже накопила целых одиннадцать штук! И они все были мне нужны, все до единой!

Теперь она явно расстроилась – сестра замерла от ужаса и забормотала:

– Что же теперь со мной будет? Что они со мной сделают? Почему так ведут себя пожилые люди? Это искуc? Болезнь? Не понимаю... Я сама себя не понимаю...

Карандаш выпал из её дрожащих пальцев. Оказывается, она прекрасно всё помнила.

Мёртвая челюсть

Ноннаус-Хаус напряжённо ожидал, когда против сестры Моники Джоан выдвинут обвинение в воровстве. Даже мы, младшие, готовые смеяться и шутить над чем угодно, держались тихо. Мы чувствовали, что нехорошо веселиться, когда всем вокруг тяжело. Сестра Моника Джоан почти всё время проводила у себя. На улице она вообще не бывала, редко спускалась в столовую и, по сути, выходила из комнаты только на молитвы. Иногда я видела её в часовне, но с сёстрами она почти не говорила. Они держались с ней дружелюбно, но она отвечала на их улыбки и добрые взгляды гордым кивком и молча преклоняла колени на скамье. Все мы непростые люди, но молитва и грубость всё же плохо совместимы.

Единственными, с кем она регулярно разговаривала, были миссис Би и я. Милая миссис Би любила сестру Монику Джоан безусловно и беззаветно и по-прежнему не верила в случившееся. Целыми днями она сновала по лестнице, исполняя каждое желание сестры Моники. Та безо всяких на то оснований обращалась с ней как с горничной, но миссис Би, казалось, не имела ничего против, и никакая просьба её не утруждала. Как-то раз я услышала, как она бормочет:

– Китайский, значит, чай. Я-то думала, чай – он и есть чай, но нет, ей подавай китайский. Где ж мне его взять?

Продавцы в Попларе не держали китайский чай, так что миссис Би пришлось отправиться в фешенебельный район Вест-Энд. Когда она с гордостью протянула сестре Моника Джоан чашечку чая, та понюхала его, отхлебнула, после чего объявила, что напиток ей не по вкусу. Любой другой пришёл бы в ярость, но миссис Би и бровью не повела.

– Ничего-ничего, дорогуша, лучше скушайте кусочек этого медового кекса, только утром испекла. А я пока что сделаю вам чайничек отличного чая.

При желании сестра Моника Джоан могла держаться величественнее самой королевы. Она милостиво склонила голову:

– Вы так добры.

Миссис Би просияла. Сестра отломала кусочек кекса и грациозно поднесла его ко рту.

– Восхитительно. Будьте добры, если вас не затруднит, ещё кусочек.

Совершенно счастливая миссис Би в сотый раз за день поспешила вниз по лестнице.

Меня, как и большинство окружающих, сестра Моника Джоан бесконечно восхищала. Но со мной она вела себя совсем по-другому. Интуиция подсказывала ей, что иная тактика не сработала бы. Мы держались на равных и наслаждались обществом друг друга. На протяжении долгих недель ожидания мы множество раз беседовали в её прелестной комнатке после обеда или перед вечерней службой. Мы говорили часами. Краткосрочная память подводила её (зачастую она даже не знала, какой сейчас день или месяц), но давние события она помнила прекрасно. Моника Джоан рассказывала мне о своём викторианском детстве, об эдвардианской эпохе и о Первой мировой войне. Она была хорошо образована, речь у неё была ясная и живая, и выражалась она очень изысканно – видно было, что это ей даётся без всякого труда. Мне хотелось побольше узнать о прежней жизни в Попларе, и я без конца расспрашивала её, но тщетно. Её нелегко было навести на нужную тему, и зачастую она просто пропускала мимо ушей мои слова и вопросы. У неё была привычка вдруг заявлять нечто совершенно не относящееся к теме разговора:

«Вот же алчный негодяй!» – и тут же забывать об этом. Видимо, алчный негодяй пробрался в её голову и вскоре сбежал, поджав хвост.

Порой мысль её текла легко и ясно. Сестра Моника Джоан делала громкие заявления вроде: «Женщины – это соединительная ткань общества!» – после чего брала карандаш и легонько качала его, сжав тонкими пальцами – этими удивительными пальцами, которые могли сгибаться в первой фаланге. Будет ли продолжение у этой мысли? Любое слово могло нарушить её размышления.

– А женщины в трущобах смолоду способны на сверхъестественные свершения, которые многих из нас просто убили бы. Сегодня они купаются в роскоши – только взгляните на всех этих хохотушек! – и не помнят, как жили и умирали их матери и бабушки. Они не понимают, чего стоило поднять семью двадцать-тридцать лет назад.

Она посмотрела на карандаш и покрутила его между пальцами. Я задумалась над правильностью употребления слова «роскошь» в данном контексте, но побоялась задавать вопросы, чтобы не спугнуть её воспоминания. Она продолжала:

– Не было ни работы, ни еды, ни детской обуви.

Если не платить арендную плату, семью выселят. Вышвырнут на улицу именем закона.

Она умолкла, и мне вдруг вспомнился эпизод, свидетелем которого я стала несколько недель назад, когда ехала на велосипеде после ночных родов.

Было около трёх часов утра, и мне навстречу шли люди – мужчина, женщина, несколько детей. Они жались к стене. Женщина обнимала младенца и волокла чемодан. Мужчина нёс на голове матрас, ташил за собой рюкзак и несколько сумок. Дети (среди них не было ни одного старше десяти) также несли вещи. Увидев фонарик на моём велосипеде, они отвернулись к стене.

– Не волнуйтесь, – сказал мужчина. В тишине голос его прозвучал отчётливо. Я проехала мимо, не понимая, что за трагедия разворачивается передо мной. «Ночной полёт» – так романтически называли тайный ночной побег с арендованной квартиры, который предпринимали, чтобы не платить за неё. Семья предвидела выселение и бежала от долгов. Бог знает, что с ними стало.

Сестра Моника Джоан пристально посмотрела на меня и прищурилась.

– Вы напоминаете мне Квини; поверните голову.

Я повиновалась.

– Да-да, одно лицо. Я любила Квини. Я приняла у неё троих детей и была с ней, когда она умирала. Она была не старше вас, но скончалась, пытаясь избежать выселения.

– Что произошло? – прошептала я.

– Она пошла работать на спичечную фабрику «Брайант и Мэй». У них была чудная семья, я хорошо их знала. Никогда не ссорились. Её муж совсем юным погиб на реке. Что было делать Квини с тремя детьми? Власти отобрали бы их, а она не могла пойти на такое. И бедняжка пошла на спичечную фабрику, потому что там больше платили. Все знали, что это опасные деньги, а хозяева пытались избежать ответственности и говорили, что женщины понимают, что это за работа. Чудовищно. Смертоносные деньги. Квини пахала там три года, и у них была крыша над головой и кусок хлеба. Мы думали, что она избежит мёртвой челюсти. Но нет, она заболела и умерла в муках. Я была с ней до конца. Она утасла у меня на руках.

Сестра Моника Джоан умолкла. Я рискнула спросить:

– А что такое мёртвая челюсть?

– Ну вот. Что я говорю? У нынешних девушек нет ни малейшего понятия, как приходилось работать раньше. Спички делали из чистого фосфора. Женщины вдыхали пары, и они проникали в слизистые носа и рта. Фосфор попадал в кости челюсти, и кость буквально осыпалась. Рты этих женщин светились в темноте синим. Им уже ничем нельзя было помочь, и они медленно погибали. Не смей меня больше спрашивать, что такое мёртвая челюсть, невежественная девчонка. От этого и умерла

Квини – она пыталась спасти детей, пыталась избежать выселения.

Она взглянула на меня и стиснула зубы.

– Против этого мы и боролись. Мы сражались за таких, как Квини, молодых, любящих, трудолюбивых, которые погибали по вине системы.

Я сидела с ней, когда она отходила в мир иной. Это было ужасно. Челюсть у неё вся рассыпалась, и она неделями страдала от ужасной боли. Мы ничего не могли сделать. Её дети попали в рабочий дом. Им больше некуда было идти.

Дождь тихо стучал по стёклам. Сестра Моника Джоан не шевелилась. Я видела, как медленно бьётся жилка на длинной шее, как течёт к мозгу живительная кровь.

– Задёрни занавески, прошу, дорогая.

Я повиновалась, надеясь, что сестра продолжит, но она лишь пробормотала:

– Всё это было как будто вчера.

И более ни слова.

Следует ценить воспоминания таких людей, как сестра Моника Джоан. Я сидела на краю её постели, поджав ноги, и пыталась прочесть по её лицу, о чём она думает. Мне не хотелось, чтобы она забыла историю Квини, и я спросила о судьбе детей в рабочем доме, но она лишь рассердилась.

– Вопросы, вечно одни вопросы! Ты меня утомила, дитя моё. Человеку моего возраста положен отдых! – Она раздражённо вздохнула. В этот момент прозвенел колокол, сигнализирующий о начале вечерней службы. – Теперь из-за тебя я с опозданием выполню свой религиозный долг!

Она вышла, не глядя на меня, и отправилась в часовню.

Тем вечером я пошла на службу. Персонал Ноннатус-Хауса не обязывали посещать службы, но при желании такая возможность у нас имелась. Мне больше всего нравились слова вечерней службы, последней молитвы дня, и меня очень тронула история Квини, поэтому я отправилась следом за сестрой Моникой Джоан. Она возмутительно себя вела! Вошла, ни на кого не глядя, и села не на своё обычное место, а на стул для посетителей, спиной к сёстрам и алтарю. Сестра Джулианна тихо приблизилась к ней и попыталась мягко отвести к группе у алтаря, но сестра Моника грубо оттолкнула её и даже отодвинула стул подальше и уселась лицом к стене. Служба продолжилась.

Сестра Джулианна явно расстроилась. Её ласковый, сочувственный взгляд показывал, что она понимает – здесь что-то не так. Возможно, перед нами первые признаки слабоумия или душевной болезни, заставляющей людей отвергать и обижать близких. Сёстры тихо покинули часовню.

Начался вечерний обет молчания. После этого вечера сестра Моника Джоан всегда садилась спиной к остальным.

На следующий день после обеда я отправилась к сестре Монике Джоан, надеясь, что от меня она не отвернётся. Её дружба настолько обогатила мою жизнь, что я понимала: прервись эти отношения, и я много потеряю.

Она сидела за столом и деловито писала что-то в тетрадь.

– Входи, дорогая, входи! Тебе будет интересно – гексагон соединяется с параллелью, – она опять рисовала какую-то диаграмму, – а лучи встречаются тут... О нет!

У неё сломался карандаш.

– Дорогая, принеси мне, пожалуйста, точилку. Второй ящик в тумбочке у кровати.

Она принялась водить по линиям рисунка пальцем.

Я подошла к тумбочке, радуясь, что сестра Моника Джоан не злится на меня. Что же заставило меня открыть третий ящик? Это было бессознательное действие, но увиденное буквально парализовало меня, и несколько секунд мне было трудно дышать. В ящике лежало несколько золотых браслетов, пара колец (одно с камнем, напоминающим сапфир), бриллиантовые часики, жемчужное ожерелье, рубиновый медальон на золотой цепочке, золотой портсигар, пара золотых мундштуков с инкрустациями и несколько золотых или платиновых медальонов. Ящик был узкий и мелкий, но его содержимое наверняка стоило целое состояние.

Внезапная тишина обычно привлекает внимание. Сестра Моника Джоан повернулась и увидела, как я застыла. Поначалу она ничего не сказала, и тишина стало прямо-таки зловещей. Наконец она прошипела:

– Ах ты негодяйка, да как ты посмела рыться в моих вещах? Немедленно выйди из комнаты. Слышишь? Прочь!

Меня всё это так потрясло, что мне пришлось сесть. Наши взгляды встретились: я была очень расстроена, её же глаза блестели от ярости. Но постепенно этот огонь угас, и на её старом, таком старом лице появилось усталое, почти жалкое выражение.

– Моя сокровища, – прохныкала она. – Не забирай их. Никому не говори. Они же всё заберут. И меня заберут, как забрали тётю Анну. Все мои сокровища. Никто ничего не знает. Почему же мне нельзя? Не говори никому, дитя моё.

Её прекрасные глаза наполнились слезами, губы дрожали, и, когда она разрыдалась, было видно, что на самом деле ей уже девяносто.

Я бросилась к ней и обняла её.

– Разумеется, я никому не скажу. Никто не узнает. Это тайна, мы никому не скажем. Обещаю.

Наконец она перестала плакать, высморкалась и подмигнула мне.

– Все эти полицейские – настоящие чурбаны. Они не догадаются, верно? – она заговорщически хихикнула. – Думаю, мне пора отдохнуть. Попроси миссис Би принести мне того великолепного китайского чая.

– Но вам же он не понравился!

– Что ты, понравился, разумеется! Не говори глупости. Вечно ты всё путаешь!

Я со смехом поцеловала её и отправилась на кухню к миссис Би.

Только позднее я осознала, какой груз лежит теперь у меня на плечах. Что же делать?

«Монополия»

Обещание – дело святое, но воровство – это преступление, и данное сестре Монике Джоан слово никому не говорить об украденных ею украшениях висело на мне таким тяжёлым грузом, что я с трудом сосредотачивалась на работе. Стащить несколько пар шёлковых чулок и платков, конечно, нехорошо, но воровство украшений, в том числе крайне ценных – это уже серьёзное дело. Обычно ничто не может нарушить мой сон, но тут я не могла заснуть. Если рассказать обо всём сестре Джулианне, она снова вызовет полицейских, и те опять будут обыскивать комнату сестры Монике Джоан куда более тщательно. Возможно, они найдут что-то ещё – в какой-нибудь коробке или в нижнем ящике прикроватной тумбочки. Против неё наверняка выдвинут более серьёзные обвинения.

Её могут тут же арестовать, невзирая на возраст. Я решила не думать об этом. Надо во что бы то ни стало защитить сестру Моника Джоан. Я никому не скажу об услышанном.

В ту неделю мне особенно тяжело давалась работа с беременными. Их было слишком много, погода стояла чересчур жаркая, а вокруг носилось большое количество детей. Мне хотелось кричать. После окончания приёма мы с Синтией убирались: она отмывала приборы для анализа мочи, я оттирала рабочие поверхности.

– Что-то случилось? – спросила она. – Ты в последнее время сама не своя.

Мне сразу же стало легче. Её низкий голос подействовал как бальзам на мою беспокойную душу.

– Откуда ты знаешь? Так заметно?

– Ну разумеется. По тебе всё видно. Давай, не держи в себе. Что случилось?

Кроме нас, в клинике было ещё две сестры – они разбирали записи.

– Потом расскажу, – прошептала я.

После вечерней молитвы, когда все легли, мы с Синтией уселись в гостиной с остатками пудинга, и я вкратце поведала ей об украшениях.

– Однако! – присвистнула она. – Неудивительно, что ты такая тихая. И что будешь делать?

– Никому из вышестоящих я говорить не собираюсь. Я и с тобой поделилась только потому, что ты заметила.

– Но нельзя же молчать. Расскажи сестре Джулианне.

– Она сообщит в полицию, и сестру Монику Джоан могут арестовать.
– Глупости. Никто её не арестует. Она слишком старая.
– Откуда ты знаешь? Тут всё серьёзно, я же говорю. Это тебе не пару раскрасок стащить.

Синтия немного помолчала.

– Я всё же не думаю, что её арестуют.

– Вот именно, ты ж не знаешь наверняка. Ты можешь ошибаться. Если её арестуют, она умрёт.

В дверь постучали.

– Эй, девушки, как насчёт партии в «Монополию»? Никто вроде не рожает. Все детишки спят. Вы как?

– Входи, Чамми.

Камилла Фортескью-Чолмели-Браун. Потомок династии верховных комиссаров в Индии, окончила престижную школу Реден и завершила образование в швейцарском пансионе. В нашем маленьком кружке Чамми представляла сливки общества. Голос у неё звучал как у какого-то комедийного персонажа, и она была такой высокой, что её вечно высмеивали. Но она отвечала на все шпильки с неизменной доброжелательностью.

Чамми подёргала за ручку.

– Старушки, так дверь-то закрыта! Что у вас там? Тёмные делишки обтяпываете, не иначе!

Синтия рассмеялась и открыла.

– У нас тут есть пудинг. Если хочешь, сходи за блюдцем, а заодно позови Трикси.

Когда она вышла, Синтия повернулась ко мне:

– Думаю, лучше рассказать девочкам. Они не обязаны докладывать полиции, но, наверное, что-нибудь придумают. Отец Чамми был в Индии комиссаром округа или кем-то в этом роде. А кузен Трикси – солиситор, так что она, может, немножко разбирается.

Я согласилась. Всё же приятно было разделить с кем-то тревогу после всех этих одиноких метаний.

Девушки вернулись, вооружённые ложками и тарелками, а Чамми – ещё и с полем от «Монополии». Мы разложили пудинг. Синтия уселась на единственный стул, а мы втроём устроились на кровати, туда же поместили поле и подложили книги, чтобы оно не съезжало. Я была против игры, но Синтия сказала, что это поможет нам сбросить напряжение, и оказалась права.

Мы раздали банкноты и распределили их по пачкам, пока Синтия

рассказывала им о случившемся. Трикси расхохоталась.

– Ничего себе! То есть она у нас тут подворовывает, оказывается, а никто ничего и не подозревает. Вот ведь старая лиса!

– Ах ты злюка, не смей так говорить о сестре Монике, а не то...

– Не надо здесь скандалить, – вмешалась Синтия. – Если хотите ссориться, выйдите.

– Прости, – неохотно пробормотала я.

– Я буду прилично себя вести, – добавила Трикси. – Даже не буду обзывать её лисой. Но согласитесь, это сенсация. Воображаю себе заголовки: «Истинная жизнь порочной монашки».

Она бросила кубики.

– Две шестёрки. Я начинаю.

– Вот этому я и хочу помешать, – огрызнулась я. – Полиция ничего не узнает.

Я передвинула фишку.

– Ливерпуль-стрит. Беру.

Я решительно выложила банкноты и взяла карточку.

Чамми бросила кубики.

– Это военный совет, и я на твоей стороне, старушка. Самое главное – спасти сестру Моника Джоан от происков полиции, верно? Значит, всё, молчок, рот на замок.

Синтия задумчиво потрясла стаканчиком и бросила кубики.

– Ну, кто-нибудь всё равно узнает, даже если мы будем молчать. Полицейские снова обыщут комнату, они же не дураки.

– Я уже об этом думала, – ответила я. – Может, забрать украшения у неё из спальни и спрятать?

– Не говори ерунды! Тогда ты станешь подельником.

Трикси, на мой взгляд, всегда была чересчур резковата.

– А что такое подельник? Вроде бездельника?

– Подельники – это значит сообщники. Можно участвовать в подготовке преступления или в сокрытии следов, но ты всё равно виновата, – объяснила Трикси и отдала кубики Синтии. Та бросила их.

– Она права. Если украшения найдут у тебя, полицейские скажут, что ты подначивала старушку. Жутко неловко и непонятно, как выкручиваться. Нет, нам надо доказать, что она сама не знала, что творила.

Чамми передвинула фишку, но решила воздержаться от покупки. Трикси немедленно вмешалась:

– Я возьму. А ну-ка отойди. Вообще-то наша старушка кумекает получше многих. Она всё просчитала. Кто заподозрит монашку? Она на это

и ставила.

– Не уверена, – Синтия подвинула фишку. – Энджел-Айлингтон. Беру. Мне нравятся синие улицы. По-моему, она всё жё немного в своём уме.

– Да чушь это всё, – огрызнулась Трикси. – Она отлично соображает. Ты же видишь, как она всеми вокруг крутит. И она прекрасно понимает, что делает, поверь. Ей не повредило бы еще разок пообщаться с полицией. Так, банкир, я хочу поставить по дому на каждую свою улицу.

Банкиром у нас была Чамми. Пересчитав деньги, она заметила:

– Не согласна с тобой. По-моему, если к ней ещё раз придут полицейские, её хватит удар.

– Так и будет!

Я так швырнула кубики, что они вылетели за пределы поля и упали на пол.

– Полиция никогда не узнает. Уж я позабочусь об этом.

Синтия подняла кубики – у неё, как у хозяйки комнаты, было право сидеть на единственном стуле.

– Мне кажется, что всё не так просто. Тебе же надо говорить «только правду и ничего, кроме правды».

– Ну это же только в суде, а до суда пока что дело не дошло, – возразила я. – Парк-лейн. Покупаю.

– Ты вообще думаешь, что делаешь? Я уже купила Мейфэр, зачем тебе эта улица? В любом случае, если тебя вызовут в суд, придётся говорить всё как есть.

Я решила не брать Парк-лейн, и Трикси радостно её ухватила.

– А если соврешь, то это будет считаться препятствием следствию. Мне кузен рассказывал.

Настала очередь Чамми.

– Да, я тоже о таком слышала. Это своего рода сокрытие улик, очень серьёзная штука. Пудинг, кстати, отменный. Ещё не найдётся?

– Нет, но в шкафу есть печенье. Дайте-ка я подвину стул. Может, выпьем кофе?

Трикси потрясла головой:

– Нет, у меня есть идея получше. Брат купил мне на Рождество пару бутылок хереса – решил взбодрить меня в этой унылой монастырской дыре. Выпьем сейчас, глядишь, придумаем что-нибудь. Нам нужно принять какое-нибудь решение. Давайте, несите стаканы для чистки зубов.

Трикси слезла с кровати, а Чамми вспомнила, что с предыдущих посиделок у неё остались шоколадки и засахаренный имбирь. Я пошла к себе за стаканом и финиками с фигами.

Мы вновь устроились вокруг поля от «Монополии», которое сползало при малейшем движении. После некоторых споров о местоположении фишек и домов мы разлили херес, набрали себе закусок и продолжили игру.

Трикси очевидно побеждала. У неё стояли дома на Парк-лейн и в Мейфэр, и ей то и дело выпадали отличные очки. Все останавливались на её улицах и были вынуждены платить, сопровождая процесс негодующими стонами. Херес шёл отлично. Чамми наконец сформулировала вопрос, который мучил нас всех.

– Откуда, по-вашему, старушка взяла все эти цацки? Надо сказать, херес хорош, а из стаканчика для чистки зубов пьётся куда приятнее, чем из этих бокалов. Может, из-за привкуса пасты? Я, кстати, ходила как-то на кулинарные курсы, но там нам такого не рассказывали. Если снова попаду туда, посоветую им. Чёрт, вернитесь на пять клеток назад, я же теперь в тюрьме!

– Такими темпами мы и сестру Монику Джоан в тюрьму сегодня отправим, – хихикнула Трикс си. – Ну извините, извините, не надо так реагировать! Выпей лучше хереса.

Синтия подлила мне.

– Да, я тоже не понимаю: откуда у неё это всё? В Попларе же не торгуют дорогими украшениями.

Разумеется, у Трикси был ответ и на это.

– Я думаю, она ездила в Хаттон-Гарден. Тут недалеко, всего несколько остановок на автобусе. Эдакая набожная монашка бродит по магазинам. Никто и не заподозрил в ней воровку.

– Она не воровка! – воскликнула я. – Не смей так говорить! Она...

– Так, тише, тише. Мой ход. Я получаю двести фунтов за проход через старт. Давай, банкир, проснись и раскошеливайся.

Чамми выпрямилась.

– Вы знаете, я всё же думаю, что надо сообщить в полицию. Просто чтобы не чинить препятствия.

– Чему?

– Уликам.

– Чушь какая-то.

– Да нет, это ты меня не слушаешь.

Синтия надёжно спрятала свои двести фунтов в бюстгальтер.

– Наверное, ты имеешь в виду препятствия следствию.

– Я ж так и сказала.

– Нет, ты сказала «препятствия уликам».

– Ну это одно и то же, всё равно преступление.

– Что?

– Препятствовать уликам – это преступление.

– Ты хочешь сказать «скрывать улики»?

– Я так и сказала!

– Нет, не так.

– Слушайте, вы уже начали повторяться, – вмешалась Трикси и взяла карточку из стопки. – В любом случае, сейчас мой ход. То есть, по-вашему, нам надо обратиться в полицию?

– Да, потому что иначе мы будем мешать следствию.

– Нет, потому что тебе понравился тот полицейский!

– Неправда! Да как ты смеешь! – багровая от смущения Чамми одним глотком допила херес.

– А вот и правда, он тебе понравился! Я же видела, как ты стеснялась и хихикала, когда он приходил.

– Какая же ты мерзкая! Не смей про меня сплетничать!

Бедная Чамми выглядела так, будто вот-вот расплачется, поэтому Синтия поспешила ей на помощь.

– Трикси, ты сейчас опять всё запутаешь, ты же даже на карту не посмотрела! Переверни её.

Трикси повиновалась и издала скорбный вопль.

– Всё пропало, я банкрот! Так нечестно. Давайте-ка, меняйте свои дома на отели, мне придётся всё продавать. Подлейте мне, тут надо хорошенько подумать.

Она взяла себе ещё шоколада и очередную порцию хереса.

– Могу купить у тебя Парк-лейн и Мейфэр за полцены, – сказала я снисходительно.

– Нет уж, я за полцены ничего не продам.

– Ну это на твоё усмотрение.

– Вот именно, усмотрение, – вдруг вмешалась Чамми, задумчиво глядя в стакан. – Надо всё оставить на углядение правосудия.

– Да нет такого слова – «углядение»!

– А вот и есть, и это обязательно. Я знаю. Мне папа рассказывал. У него знакомый так не сделал, а потом что-то такое случилось, не помню что, но ничего хорошего.

– Очень полезные сведения, большое спасибо. Так, слушайте, я буду всё продавать на аукционе. Не нужна ли кому-нибудь эта бесценная собственность? Готова отдать за восемьдесят процентов от начальной цены. Лучше предложения не найдёте. Ну ладно, семьдесят процентов. До

половины не опускаюсь, и не надеюсь.

В этот момент у Чамми свело судорогой ноги – её рост не позволял подолгу сидеть, скрючившись, и теперь она со стоном потянулась, сбив поле.

– Ну вот, значит, я выиграла, – удовлетворённо заявила Трикси. – Всё очевидно.

– С чего вдруг? Ты же не купила отели.

– Это не обязательно.

– Нет, обязательно!

– Так, вы двое, перестаньте. Помогите мне убрать поле и фишки. От Чамми, судя по всему, толку не добьёшься. Там во второй бутылке осталась капля, хотите поделить? Мне уже хватит.

Мы разлили по стаканам остаток хереса. Синтия принялась трясти Чамми:

– Эй, это моя кровать, иди спать к себе!

Вдруг Трикси схватила Синтию за руку:

– Господи, я вдруг поняла!..

– Что? – спросили мы хором.

– Чамми сегодня дежурит первой!

– Господи, нет! Что делать?

Мы посмотрели на Чамми, которая с блаженной улыбкой задремала на кровати Синтии, потом переглянулись и вновь уставились на спящую.

– Я буду дежурить первой, – сказала Синтия. – Что ещё делать? Трикси дежурила вчера ночью, так что, если позвонят, я отвечу. Я в любом случае меньше выпила, чем вы. Давайте оставим Чамми здесь, я переночую у неё в комнате. Надо выбросить бутылки и проветрить, вдруг сюда кто-нибудь придёт. Распахните оба окна на лестничной площадке и в ванной. Надо устроить здесь сквозняк.

Испытывая благодарность за проявление здравого смысла, я отправилась открывать окна. Холодный ветер буквально ошпарил меня, и я пошатнулась. Створка окна вылетела у меня из рук и ударилась о стену. Синтия подошла и закрепила её.

– Я вымою стаканы и бутылки, чтобы не было запаха. Идите спать, вам дежурить с восьми утра. Не обращайте внимание на телефон, я буду отвечать на звонки.

Она отправилась в комнату к Чамми, я – к себе. Последние ночи я мучилась бессонницей, но сегодня спала как младенец.

Тётя Анна

Когда я вошла к сестре Монике Джоан, она уставилась на меня и заявила:

– Я его когда-нибудь убью! Вот увидишь. Старый козёл!

Довольно сильные выражения для монахини.

Я была заинтригована, но по опыту знала, что прямые вопросы редко получают ответы. Однако если попытаться заглянуть в мир сестры Моники Джоан и поддержать эту тему, она может восстановить в памяти целые сцены далёкого прошлого. Поэтому я ответила:

– Да он всегда такой. Что на этот раз?

– Так ты видела?

Я кивнула.

– Вечно он там отирается в своих шёлковых рубашках, бабочках и с золотыми часами. Я ему покажу рубашки, я б его удушила такой рубашкой, старого мерзавца!

История обещала быть пикантной. Дальнейших манипуляций уже не требовалось.

– Бедные девочки на швейных фабриках. Им меньше всего платят, а работают они больше всех! Помнишь лужайку у ворот фабрики? Так вот, он там стоит в конце смены, весь разряженный, крутит ус, а когда девочки выходят, он швыряет в стену монеты – в основном мелочь всякую, редко серебро – и орёт, мол, давайте, ловите. И бедняжки роются в траве, толкаются, кричат, хохочут, иногда даже дерутся за серебряный шестипенсовик. Редкий ублюдок.

Я задумалась, почему такая щедрость пробудила в ней подобную злобу.

– Это унижительно, – горячо продолжала сестра Моника Джоан. – Ты же знаешь, что они не носят трусики? Просто не могут себе позволить. А ему только это и надо, старому сатиру. А когда у них месячные, то кровь просто течёт по ногам. Вроде как запах должен привлекать мужчин. Не знаю. Но это просто ужасно! Девочки дерутся за пенни, чтобы купить себе хлеба или молока. Невыносимо видеть, как женщин эксплуатируют подобным образом.

Наконец я поняла, о чём речь.

– Но ведь женщин всегда эксплуатировали из-за их сексуальности.

– Да, так было и будет всегда, я боюсь. И кому-то наверняка это нравится. Уверена, что по крайней мере половина девушек, ползавших по

траве с задранными юбками, прекрасно понимали, что делают. Но мне больно видеть подобную деградацию.

Не став продолжать свою мысль, она попросила передать миссис Би, чтобы та принесла ей чай. Когда я вернулась, сестры Моники Джоан уже не было. Я целыми днями только и думала, что о найденных драгоценностях, поэтому тут же заглянула в тумбочку. Ящик был пуст.

Поскольку за несколько дней она ни разу не упомянула о нашем секрете, я решила, что всё в прошлом. Возможно, мне нравилось думать, что и она забыла о драгоценностях. Но теперь я поняла: она всё помнила и даже перепрятала куда-то украденное. Но куда? Может быть, в матрас? Она вполне могла бы вырезать небольшую дырочку, сунуть туда украшения и всё аккуратно зашить. Никто бы ничего не узнал.

Мне вспомнилось, как Трикси назвала сестру Монику Джоан лисицей. Возможно, она была права. Возможно, сестра копила средства для какой-то тайной цели. Хотя – в девяносто лет? Маловероятно.

Она вернулась, довольная и радостная, – никаких сожалений, угрызений совести за содеянное и никакого страха перед будущим. Возможно, она спрятала драгоценности в сливном бачке или за ванной.

Первая же её фраза, как обычно, меня ошеломила:

– Двадцать семь сервизов, дорогая, каждый на девяносто шесть предметов. Кому в здравом уме может понадобится двадцать семь сервизов!

Поневоле задумаешься над подобным вопросом. Пока я медлила с ответом, она продолжила:

– И четырнадцать серебряных комплектов приборов! Только подумай, перед тем как всё убрать, надо было пересчитать все вилки для рыбы, все щипцы для сахара. Слыхала ли ты о подобном? А они думали, что я соглашусь всю жизнь считать эти приборы.

Я начала понимать, о чём речь. К образу мышления сестры Моники Джоан надо было ещё привыкнуть. Возможно, сервизы и столовое серебро были вещами из её детства и юности, которые пришлись на 70–80-е годы XIX века.

Её следующее заявление подтвердило мои догадки.

– Бедная моя мать была рабыней вещей. Несмотря на всё её достоинство и бесконечные «Ваша светлость», она была служанкой куда больше, чем её слуги. Вряд ли у неё имелся в жизни хоть один свободный день. Бедная женщина. Я любила и жалела её, но мы никогда не понимали друг друга.

Есть в жизни что-то неизменное. Мне вспомнилось наше с матерью

взаимное непонимание – единственное, что у нас было общего.

– Её жизнью правил мой отец. Каждым её шагом. Ты знала, например, что он заставил её отрезать волосы и вырвать все зубы, когда ей не было ещё и тридцати пяти?

– Как? – ахнула я. – Почему?

– Она была очень слабой, вечно болела. Не знаю, что с ней было, – может, дело в слишком тугих корсетах.

Корсеты. Узаконенная женская пытка.

– Прекрасно всё помню. Я тогда была совсем маленькой, но явственно представляю: мама лежит в постели, а вокруг неё толпятся врачи. Один из них говорит отцу, что вся её сила уходит в волосы и зубы, и от них надо избавиться. Много лет спустя она рассказала мне, что её даже никто не спросил. Ей обрили голову и вырвали все зубы. Я слышала из детской её крики. Это было проявление варварства и невежества. Я испугалась, когда увидела её: лицо опухло, на простынях кровь, голова лысая. Она плакала, бедняжка. Мне тогда было лет двенадцать, и со мной что-то произошло: я вдруг поняла, что женщины страдают от невежества мужчин. У её постели я превратилась из беззаботной девчонки в думающую женщину. Я поклялась, что не буду такой, как мать, тётки и их подруги.

Я не стану женщиной, которой по приказанию мужа вырвут все зубы или которую упрячут под замок, как бедную тётю Анну. Я не стану тратить жизнь на вилки для рыбы. Я не подчинюсь ни одному мужчине.

На её лице читался вызов. Молодость может быть прелестной, но пожилые люди тоже бывают по-настоящему красивы. Каждая морщина, каждая складка, каждая тень на лице сестры Моники Джоан говорили о её характере, силе, храбрости, величии и весёлости.

– Вы несколько раз упомянули, что тётю Анну заперли, – сказала я. – Что произошло?

– Это чудовищная история, дорогая моя. Тётю Анну, сестру моей матери, уперли в сумасшедший дом, потому что она надоела мужу.

– Не может быть! – воскликнула я.

– Не смей обвинять меня во лжи! Если вздумала грубить, лучше сразу же уходи.

Брови её приподнялись, ноздри раздулись – просто воплощение оскорблённого достоинства, хотя мне казалось, что она скорее играет.

– Ну бросьте, сестра, вы же понимаете, что это такое выражение! Что случилось с тётей Анной?

Она хихикнула, словно девчонка, которую застали за шалостями. Но лицо её тут же стало серьёзным.

– Тётя Анна, милая тётя Анна. Любимая моя тётушка. Такая красивая, мягкая, она так нежно смеялась. Когда она приходила, то непременно шла в детскую, чтобы побыть и поиграть с нами. Мы все её обожали. И вдруг она пропала.

Сестра Моника Джоан сидела совершенно неподвижно, глядя в окно. На улице было солнечно.

– Слишком ярко, дитя моё, – простонала она. – Задёрни занавеску.

Я повиновалась, а когда вернулась на своё место, увидела, что она прикладывает к глазам платок.

– Мы больше никогда её не видели. Когда мы спросили мать, она только сказала: «Тише, дети, мы об этом не говорим». Мы все ждали, что тётя вернётся и поиграет с нами, но этого так и не произошло.

Она глубоко вздохнула и оперлась подбородком о руку, глубоко задумавшись.

– Бедная, бедная женщина. Она была совершенно беспомощна.

– А потом вы узнали, что произошло?

– Да, много лет спустя. Муж разлюбил её и возжелал другую, поэтому пустил слух, что она сходит с ума. Возможно, он дурно с ней обращался, возможно, постоянные обвинения действительно повлияли на её психику и она начала сомневаться в собственном душевном здоровье. Мы не знаем. Свести кого-то с ума не так уж и сложно. Со временем ему удалось убедить двух врачей подписать бумаги, подтверждающие, что она неизлечимо больна. В те дни это было просто. Возможно, это были его дружки. Наверное, им заплатили. Не думаю, что её когда-нибудь нормально обследовал хоть один беспристрастный психиатр. Её муж сам выбрал медиков, и документ вступил в силу. Её заперли в сумасшедший дом, где она и прожила до самой смерти. Она умерла в 1907-м.

– Это одна из самых жутких историй, что мне доводилось слышать, – сказала я.

– Она не уникальна. Для богатых мужей это был верный способ избавиться от нежеланных жён. За пребывание в сумасшедшем доме приходилось платить, конечно, но для состоятельного человека это не проблема. По прошествии некоторого количества лет он мог спокойно развестись. Всё просто!

– Неужели женщине было не к кому обратиться?

– За неё мог вступить отец или брат, и так иногда и происходило. В этом плане имелись и свои сложности. Но к тому моменту мой дед, отец Анны, уже умер, а в семье не было сыновей, только дочери. Так что бедняжку некому было защитить.

– А мать или сестра не могли вступитьсья?

– У женщин не было права голоса. Так продолжалось веками. За это мы и сражались! – Глаза её сверкнули, и она ударила кулаком по столу. – Женская независимость. Свобода от мужской тирании.

– Вы были суфражисткой? – спросила я.

– Ха! У меня на подобное не было времени. Суфражистки совершили величайшую ошибку в истории. Они стремились к равенству. Им надо было сражаться за власть!

Драматическим жестом она смела со стола карандаши, бумаги и блокноты.

– Когда я заявила, что стану медсестрой, всю семью охватила паника. Слышала бы ты этот скандал. Было бы смешно, если б не было так серьёзно. Отец запер меня в комнате и угрожал продержат там всю жизнь. Потом он попытался объявить меня сумасшедшей и запереть в дурдоме, как бедную тётю Анну. Но времена были уже не те. Женщины начали разрывать свои цепи. Многие пошли по стопам Флоренс Найтингейл. Я писала мисс Найтингейл, когда сидела в заточении в отцовском доме. Тогда она была уже старушкой, но очень могущественной. Она обратилась к королеве Виктории. Не знаю уж, что произошло, но меня выпустили. Бедная моя кроткая мать так никогда и не оправилась от этого шока. Мне было тридцать два, когда я наконец вырвалась из плена и начала работать. Тогда началась моя жизнь.

Прозвенел колокол ко всеобщей.

Сестра Моника Джоан прикрепила чёрный покров к белому чепцу и хитро мне подмигнула:

– Отца хватил бы удар, если бы он увидел меня монашкой. По счастью, он умер в один год со старой королевой. Передайте молитвенник, дитя моё.

Сборник лежал на полу вместе с остальными предметами сброшенными со стола. Я всё собрала и протянула ей книжечку.

– Ну что ж, – сказала она, насмешливо улыбаясь. Голова её была высоко поднята, брови высокомерно изогнуты. – Ну что ж!

Сестра Моника Джоан совершенно не вызывала жалости. Очевидно, что она будет сражаться до конца. Если ей не хочется смотреть на сестёр, она сядет к ним спиной, а если они недовольны, это их проблемы.

После вечернего обхода мы принялись за ужин. Еду мы готовили себе сами, поскольку возвращались в разное время. Выглядели мы неважно, особенно Чамми, которая совершенно не умела пить, но весь день утверждала, что её подкосил грипп. Кроме того, её терзало чувство вины,

поскольку она должна была дежурить первой, а вместо неё на вызов в три часа ночи отправилась Синтия. Мы расселись вокруг кухонного стола, поедая сэндвичи с ореховым маслом.

– Всё пропало, – прошептала я, опасаясь, что нас услышит кто-то из сестёр.

– Что?

– Украшения пропали! Все. В ящике пусто.

Трикси посмотрела на меня с сомнением:

– Ты вообще уверена, что они там были? Мы-то сами их не видели. Может, тебе всё приснилось? Сестра Евангелина не зря зовёт тебя Мечтательной Мушкой.

– Ничего мне не приснилось! Говорю же, они там были, а потом исчезли.

– Видимо, она их перепрятала. Вот ведь старая...

– Так, не начинайте, – прервала её Синтия. – Мне уже надоели ваши детские ссоры. Хватит.

– Присоединяюсь к вышесказанному, – простонала Чамми. – Бедная моя головушка сейчас напоминает остывший пудинг на сале, который снова разогрели для слуг. Я не ослышалась, ты сказала, что украшения исчезли?

– Да.

– Ничего себе!

Трикси не удержалась от ремарки:

– Сестра Моника Джоан их спрятала, это ясно. Она понимает, что её раскрыли, и всё переложила. И не говорите мне, будто она не знает, что делает. Прекрасно знает.

Трикси отрезала ещё один ломоть хлеба и зачерпнула арахисового масла.

Синтия держалась спокойнее:

– Теперь ситуация определённо предстаёт в новом свете. Я по-прежнему не уверена, что она отдаёт себе отчёт в происходящем...

– Ну разумеется! Она здесь всем пускает пыль в глаза, но меня-то не проведёшь, – скептически заметила Трикси.

Чамми слизнула масло с ножа.

– Преступный замысел. Вот чем заинтересуются полицейские. Были её действия предумышленными или нет? Если мы собираемся защищать сестру Моника Джоан, именно это нам и придется доказать. Но сейчас моя бедная головушка болит так, что я с трудом соображаю. Пойду спать. Кто дежурит первый?

– Ты и дежуришь.

– Кошмар, кошмар и снова кошмар. Ну ладно. Пойду-ка залягу в уютную берлогу, пока этот жуткий колокол не загремит. Спокойной ночи, сладких снов.

– Я тоже пойду спать, – встала Синтия. – И не смейте ссориться тут без нас.

Когда все вышли, Трикси повернулась ко мне:

– Что тут ещё скажешь? Чамми права. Были ли её действия предумышленными? Давай мыть посуду.

Час отдыха

В монастыре час отдыха – это время, когда монахини могут немного расслабиться. Обычно это период между двумя и тремя часами дня. Когда утренние дела и обед позади и никаких послушаний до службы в половине пятого нет, монахини свободны – в рамках принятой в ордене дисциплины, конечно. В Ноннатус-Хаусе они обычно собирались в гостиной, где коротали время за шитьём и любезной беседой.

Я до сих пор не понимаю, как у них находилось на это время. Каждая из них, казалось, способна была вместить сорок восемь часов работы в одни сутки, не теряя спокойствия и достоинства. Сестра Джулианна, например, не просто была старшей сестрой и старшей акушеркой, но и следила за тем, чтобы в доме соблюдались все религиозные традиции, обучала новоприбывших и неопытных акушеров, принимала многочисленных гостей, а также занималась финансами монастыря. Она так же, как и остальные, обходила округу с визитами, отправлялась на ночные вызовы и при этом находила время на шитьё и беседы, хотя в эти редкие часы отдыха большинство людей предпочли бы улечься, задрав ноги.

Как я уже сказала, после обеда монахини обычно собирались в своей гостиной. Но время от времени сестра Джулианна говорила за обедом:

– Давайте сегодня посидим в гостиной акушеров.

Сёстры тогда глядели на нас особенно благосклонно, как будто делали нам особое одолжение, после чего отправлялись к себе в кельи (монахини отдыхают в кельях, а не спальнях) за шитьём, а мы кидались в гостиную, чтобы убрать грязные тарелки, кружки, пепельницы, журналы, стаканы, коробки из-под конфет, жестянки с печеньем, расчёски, учебники (да, иногда мы учились) и все вещи, сопровождающие жизнь обычных девушек.

В гостиную вошли сёстры, и мы любезно заулыбались, словно и не носились только что в панике по комнате. Сестра Евангелина, известная своей бестактностью, огляделась и нахмурилась:

– Слышала, Браун, что к вам на выходные приезжает мать? Наверное, здесь стоит прибраться.

– Но мы ж только что навели тут порядок! – ответила Чамми. Она ничуть не обиделась, но была искренне удивлена. Трикси расхохоталась и только собралась что-то сказать, как вмешалась Синтия, наш вечный миротворец:

– К выходным мы здесь всё пропылесосим и подметём, сестра.

Сестра Евангелина неодобрительно хмыкнула и открыла шкатулку. Это же сделали и остальные – все, кроме нас с Трикси. У нас не имелось шкатулок – мы не шили и не вязали для развлечения.

– Может быть, сшить чехлы для чайников к рождественской ярмарке? – предложила сестра Джулианна. – Они всегда хорошо расходятся. Все покупают их в качестве подарков.

На свет появились ножницы, иглы, ткань и набивка, и все заговорили о том, что хорошо бы сшить побольше чехлов, чтобы пополнить бюджет монастыря. Сёстры не только проводили эту ярмарку каждый год, но и сами изготавливали множество товаров на продажу. Финансирование акушерской практики много десятилетий зависело в том числе и от выручки с рождественской ярмарки.

Сёстры производили немало мелочей, считавшихся в те дни полезными или необходимыми: мешочки для хранения носовых платков и перчаток, игольницы, салфетки для подушек, скатерти, наволочки и, в общем, всё, где можно было вышить птичку или маргаритку. Разговоры крутились вокруг возможности продать тот или иной предмет на ярмарке. Меня удивлял высокий спрос на салфетки для спинок стульев (как, впрочем, и их название – антимакассары), пока я не узнала, что их изобрели, чтобы защитить мебель от жирных мужских волос. В те дни многие господа пользовались лосьоном, а в викторианские времена это средство называлось «Макассар».

Я с удовольствием оглядела собравшихся. Сцена была идиллическая – она могла бы относиться к любому периоду в истории, когда женщинам больше нечем было заняться. Сестра Джулианна необычайно споро мастерила тряпичных кукол: шила им крохотные жилетки и туфли, пришивала пуговичные глаза и приклеивала шерстяные волосы. Сестра Бернадетт считалась специалистом по куклам Голли – в наши дни дети с такими не играют, но тогда они были в моде. Сестра Евангелина подрубала носовые платки, а новообращённая Рут занималась чем-то странным. В руках у неё была какая-то деревянная штука наподобие катушки, в головку которой было вбито четыре гвоздя без шляпки. Она обматывала толстую льняную нить вокруг гвоздей с помощью небольшого инструмента, с каждым оборотом протягивая нить через катушку. Из центра катушки свисала сплетённая тесьма, уже довольно длинная, но Рут не останавливалась.

Да что это могло быть? Я наблюдала за ней как замороженная. Заметив мое любопытство, она со смехом пояснила:

– Пытаетесь понять, что это? Это будет мой пояс. Скоро у меня состоится первый постриг, и я буду давать обеты. Во время этого на мне должен быть пояс, обмотанный вокруг талии три раза, с тремя узлами на конце. Это напоминание о трёх обетах, которые мы принимаем, – нестяжания, безбрачия и послушания.

Она была красавицей, а улыбка её так и светилась. Её призвание явно наполняло её радостью.

Мы продолжили обсуждать ярмарку, решая, кто будет стоять за прилавками. Миссис Би, как обычно, должна была продавать кексы, а Фред, истопник, каждый год весьма успешно торговал подержанными инструментами, что привлекало на мероприятие мужчин. Фред хвастался, что может сбывать всё, что угодно. Дайте ему мешок сена, ржавые гвозди, и он выручит за них деньги.

Прозвенел звонок.

– Кто это? Мы никого не ждём. Вы не могли бы открыть, сестра Браун?

Чамми отложила свою вышивку и вышла. Мы продолжили разговор, гадая, не согласится ли поиграть для нас оркестр из клуба «Спай». Надо ли им платить, и если да, то сколько?

– А как насчёт чая с кексами? – вмешался кто-то. – Разве это не достаточная оплата?

– Да что там случилось с сестрой Браун? – фыркнула сестра Евангелина. – Её нет уже минут пять. Не так уж и сложно отпереть дверь.

В этот момент в комнату вернулась Чамми, багровая от смущения. Она случайно пнула корзину для бумаг, и та взлетела в воздух – при этом содержимое рассыпалось – и ударила в висок сестру Евангелину, сбив с неё чепец. Та уколола себе палец, и кровь закапала на платок, который она подрубала.

– Неуклюжая растяпа! – вырвалось у сестры Евангелины. – Посмотрите только!

Она сунула палец в рот и помахала испорченным платком.

– Ничего страшного, – вмешалась сестра Джулианна. – перевяжите палец, чтобы не запачкать всё остальное. Лучше испортить один платок, чем дюжину, верно? Теперь, сестра Браун, говорите, что случилось.

Чамми открыла рот, но не издала ни звука. Она попыталась заговорить, но у неё ничего не вышло.

Сёстры встревожились.

– Бедное дитя, присядьте же.

Чамми села и вновь попыталась что-то сказать. Связки наконец повиновались, и она торопливо выпалила:

– Сестра, там полицейский, он хочет вас видеть!

Трикси так и взвизгнула от смеха.

– Я ж говорю, она влюбилась в полицейского!

Чамми с силой её пнула.

– Что же за несчастье, – озабоченно сказала сестра Джулианна. – Пойду выясню.

Мы переглянулись. Сестра Джулианна употребляла такие сильные слова, как «несчастье», только в крайнем случае.

Услышав, что пришел полицейский, я занервничала. До этого момента мне удавалось не думать о драгоценностях, найденных в комнате сестры Моники Джоан. Я тревожно оглянулась на Синтию, которая продолжала вышивать подушечку, не поднимая взгляда. Все сёстры молча склонились над своей работой. Чамми вновь взялась за шитьё, но руки у неё так тряслись, что она не могла удержать иголку.

Тишину нарушила Трикси.

– Ну что, за старушкой пришли. Сейчас начнётся заваруха.

– Да придержи ты наконец язык, болтушка! – воскликнула сестра Евангелина. – Можешь ты хоть раз в жизни помолчать?

– Извините.

Но Трикси совершенно не выглядела раскаявшейся.

Мне удалось поймать взгляд Синтии, и мы посмотрели друг друга с тревогой. Новообращённая Рут, глотая слёзы, ожесточённо ткала свой пояс. Сестра Бернадетт яростно запихивала набивку в ноги своей кукле. Тикали часы, и никто не произносил ни слова, не считая случайных фраз вроде: «Передайте ножницы, пожалуйста» или «У вас нет голубых ниток?»

Услышав мягкие шаги сестры Джулианны, мы все с надеждой подняли глаза, но она прошла мимо двери и удалилась наверх. Тут сестёр охватила настоящая тревога.

Кажется, у меня напрягся каждый мускул в груди и животе, и мне стало жарко.

– Может, проветрим?

– Я как раз хотела предложить то же самое, – сказала сестра Бернадетт, и Синтия, которая сидела к окну ближе всех, встала и открыла створку. Время шло, мы продолжали шить в тишине.

За дверью вновь слышались шаги – теперь кто-то спускался по лестнице. Мы все переглянулись, думая об одном и том же: что же с ней станет?

Дверь распахнулась. На пороге стояла сестра Джулианна. Она буквально светилась от радости.

– Они снимают все обвинения и не будут её преследовать! Какое же облегчение, просто гора с плеч! Я только что заходила к сестре Монике Джоан и сообщила ей новости. Не уверена, правда, что она меня поняла – она просто молча на меня смотрела.

– Слава Богу, – сказала сестра Евангелина, громко высморкалась в заляпанный кровью платок и промокнула глаза. – Восславим же Господа за милосердие его.

Все мы радовались, но сестра Евангелина казалась счастливее всех. Глядя на неё, я осознала всю глубину её доброты. Она больше всех страдала от словесной жестокости сестры Монике Джоан и совсем не была виновата в их извечной войне. Непорядочный человек на её месте остался бы равнодушен к беде сестры (или даже втайне порадовался бы).

– Это надо отметить, так что я попросила миссис Би подать чай пораньше, – сказала сестра Джулианна, усаживаясь. – И к кексам сегодня будет джем.

В гостиную вошла миссис Би, покачиваясь с огромным подносом.

– Ну вот, я же говорила! Невинна, как младенчик! А этих чёртовых полицейских (простите, сёстры) так и тянет отходить дубинкой, вот я бы с удовольствием!..

Сестра Джулианна расхохоталась.

– Нет уж, пожалуйста, мы бы не хотели, чтобы вас посадили. Рут, прошу вас, разлейте чай и раздайте кексы.

Миссис Би удалилась. Все радостно разбирали выпечку, джем и чашки.

Сестра Джулианна продолжила:

– Оказывается, полицейский юрист сказал, что в связи с возрастом подозреваемой и малой ценностью найденных у неё предметов полиция станет объектом насмешек, если решит преследовать её по закону. Пострадавшим торговцам сообщили, что государственный обвинитель не будет выдвигать обвинения, но они вправе подать гражданский иск. Но это дорого стоит, а компенсацию им вряд ли выплатят, поэтому они решили ничего не предпринимать.

Сестра Джулианна облегчённо вздохнула и погладила свою чашку.

Мы четверо не разделяли радости сестёр, потому что знали то, чего не знали они. Осведомлённость о драгоценностях легла на нас тяжким бременем.

Я опасалась, что Трикси брякнет что-нибудь, не подумав, и выдаст нас. Мы с Синтией переглянулись. Очевидно, она думала о том же, и я с облегчением увидела, как она толкнула Трикси и беззвучно прошептала: «Потом поговорим». Я уже начала разрабатывать план – забрать эти вещи,

отвезти их в Хаттон-Гарден и просто где-нибудь оставить. Мой мозг лихорадочно работал: да, да, так и надо поступить, или лучше бросить у какого-нибудь отдалённого полицейского участка, чтобы нас не заподозрили? Но где же теперь их найти? Тумбочка опустела. Возможно, мне удастся поговорить с Моникой Джоан, но поймёт ли она меня? Надо будет всё обсудить с Синтией, она такая разумная.

– Я знала, что наши молитвы будут услышаны, – сказала сестра Джулианна. – Я верю в силу молитвы. Теперь нам и адвокат не нужен!

И она счастливо рассмеялась. Я поморщилась – знала бы она! – и моя решимость найти эти чёртовы украшения и избавиться от них только окрепла.

После чая все вновь достали швейные принадлежности, и мы вернулись к работе.

Распахнулась дверь, на пороге показалась сестра Моника Джоан. Не заходя в комнату, она стояла совершенно неподвижно – одна рука покоилась на ручке. На ней был наряд для выхода на улицу, включая длинный чёрный покров, искусно прикрепленный к белоснежному чепцу. Она выглядела великолепно. Все умолкли, отложили шитьё и смотрели на неё, но она не шевелилась – руки были неподвижны, глаза полужакрыты, брови приподняты, а в уголках губ таилась чуть высокомерная улыбка. В ней было нечто завораживающее, что лишало других дара речи.

Несколько мгновений спустя она начала двигаться – нарочито медленно поворачивать голову, оценивая каждую из присутствующую пронзительным, немигающим взглядом. В течение нескольких секунд она смотрела прямо в глаза кому-нибудь из нас, потом слегка поворачивала голову и переводила взгляд на следующую. Никто не отважился ни пошевелиться, ни сказать хоть слово. Ничего более захватывающего мне видеть не доводилось.

Тишину нарушила она сама – чуть склонила голову набок, приподняла бровь, ехидно улыбнулась:

– Приветствую. Я вам когда-нибудь рассказывала о багдадском воре? Его сварили в масле, как вы знаете, или, возможно, утопили в бочке с мальвазией. То ли одно, то ли другое, не помню, но с ним расправились.

Сестра Джулианна встала и протянула к ней руки.

– Дорогая, прошу вас, ни слова больше об этой ужасной истории. Ни слова! Это было ужасное недопонимание, и теперь мы все забудем о нём. Идёмте, присоединяйтесь к нам. Вижу, вы захватили свое вязание.

Сестра Моника Джоан позволила провести себя в гостиную. Сестра Евангелина вскочила:

– Присаживайтесь, дорогая моя, это самый удобный стул.

Та села.

Драгоценности! Они так и стояли у меня перед глазами. От них надо было немедленно избавиться, и сейчас мне как раз представился удобный случай. Сестра Моника Джоан мирно вязала, остальные шили и болтали. Другой такой возможности не будет.

Я извинилась, вышла и сбросила туфли у лестницы, чтобы никто не слышал моих шагов. Через мгновение я уже была в комнате сестры Моника Джоан и подставила кресло к двери – на случай, если кто-то попытается войти. Поиск начался.

Я изучила каждый дюйм^[12], каждый ящик, каждую полку, каждый шкафчик. Я ощупала матрас, подушки, занавески. Я покопалась в её белье и одежде – нехорошо рыться в личных вещах монахини, но это было необходимо. Нигде и ничего! Мне вновь пришла мысль про сливной бачок, и я бросилась в туалет. Тщетно. Меня начала охватывать паника – час отдыха уже наверняка подходит к концу. Если кто-то из сестёр застанет меня тут, придётся объясняться. Я сбежала по лестнице, обулась и вернулась в гостиницу как раз в тот момент, когда все начали складывать шитьё и обсуждать вечерние визиты.

– Простите, сестра, – пробормотала я, – я недалеко продвинулась с чехлом. Я плохо шью.

– Всё в порядке, – улыбнулась сестра Джулианна. – У всех разные таланты.

Она повернулась к сестре Монике Джоан:

– Вам помочь, дорогая? Какую прелестную детскую шаль вы вяжете! Давайте её уберём?

Она взялась за ручку сумочки для рукоделия. Сестра Моника Джоан вцепилась в неё:

– Не трогайте!

Она потянула сумочку к себе, но та зацепилась ручкой за запястье сестры Джулианны. Шов треснул, и на пол хлынул поток колец, часов, браслетов и цепочек.

Суд

Наступила полная тишина. Держа в руках разорванную сумочку для рукоделия, сёстры Джулианна и Моника Джоан смотрели друг на друга. Казалось, прошла вечность.

Тишину нарушила сестра Моника Джоан.

– Неодушевлённые объекты порой живут собственной жизнью, независимой от творца, вы замечали? – Она обвела нас взглядом. – А когда атом возбуждается, вокруг него образуется магнитное поле.

– Вы хотите сказать, сестра, что эти неодушевлённые объекты попали к вам в сумочку благодаря магнитному притяжению? – в голосе сестры Джулианны прозвучали саркастические нотки.

– Определённо. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.

– Не надо называть меня Горацио.

– Какие мы обидчивые! – Сестра Моника Джоан ничуть не смутилась. – Проблема в том, что ограниченные умы не в силах постичь компаративистику. Побрякушки можете оставить себе. Используйте их во благо. Их могут счесть тайной, драмой, аллегорией. Используйте же их во благо, я говорю; они живут своей жизнью, наделены собственной силой и судьбой.

С этими словами она покинула комнату.

Трикси прыснула и повернулась ко мне:

– Теперь я тебе верю. Я-то думала, что это всё твоё воспалённое воображение. Вот ведь старая... Извините, сестра.

Сестра Джулианна взглянула на меня.

– Давно вы об этом знаете?

– Около двух недель.

Я была ужасно смущена.

– И ничего не сказали?

Мне удалось лишь проблеять:

– Простите, пожалуйста.

– Зайдите ко мне в кабинет после ужина и перед вечерней службой. А теперь надо всё собрать.

Она нагнулась и принялась складывать украшения. Мы молча ей помогали.

Тем вечером мне сложно было сосредоточиться на работе, и младенцы,

отказывающиеся от молока, лишь раздражали меня. В глубине души я была довольна, что тайна, так давившая на меня в последнее время, наконец-то открылась. С другой стороны, я кляла себя, что не смогла избавиться от украшений, прежде чем их обнаружила сестра Джулианна. Мысль о предстоящем разговоре не давала мне покоя, и я крайне неохотно отправилась обратно в Ноннатус-Хаус.

Войдя в смотровую, я сразу поняла, что в доме полиция. Обычно после рабочего дня девушки шумно и весело убирались и распаковывали сумки; но не сегодня.

Рут подняла на меня взгляд, глаза у неё были красные.

– Идите к сестре Джулианне, – тихо сказала она.

Меня замутило.

– Я разберу твою сумку, – сказала Синтия. – Не беспокойся.

Я постучала в дверь кабинета и вошла. Там были всё те же сержант и констебль. На столе лежали драгоценности.

– Вот медсестра, которая более двух недель знала о наличии этого... – сестра Джулианна запнулась, – тайника.

Лицо моё пылало. Я чувствовала себя преступницей.

Со мной говорил сержант, а констебль всё записывал. Они потребовали сообщить моё имя, возраст, домашний адрес, назвать ближайших родственников, профессию отца и множество других сведений.

– Когда вы впервые увидели эти украшения?

– В понедельник днём, две недели назад.

– Вы узнаете их сейчас?

– Не могу ручаться, я не разглядывала их.

– Но они выглядят так же?

– Да.

– Где вы их нашли?

– В нижнем ящике прикроватной тумбочки.

Констебль полистал блокнот.

– Мы осматривали тумбочку, сэр, там ничего не было. Их положили туда после нашего визита.

– Я так и думал. И что вы сделали, медсестра?

– Ничего.

– Вы знали, что эти украшения представляют большую ценность?

– Предполагала, но не была уверена.

– Почему вы мне не сказали? – вмешалась сестра Джулианна.

– Я обещала.

Сестра Джулианна хотела что-то сказать, но сержант её остановил.

- Кому обещали?
- Сестре Монике Джоан.
- Так она знала, что вы их видели?
- Да.
- И заставила вас пообещать, что вы будете молчать?
- Да... нет. Она меня не заставляла, я пообещала сама.
- Почему?
- Потому что она была расстроена.
- Из-за чего?
- Из-за украшений.
- Расстроена, потому что вы их нашли?
- Наверное.
- Расстроена, что её раскрыли?
- Не знаю.
- Она была расстроена до того, как вы их нашли?
- Нет, до этого она была счастлива.
- Была ли она счастлива, когда вы с ней расстались?
- Да.
- Почему?

Мне не хотелось отвечать, но он повторил:

- Почему?
- Видимо, потому, что я пообещала никому не говорить.

Сержант взглянул на констебля.

– Сестра Моника Джоан, очевидно, понимала, что делает. Вначале она перепрятала украшения, чтобы её не раскусили, а когда их обнаружили, она успокоилась, получив с вас обещание, что вы будете молчать.

Он вновь повернулся ко мне.

- Когда вы нашли украшения, вы знали, что полиция занимается кражами у местных торговцев?
- Знала.
- Вам не пришло в голову, что драгоценности могут иметь отношение к делу?
- Не знаю.
- Сестра, мне не хотелось бы оскорблять вас обвинением в глупости.
- Наверное, да, я подумала, что это может быть связано.
- Вы понимали, что сокрытие улики во время расследования – это преступление?

Во рту у меня пересохло, а голова закружилось. Одно дело – заниматься чем-то втайне, и совсем другое – слышать, как тебя обвиняет

полицейский. Мой голос прозвучал едва слышно:

– Я всего несколько дней назад узнала, что это преступление.

– А что произошло несколько дней назад?

– Я рассказала девочкам.

– Вы рассказали им, но не мне! – взорвалась сестра Джулианна. – Это возмутительно!

– Почему вы поведали об этом коллегам, а не старшей сестре?

– Потому что я знала, что сестра Джулианна будет обязана сообщить в полицию, а они – нет.

– И как они отреагировали?

– Я не помню. Мы выпили пару бутылок хереса в тот вечер.

Констебль фыркнул, но тут же умолк, когда сержант на него взглянул.

У сестры Джулианны явно поднималось давление.

– Чем дальше, тем хуже! Вы выпивали на дежурстве! Мы ещё об этом поговорим.

Я была в отчаянии. Теперь я навлекла беду и на подруг.

– Давайте вернёмся к украшениям, – вмешался сержант – Вы решили скрыть информацию от полиции. Что вы собирались сделать?

– Я подумала, что надо забрать их из комнаты и оставить где-нибудь, в Хаттон-Гарден или у полицейского участка.

Сержант и констебль обменялись взглядами.

– Но я не смогла их найти.

– Она убрала их из тумбочки?

– Да.

– Вам повезло, сестра, что вы не нашли драгоценности. Если бы вы привели свой план в исполнение и украшения обнаружили бы при вас, у вас были бы серьёзные проблемы.

Я похолодела. Воровство, тюрьма. Конец карьере. Конец всему.

Сержант некоторое время наблюдал за мной, потом заговорил:

– Я не буду предпринимать никаких действий, сестра. Это предупреждение, так и запишем. Вы поступили глупо. Не хотелось бы называть вас дурочкой, но именно так вы себя и вели, и надеюсь, что эта история послужит вам уроком. Можете идти.

Я вышла из кабинета в полном оцепенении. Не очень-то приятно, если считаешь себя взрослой и ответственной, а полицейский называет тебя дурочкой.

Коллеги обступили меня. Мы уселись вокруг кухонного стола с сэндвичами с сыром и пикулями и домашним кексом, и я им всё выложила. Меня больше всего тревожила тюрьма, которой я чудом избежала.

– Да ладно, старушка, мы бы тебя вызволили, – твёрдо сказала Чамми. Её преданность напомнила мне о собственном предательстве – я рассказала о наших посиделках. Моему раскаянию не было предела. Синтия, как всегда, утешила меня, сказав, что это наша общая провинность и ничего дурного мы не сделали. Она посоветовала выпить какао и лечь спать пораньше.

Полицейские забрали украшения и пригласили ювелиров из Хаттон-Гарден, которые годами жаловались на пропажи, чтобы те опознали свои товары. Один из них, Самюэльсон, уверенно указал на старинное жемчужное ожерелье и кольцо с бриллиантом, и сказал, что эти предметы пропали у него несколько лет назад, и предъявил в доказательство бухгалтерские книги.

Кроме того, свидетельские показания дали торговцы, которые видели, как сестра Моника Джоан таскала мелкие предметы с их прилавков. На основе их рассказов и сведений мистера Самюэльсона полиция решила, что против сестры Моника Джоан в любом случае должно быть возбуждено дело. Однако вопрос её психической вменяемости оставался открытым, в связи с чем потребовалось медицинское освидетельствование.

Врач-терапевт, который много лет знал сестру Моника Джоан и недавно лечил её от воспаления лёгких, сказал, что озадачен и не может с уверенностью заявить, пребывает ли сестра в здравом уме. Он порекомендовал обратиться к психиатру.

Эта дама, старший консультант-психиатр в главной больнице Лондона, дважды навещала Ноннатус-Хаус, чтобы осмотреть сестру Моника Джоан. Её финальное заключение гласило, что, несмотря на преклонный возраст, сознание монахини необычайно ясно. Все рефлексии были в норме, она прекрасно ориентировалась в текущих и прошлых событиях и отлично понимала разницу между добром и злом. Не найдя никаких признаков умственных нарушений, психиатр сочла, что сестра Моника Джоан в состоянии нести ответственность за свои поступки.

Рассмотрев эти отчёты, полиция приняла решение возбудить дело, и улики передали в магистратский суд на Олд-стрит для предварительных слушаний. Трое судей были единодушны: согласно имеющимся доказательствам было произведено хищение, и, будь фигурантка помоложе, она отвечала бы перед лондонским судом квартальных сессий. Однако в данном случае старший судья колебался – именно из-за возраста обвиняемой. Его бабушке было девяносто три, и она почти ничего не соображала и даже не узнавала собственную дочь. Он с сочувствием

относился к престарелым людям.

Старший полицейский офицер зачитал обвинения. С одной стороны от сестры Моники Джоан расположился её адвокат, с другой – багровая от стыда сестра Джулианна, которая не поднимала взгляда. Сестра Моника Джоан, напротив, сидела прямо и держалась крайне высокомерно, порой восклицая что-нибудь вроде: «Чушь! Вздор!»

Когда обвинения были зачитаны, старший магистрат спросил:

– Вы выслушали предъявленные обвинения?

– Безусловно.

– Вы всё поняли?

– Не грубите, молодой человек. Считаете меня дурой?

– Нет, сестра, не считаю. Но мне надо удостовериться, что вы полностью осознаёте, какие обвинения вам предъявляет полиция.

Сестра Моника Джоан не ответила. Она взглянула на настенные часы и поднесла испещрённую венами руку к подбородку, словно актриса, позирующая перед объективом.

– Я в этом не уверена, сэр, – тихо сказала сестра Джулианна адвокату, и тот встал, собираясь что-то сказать. Но тут сестра Моника Джоан напустилась на них обоих:

– Не смейте за меня отвечать. Говорите за себя. Давайте показания о собственных недостатках. Перед судным престолом мы все стоим в одиночестве, покинутые и обнажённые, и вот тогда будут говорить лишь мертвецы.

Старший судья задумался. Эта дама очень отличалась от его бабушки, которая только и могла, что повторять: «Мне девяносто три, надо же, целых девяносто три года».

– Вы понимаете, какие обвинения выдвигаются против вас? – очень серьёзно спросил он.

– Да.

– Вы признаёте себя виновной?

– Виновной! Виновной? Друг мой, вы полагаете, что я приму обвинения от этих свиней? – Она негодуя фыркнула, вытащила из-под чепца кружевной платок и театрально зажала нос, будто почувствовала неприятный запах. – Виновна? Ха! Пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит камень. Да понимает ли ваш ограниченный ум скрытый смысл слова «вина»? Прежде чем употреблять его в будущем, потрудитесь ознакомиться – если, конечно, вы способны на подобное умственное усилие, в чём я лично сильно сомневаюсь!

Подобная грубость в адрес старшего судьи сослужила сестра Монике

Джоан плохую службу. Продемонстрируй она чуть больше кротости, неуверенности или даже раскаяния, судьи могли бы воспользоваться своим правом прекратить дело. Теперь же, быстро посоветовавшись, они засомневались в её невиновности и решили передать дело в суд квартальных сессий для рассмотрения его судьёй и присяжными.

Сестра Джулианна пришла в ужас от поведения сестры Моники Джоан в суде. Она надеялась, что дело окончится тихо и мирно, но теперь нам предстояло столкнуться с неминуемой оглаской. Но сестра Джулианна так просто не сдавалась. Она молилась об успешном исходе. Высшие силы вдохновили её, и она поняла, что надо усилить линию защиты, связанную с умственными нарушениями. Обсудив эту идею, они с адвокатом решили обратиться к ещё одному врачу.

Сэр Лоример Эллиотт-Бартрам был психологом с завидной репутацией – его хорошо знали в Лондоне, так как он выступал свидетелем по нескольким делам. Доктор был уже в преклонном возрасте, но не настолько, чтобы отказаться от обширной практики на Харли-стрит. Напротив, чем старше он становился, тем больше к нему шло пациентов и тем больше денег они приносили. Дела обстояли крайне удовлетворительно.

Сэр Лоример получил квалификацию хирурга в 1912 году и выдающиеся характеристики в качестве армейского врача в – Первую мировую войну: военачальники считали его превосходным офицером и врачом, а солдаты – превосходным мясником.

Хотя сэр Лоример никогда не получал квалификации психиатра, да и не претендовал на неё, он сколотил на Харли-стрит целое состояние, понемногу практикуя психотерапию и занимаясь потерей памяти, изменениями личности, психической заторможенностью, гипоманией, алкоголизмом, kleptomанией и всем в таком духе. Это был высокий обаятельный мужчина с глубоким, звучным голосом, который при необходимости становился совершенно медовым. Большую часть его клиентуры составляли женщины.

В медицинских кругах шутят, что, если хотите написать научный труд по брани, послушайте, как двое врачей говорят о третьем. В среде психиатров сэра Лоримера считали напыщенным старым пустобрёхом и проходимцем, заправлявшим свой «роллс-ройс» кровью богатых старух.

Сэр Лоример вошел в Ноннатус-Хаус, излучая самоуверенность, и был препровождён в комнату к сестре Моники Джоан. Он поцеловал ей руку и назвал «многоуважаемой преподобной».

– Какое облегчение наконец встретить опытного, понимающего джентльмена, – пробормотала она.

Он снова поцеловал ей руку и прошептал:

– Я всё понимаю, моя дорогая, поверьте.

Она улыбнулась и вздохнула.

– Разумеется, я вам верю, сэр Лоример.

Тем же вечером, перед службой, я спросила сестру Монику Джоан, понравился ли ей сэр Лоример.

В тот момент она вязала, уютно устроившись у окна. Растянув губы в неестественной улыбке, она заворковала:

– Он очарователен, душа моя, само очарование...

Но тут улыбка исчезла, а в её голосе зазвучали металлические нотки.

– ... И прикладывает для этого массу усилий.

Заключение сэра Лоримера было очень длинным и мудрёным. Ради читателей, не знакомых с медицинской терминологией, я постаралась сократить и упростить его. Там говорилось:

Сестра Моника Джоан относится к астеническому типу с невротической циклотимической акцентуацией, склонна к эпизодическому кататоническому возбуждению. Следует также принимать во внимание предрасположенность к шизофазии и синдрому разъединения. В то время как толкование первого способно прояснить последнее, понимание последнего редко приводит к осознанию первого, из чего мы можем сделать вывод, что индивидуальная психологическая симптоматика проистекает из анамнеза пациента. Важно также учитывать гипотетическое наличие синдрома Корсакова, проявляющегося в конфабуляциях, псевдореминисценциях и нарушениях мнемических функций. Гибкость, яркость и скорость ассоциативных реакций подтверждают ретроградную амнезию.

Несмотря на то что деперсонализация не отмечена, дереализация зафиксирована наряду с кататоническими симптомами, хотя и не являющимися доказательством кататонии как таковой, но служащими важным диагностическим фактором экспертной оценки. Клептомания соответствует циклотимическому типу, но идет вразрез с лептосоматическим профилем.

Хотя адвокат и сёстры ничего не поняли из этого заключения, они остались страшно довольны.

Суд над сестрой Моникой Джоан привлёк внимание общественности. Все места для публики были заняты. В зале присутствовали торговцы и ювелиры из Хаттон-Гарден. Пришли также несколько старух, которые помнили обвиняемую молодой акушеркой и были обязаны ей жизнью. Закуток для журналистов также оказался забит. Монахиня-воровка считалась лакомым кусочком для выдавших жизнь репортёров.

Сестра Моника Джоан сидела на скамье подсудимых, тихо вязала и явно не интересовалась происходящим вокруг. Рядом с ней расположилась озабоченная сестра Джулианна.

В зал вошёл пристав.

– Тишина в зале! – громогласно объявил он. – Встать, суд идёт!

Все поднялись – за исключением сестры Моники Джоан, которая осталась на своём месте.

– Встать, суд идёт! – повторил пристав.

Сестра Моника Джоан не пошевелилась. Пристав подошёл к ней, ударил жезлом об пол и провозгласил свой призыв ещё громче.

Сестра Моника Джоан изумлённо ахнула:

– Молодой человек, вы ко мне обращаетесь?

– К вам.

– Да будет вам известно, что я никому не позволяю обращаться ко мне в таком тоне.

– Встать, суд идёт! – гаркнул пристав.

– Ваша матушка что, не научила говорить вас «пожалуйста»?

Пристав сглотнул и ещё раз ударил по полу жезлом. Сестра Моника Джоан не отреагировала – она сидела, полуприкрыв глаза и неодобрительно скривив губы.

– Пожалуйста, мадам, встаньте, – прошептал пристав.

– Так лучше. Так куда лучше. Вежливость – это добродетель, которая ничего не стоит. Уверена, ваша матушка гордилась бы вами.

Сестра Моника Джоан одобрительно похлопала его по плечу и встала.

Публика зааплодировала.

– Тишина в зале! – возопил пристав, пытаясь восстановить утраченный авторитет.

Судья вошёл, пробормотал: «Прошу садиться», и все сели, включая сестру Моника Джоан.

Представитель обвинения обратился к присяжным. Он перечислил имеющиеся факты и сказал, что вызывает в качестве свидетелей трёх ювелиров, лишившихся драгоценностей, и восемь торговцев, с прилавков которых были украдены вещи, а также психиатра, обследовавшую

обвиняемую и сделавшую заключение о её вменяемости.

Ювелиры были надёжными свидетелями. Первый, мистер Самюэльсон, сообщил, что унаследовал дело от отца. Старинные жемчужное ожерелье и бриллиантовое кольцо были частью его состояния. Четыре года назад они пропали. Мистер Самюэльсон сообщил в полицию, но драгоценности так и не нашлись. Недавно, однако, его попросили опознать пропавшие украшения.

Обратившись к архивам, мистер Самюэльсон определил, что это его ожерелье и его кольцо.

Второй ювелир сообщил, что сестра Моника Джоан пришла к нему в магазин три года назад и попросила показать разные безделушки – брелоки, подвески и прочее. В этот момент его позвал другой покупатель, и ювелир оставил сестру без присмотра, будучи уверенным в том, что монахине можно доверять. Однако помощник сообщил ему, что увидел, как старушка взяла с прилавка какую-то мелочь и спрятала её в карман. Они отвели сестру Моника Джоан в подсобку, где она отдала им крошечную подвеску стоимостью около двух шиллингов. Ювелир сообщил, что забрал подвеску и сказал сестре, что в этот раз не будет вызывать полицию, но больше её в магазин не пустит.

Затем показания давал помощник ювелира. Он подтвердил всё вышесказанное и опознал сестру Моника Джоан. Он сказал, что с того дня в магазине её не видели, но она бродила по другим лавочкам в округе. Молодой человек заключил, что она, по-видимому, помнила о запрете, а значит, не страдала от старческого слабоумия или потери памяти.

Сестра Моника Джоан продолжала вязать, не выказывая ни малейшего интереса к происходящему вокруг. Сестра Джулианна, напротив, выглядела так, будто сейчас расплачется.

Вслед за этим вызвали торговцев – разношёрстную группу из семи мужчин и женщины. Один из них уверенно вошёл на свидетельскую кафедру и сообщил, что его зовут Килька Краб.

– Назовите ваше имя, пожалуйста.

– Ну, все меня кличут Килькой. Фамилия-то у меня Краб, так что оно само напрашивается, верно?

– Какое имя вам дали при рождении?

– Катберт.

Торговцы зашлись от смеха, но судья утихомирил их.

– опишите ваш род занятий.

Килька уцепился большими пальцами за проймы своего яркого жилета и побарабанил указательными по груди.

– Я деловой человек, знаете. Управляю своей компанией. С четырнадцати лет, прерывался только на войну. Там я служил в торговом флоте. Жуткое дело – война. И воду я никогда не любил.

В нас попал снаряд, и сотни людей потонули. Так и слышу, как они зовут на помощь, бедняги. А ещё мы как-то...

– Мистер Краб, суд был бы счастлив услышать ваши воспоминания, но давайте всё же вернёмся к делу сестры Моники Джоан. Вы предприниматель, так?

– Да, сэр, торгую на рынке. У меня есть свой воробей, ну так я и работаю.

– Вы хотите сказать, что торгуете воробьями? – перебил его судья.

– Нет, милорд, это мы так зовём наши стойки на рынке.

– Понятно, – судья что-то записал. – Продолжайте.

– Я торгую всякими дамскими штучками, и эта монашка пришла ко мне, и не успел я моргнуть глазом, как она прихватила пару катков, упрятала их в карман и давай вожжать, да так споро, как дерьмо с палки валится. Я сам не мокрый деверь, но так всё и было. А потом я рассказал всё своей малой пичуге, так она объявила меня лжецом и пригрозила отгаскать за курошуп, ежели я ещё назову сестру Монику Джоан спиртовкой. Очень она её любит. Так я никому ничего и не сказал.

Задолго до окончания этой речи судья отложил ручку и перестал записывать.

– Кажется, нам нужен переводчик, – сказал он.

– Я помогу, милорд, – вмешался пристав. – Моя мать была из кокни, и я с детства говорю на этом рифмованном наречье. Мистер Краб засвидетельствовал, что видел, как сестра Моника Джоан взяла пару платков – «катки» и «платки» рифмуются – и бросилась бежать, или «вожжать», как он выразился, и притом очень быстро, как... ну, да впрочем, тут мне нет нужды продолжать, милорд, это уже непристойно, да вы и сами всё поняли.

– Начинаю понимать. Крайне образно. Но при чём здесь его деверь и какие-то птицы?

– «Я сам не мокрый деверь», милорд, это крайне распространённое выражение. Оно значит «Я сам не мог поверить». Мистер Краб не мог поверить увиденному.

– Я весьма обязан вашей образованности, пристав. Но на этом показания мистера Краба не закончились, а их надо зафиксировать.

Пристав выпрямился, преисполненный чувством собственной важности. Все взгляды были обращены к нему.

– Мистер Краб сказал, что сообщил супруге о случившемся. Для супруги у кокни есть несколько условных обозначений: «мокрая пичуга», «подпруга» или «умер с перепуга», например. А жена объявила его лжецом и пригрозила оттащить за чуб, или же «курощуп», если он ещё раз назовёт сестру Монику Джоан воровкой – или, как выразился мистер Краб, «спиртовкой».

– Теперь всё ясно. Благодарю, пристав.

Судья повернулся к Кильке.

– Этот перевод верен, мистер Краб?

– О да, да. Ад и скверна.

– Я так понимаю, что это значит... «всё верно»?

Явно довольный собой судья улыбнулся Кильке и сделал знак представителю обвинения продолжать.

– Когда это произошло?

– Ну где-то с год назад.

– И вы никому не говорили?

– Нет уж, я не тупой. Тут бы такая свара началась, чертям бы тошно стало. Да и оно мне надо, без куафюры остаться?

Судья вздохнул и посмотрел на пристава.

– Мистер Краб никому ничего не сообщил, милорд, так как опасался ссоры с женой и боялся, что она выдерет ему волосы.

– Всё верно, мистер Краб?

– Между прочим, у неё хватка как у осьминога, ежели уж возьмется, то ходить тебе лысым, как бильянный бар!

– Мистер Краб, мы говорим о точности перевода пристава, а не о способностях вашей жены.

– А, да, всё он верно говорит.

– Благодарю, мистер Краб. Пристав, будьте любезны слушать, что говорит свидетель, и при необходимости переводить.

– Конечно. Милорд.

– Почему вы молчали год, а сейчас заговорили? – спросил представитель обвинения.

– Да услышал тут, как мои дружки видели то ж самое, как эта старая сорока ходит по рынку, тащит какую-то мелочь и убегает. Ну мы и пошли к укропам, а нас и привели в обсосут-и-завернут.

– Я всё понимал, пока не появился укроп, – вмешался судья. – Пристав, будьте добры, поясните смысл последнего предложения.

– Укроп, милорд, рифмуется со словом «коп», которым на жаргоне называют полицейских. А «обсосут-и-завернут», милорд, они называют

суд, куда в итоге и попали.

– Благодарю, – судья повернулся к мистеру Крабу. – Так если вы так зовёте полицейских и суд, кто же у вас судья?

– Сэр Бадья, милорд.

– Хм. Ну что ж, могло быть хуже. Какая-нибудь куча гнилья, например, или что-то в этом духе. Ну что, по-моему, мы неплохо справились. У вас ещё есть вопросы?

– Нет, милорд.

Килька Краб покинул свидетельскую кафедру, и на его место взошла торговка, которая сообщила, что видела, как сестра Моника Джоан стащила у неё с прилавка три вышитых шёлковых платка и спрятала их под наплечником.

– Я тогда, в общем, ничего и не сделала. Сестёр-то в округе все знают и уважают, да и они мне когда-то жизнь спасли, а платки эти стоят по шиллингу, ну я и подумала: не из-за чего шум подымать, верно? Я рассудила: бедная старушка, совсем уж крышей поехала, да и забыла, но когда остальные заговорили, что она тут у всех ворует, я решила, что пойду в полицию вместе со всеми. Мы ж тут работаем, в конце концов, а кража есть кража, и всё равно, кто на это пошёл. Мы себе никаких сентиментальностей позволить не можем, нет уж.

Остальные торговцы рассказали примерно то же самое: они видели, как сестра Моника Джоан ворует у них те или иные мелочи. Наконец вызвали торговца, который выступил инициатором разбирательства. Он сообщил, что заметил, как сестра Моника Джоан взяла и спрятала детский браслет, а когда он к ней обратился, то швырнула браслет на прилавок и ушла. Затем ещё пятеро людей сообщили под присягой, что были свидетелями этой сцены.

Перспективы сестры Моника Джоан выглядели довольно мрачно, но она, казалось, совершенно не беспокоилась – как будто происходящее не имело к ней никакого отношения. Она тихо вязала, периодически пересчитывала петли и делала записи на карточке. Временами она благодушно улыбалась сестре Джулианне, которая, напротив, пребывала в смятении.

На этом заседание закончилось, и судья отпустил нас до десяти часов следующего утра.

На второй день представитель обвинения вызвал психиатра. Та заявила, что обследовала сестру Моника Джоан и не обнаружила никаких признаков старческого слабоумия или умственных нарушений. Память у

неё была ясная, и она прекрасно отличала хорошее от плохого. В завершение своих показаний психиатр заявила, что с точки зрения медицины сестра Моника Джоан осознавала, что делает, и должна нести ответственность за свои поступки.

Врач-терапевт был настроен менее уверенно. Он согласился с вышесказанным, но всё же считал, что картина неполна. Он сомневался, что сестра Моника Джоан может отвечать по закону, хотя и не мог точно объяснить почему. В итоге он сказал, что суду следует опираться на мнение специалистов, и сел рядом с психиатром.

На кафедру свидетелей вызвали сэра Лоримера Эллиотт-Бартрама. Сестра Моника Джоан подняла глаза от вязания, поймала его взгляд и чарующе улыбнулась, после чего скромно потупилась.

Представитель защиты задал первый вопрос:

– Можете ли вы утверждать, что, согласно результатам обследования, сестра Моника Джоан полностью вменяема?

Для пущего эффекта сэр Лоример долго молчал, прежде чем ответить. Присяжные заинтересованно подались вперёд.

– Это крайне занятный вопрос. Я сам много ломал над ним голову в последнее время. По здравом размышлении, опираясь на наработки Шмеллингворси и Шмитцельбурга по данному вопросу, а также на публикации Кракенбейкера, Коренского и Кокенбуля в «Ланцете», я пришёл к выводу, что вменяемость – лишь плод нашего воображения.

– К чему это он клонит? – прошептал терапевт.

– Придумывает на ходу, – пробормотала психиатр.

– Тишина в зале суда! – провозгласил судья. – Сэр Лоример, прошу пояснить присяжным вашу позицию. Плод воображения?

– И никак иначе. Господа присяжные, кто из вас с уверенностью возьмётся засвидетельствовать вменяемость своего друга? Кто из нас может взглянуть на свою дражайшую жену и определить, что она в здравом уме.

Присяжные записывали, покачивая головами.

– Возможно, вы тогда могли бы сказать, что обвиняемая страдает от деменции? – предположил адвокат защиты.

– Разумеется, нет, – возмущённо ответил сэр Лоример. Он сам был немолод и избегал любого упоминания старческого слабоумия. – Я слышал показания психиатра и хотел бы заметить, что адекватная сенсорная перцепция не может служить отражением объективной реальности, поскольку обусловлена и сформирована множеством индивидуальных факторов – как чувственных, так и внечувственных. На мой взгляд,

психиатры сами создают проблемы, которые затем предлагается решать.

– Не могли бы вы пояснить свою мысль, сэр Лоример?

– Конечно. Психиатрам, как и всем нам, приходится зарабатывать на жизнь. Один и тот же симптом можно рассматривать в терминах как социологии, так и терапии. Если не вмешиваться, большинство людей способны сами справиться со своими трудностями. Если же они верят, что их проблемы решит кто-то другой, горести начинают экспоненциально умножаться.

– Мерзкий старый лицемер, – прошипела психиатр.

– Я читал ваше крайне впечатляющее заключение, сэр Лоример, – продолжал адвокат защиты. – Особенно меня потрясли отсылки к синдрому Корсакова. Не могли бы вы просветить присяжных на этот счёт?

– С лёгкостью. Особенностью психоза Корсакова является то, что фиксации воспоминания может предшествовать своего рода ослабление, препятствующее адекватной интерпретации происходящего. Удержание воспоминаний в краткосрочной и долгосрочной перспективе может отличаться, тогда как их воспроизведение может быть как осознанным, так и стихийным.

– Он несёт подобную чушь ещё с 1910 года, – не удержалась психиатр. – Давно пора лишить его лицензии. Интересно, Генеральный медицинский совет Великобритании в курсе?

– Тишина! – призвал судья. – Прошу, сэр Лоример, продолжайте.

– Зачастую опыт может быть полезен в качестве ключа к разгадке психологических симптомов. В связи с этим фактор субъективного опыта, определяющего генезис психологических симптомов, обладает этиологической значимостью в их происхождении.

– А это типичный пример трёх П, – заметила психиатр.

– Трёх – чего? – переспросил её коллега.

– Трёх П: Плохо Переваренной Пурги.

Представитель обвинения встал:

– Могу я узнать, какое отношение это всё имеет к краже ценных украшений?

– Вот именно! – зашумели ювелиры.

– Тишина в зале суда! Сэр Лоример, при всём уважении к вашим заслугам в области душевного здоровья, я не могу не задать себе тот же вопрос.

– Сестра Моника Джоан – леди выдающегося ума, обладающая плодовитым воображением, – продолжал сэр Лоример. – Она выросла в роскоши. Мысленные связи с детством у неё очень сильны. Раз вышло так,

что у неё обнаружили ценные вещи, я не сомневаюсь, что, в соответствии с синдромом Корсакова, леди сочла, что эти украшения принадлежали её матери.

– Её матери!

– Я именно это и сказал.

– Не верю ни единому слову, – прошептала психиатр. – Это она его научила. Говорю же, она отлично соображает.

– Если он прав, это действительно признак деменции, – пробормотал её коллега.

– Чушь. Старуха знает, что делает.

– Впечатляющая теория, сэр Лоример, – заметил представитель обвинения. – Я бы даже сказал, затейливая. Однако она не приближает нас к пониманию того, как именно драгоценности оказались у сестры Моника Джоан. Есть ли у вас какие-либо версии, сколь угодно затейливые, на этот счёт?

– Нет.

– Больше вопросов не имею, милорд.

Сестра Моника Джоан продолжала вязать, время от времени бормоча что-то себе под нос и делая пометки в карточке. Сэр Лоример сошёл со свидетельской кафедры, и она улыбнулась ему. В половине пятого судья отпустил нас до десяти часов следующего утра.

На третий день показания должна была давать сама сестра Моника Джоан, и в зале собралась толпа. Обвиняемая спокойно ожидала, пока её вызовут, всё так же погружённая в вязание, и время от времени говорила что-то сидящей рядом сестре Джулианне.

В зале появился пристав и для начала подошёл к монахине и прошептал:

– Мадам, пожалуйста, вы не могли бы встать, когда я объявлю: «Встать, суд идёт»?

Сестра Моника Джоан любезно улыбнулась.

– Разумеется, – ответила она и поднялась вместе со всеми.

Заседание открыл представитель обвинения.

– Прошу вызвать для дачи показаний сестру Моника Джоан ордена Святого Раймонда Нонната.

Зал оживился, и присяжные заинтересованно подались вперёд.

Сестра Моника Джоан встала. Она свернула вязание, воткнула спицы в клубок и протянула сумку с рукоделием сестре Джулианне.

– Дорогая, запомните, пожалуйста, как сделать пятьдесят шестой ряд:

одну петлю снимаем, две провязываем вместе как лицевую, потом четыре изнаночных, одну снимаем, три изнаночных, следующие две вместе провязываем лицевой и протягиваем провязанную петлю через снятую – а потом всё заново.

– Конечно, дорогая, – ответила сестра Джулианна и сделала пометку в карточке.

– Я сказала «четыре изнаночных, одну снимаем, три изнаночных, следующие две вместе провязываем лицевой и протягиваем провязанную петлю через снятую»?

– Именно так.

– Я ошиблась: три изнаночных после протянутой, а не до.

– Конечно, так гораздо логичнее.

– Прошу прощения, вы решили вопрос с вязанием? – поинтересовался судья.

– Да, милорд.

– Тогда, возможно, следует начать слушания.

Сестра Моника Джоан проследовала на кафедру свидетелей. Она держалась совершенно спокойно и великолепно выглядела в чёрном одеянии и белом чепце. На её губах играла лёгкая улыбка, глаза шкодливо поблёскивали. Она обожала находиться в центре внимания.

Допрос начал представитель обвинения.

– В полицейском отчёте говорится, что украшения были найдены в вашей сумке для рукоделия. Это заявление соответствует истине?

Сестра Моника Джоан посмотрела на присяжных, затем – на галерею для зрителей. Потом она повернулась к судье и загадочно приподняла бровь. Все следили за её движениями, словно заворожённые.

Голос её звучал звонко.

– Истина. Вечная загадка. «Что есть истина?» – вопрошал Пилат. Человечество ищет ответ на этот вопрос уже многие тысячи лет. Как бы вы определили истину, молодой человек?

– Здесь я задаю вопросы, сестра, а не вы.

– Но это совершенно естественный вопрос. Прежде чем выяснять истину, надо дать ей определение.

Представитель обвинения решил пойти ей на встречу.

– На мой взгляд, истина – это верное изложение фактов. Такое определение вам подойдёт?

– Вы изучали Аристотеля? – спросила сестра Моника Джоан.

– Немного, – скромно ответил её собеседник.

– Истина... Истина – это движение неизбывной мощи, внутри которой

и скрывается божественная истина. В глубинах космоса материя беспрерывно перерождается в небесные тела, трансформируется в скорость света и исчезает из поля нашего зрения. Можно ли считать верным изложением фактов то, что ускользнуло из поля нашего зрения?

– Я не учёный, сестра, я юрист, и мой вопрос касается найденных у вас драгоценностей.

– Ах да, драгоценности. Звёзды есть небесные драгоценности. Но являются ли они фактом? Истинны ли они, или химеричны? Видим ли мы звёзды? Нам кажется, что видим, но это не так: мы видим, каким был их свет много лет назад. Назвали ли бы вы звёзды верным изложением фактов, молодой человек?

– Видите, она мыслит бессвязно, – прошептал терапевт.

– Она умна и сознательно пытается запутать дело, – тихо ответила психиатр.

– Тишина в зале суда! – вмешался судья. – Сестра, мы собрались здесь, чтобы разобраться с украденными украшениями, а не для обсуждения метафизики. Пожалуйста, отвечайте по сути дела.

Сестра Моника Джоан повернулась к судье.

– Суть? Но что есть суть? Эйнштейн утверждает, что суть всего – это энергия. Существенны ли эти украшения по своей сути? Заключена ли в них энергия, летящая со скоростью света за пределы нашего сознания? Являются ли они живой материей, живой энергией, обходящей Землю в ночь апрельского полнолуния, или это всего лишь сухие и безжизненные комья глины, как говорится в полицейском отчёте?

Хотя сестра Моника Джоан обращалась к судье, голос её звенел на весь зал. Она выразительно повела рукой в сторону присяжных, которые слушали как околдованные, хотя и не понимали ни слова.

– Но как к вам попали эти украшения? – спросил представитель обвинения. Она сердито обернулась.

– Я не знаю, молодой человек! Я не ясновидящая, я всего лишь скромный искатель вечных истин. Эти драгоценности, которыми все так заинтересовались, обладают собственной судьбой, собственным сознанием и своей энергией. Когда атом возбуждается, он создает магнитные поля. Вас не учили этому в школе, молодой человек?

Представителю обвинения уже было под пятьдесят, и он явно перестал понимать, что происходит.

– Нет, мадам, этому в школе меня не учили.

– Вас не учили, что всякая материя подчиняется законам гравитации?

– Сестра, я разбираю дело об украденных украшениях. Вы хотите

сказать, что украшения переместились из ювелирных лавок в вашу сумочку благодаря гравитации или магниту?

– Не знаю. Я не ясновидящая. Лишь Господу известны все истины. Вопросы, извечные дурацкие вопросы. Вы утомили меня своими вопросами, молодой человек. Неужели в моём возрасте не положен отдых?

Сестра Моника Джоан подняла руку к лицу и чуть пошатнулась. В зале ахнули.

– Можно присесть? – пробормотала она, и к ней подбежал пристав со стулом. Она слабо улыбнулась. – Вы так добры, так бесконечно добры... бедное моё сердце. Благодарю вас, милорд.

У вас есть ещё вопросы?

– Вопросов больше нет, – сказал представитель обвинения.

Сестра Моника Джоан произвела на всех хорошее впечатление. Хотя большинство присяжных не поняли из её речей ни слова, её искренность и убедительность действовали завораживающе. Возраст и хрупкость вызвали у них сочувствие. Казалось вероятным, что вердикт будет «невиновна».

Судья распустил собрание до двух часов дня.

Дневное заседание открыл представитель защиты.

– Сестра, вы удобно сидите?

– Вполне, благодарю.

– Постараюсь не утомлять вас своими вопросами.

– Вы очень добры.

– Согласно вашему утверждению, вы не знаете, как эти драгоценности оказались у вас.

– Не знаю.

– Но они вам принадлежат?

– Мне ничего не принадлежит.

– Ничего?

– Ничего. Я отказалась от всего имущества, приняв сан. Мы даём обет нестяжательства.

– То есть вы не можете ничем владеть?

– Нет.

– И эти драгоценности никогда вам не принадлежали?

– Никогда.

– Так как они оказались у вас в сумке? – влез представитель обвинения.

Представитель защиты пришёл в ярость:

– Милорд, я протестую! Цель этого вмешательства – запугать подозреваемую. Я сам намеревался затронуть эту тему, но не так

агрессивно, как наш просвещённый коллега!

Судья согласился с этим возражением, но всё же участливо поинтересовался:

– Сестра, если вы монахиня и ничем не владеете, можете ли вы пояснить, как в вашей сумке оказались эти украшения?

– Не могу.

– Вы их туда положили?

– Не знаю.

– Но кто же их туда положил, если не вы?

Видно было, что сестра Моника Джоан устала и ослабела.

– Не знаю, милорд. Наверное, я сама.

– А где вы их взяли?

Она увядала на глазах. День был слишком долгим. Пыл и задор исчезли, и перед нами оказалась усталая старуха, которая сама уже не понимала, что говорит.

– Наверное, из Хаттон-Гарден, раз всё это подтверждает, – она склонила голову и глубоко вздохнула. – Не знаю, зачем уважаемой женщине так поступать, но ведь такое случается... Может, это болезнь? Безумие? Не знаю. Сама себя не понимаю.

По залу пронёсся сочувственный шёпот. Печально видеть, как человек обвиняет самого себя, но сестра Моника Джоан в этой роли выглядела особенно трагично. Стояла такая тишина, что, казалось, пролети в зале муха – все бы её услышали. Судья откинулся на спинку кресла и вздохнул.

– На сегодня заседание окончено. Заключительная речь будет завтра. Заседание начнётся в десять.

На следующее утро в зале суда чувствовалось напряжение. Казалось, что обвинительный вердикт неизбежен. Неужели женщину столь преклонных лет отправят в тюрьму? Возможно, судья назначит ей лечение в психиатрической больнице. Все надеялись, что он попросит присяжных о помиловании.

Сестра Джулианна сидела на том же месте, бледная от переживаний. Сестра Моника Джоан рядом с ней казалась совершенно спокойной – она увлечённо вязала и улыбалась знакомым. Когда пристав приказал встать, она поднялась с места.

Судья открыл заседание.

– Вчера, в семь часов вечера, мне сообщили о существовании сведений, которые проливают свет на это дело. Свидетель прибыл в Лондон этим утром и в настоящий момент готовится дать показания. Пристав,

пригласите, пожалуйста, мать-настоятельница Джезу Эммануэль.

В зале удивлённо зашептались. Сестра Джулианна ахнула и встала, увидев свою настоятельница, благородного вида даму лет пятидесяти со спокойными серыми глазами. Она уверенно прошла к кафедре и принесла присягу.

– Вы преподобная Джезу Эммануэль, мать-настоятельница ордена сестёр Святого Раймонда Нонната? – спросил представитель защиты.

– Да.

– Вы недавно были в Африке?

– Последний год я провела в нашей миссии в Африке. Я вернулась вчера.

– Пожалуйста, расскажите суду то, что сообщили мне.

– Когда я приехала в наш дом в Чичестере, то услышала, что сестру Монику Джоан обвиняют в краже. Я сразу поняла, что это ошибка. Украшения принадлежат ей самой.

Все заговорили одновременно, и судья призвал зал к тишине.

– Прошу, продолжайте, – сказал он.

– Когда монахиня приносит невозвратные обеты, все её имущество переходит ордену.

В некоторых орденах всё забирают окончательно, но не в нашем. Мы храним вещи сестёр всю их жизнь. Если сестра покидает орден или по какой-либо причине нуждается в своём имуществе, она получает его обратно. Сестра Моника Джоан приняла постриг в 1904 году. От матери она унаследовала крупное состояние, в том числе и драгоценности, которые с тех пор хранились в наших сейфах. Сестра Моника Джоан уже очень немолода. У нас принято предоставлять особые привилегии тем, кто выходит на пенсию после того, как прослужил у нас всю жизнь. Зная, что сестра Моника Джоан любит красивые вещи и была бы счастлива обладать украшениями матери, я вернула ей их в свой последний приезд в Ноннатус-Хаус.

– Есть ли у вас доказательства?

– У меня имеется справка о выдаче драгоценностей из банка, и я могу предоставить её.

– Украшения проверены, – вмешался представитель защиты. – Все они соответствуют описи, милорд.

Судья изучил справку.

– Вы никому об этом не рассказывали? – спросил он.

– Нет, милорд, не рассказывала и раскаиваюсь в этом. Во время моего визита сестра Джулианна была в отъезде, иначе бы я ей сообщила. Вскоре

после этого мы начали готовиться к моему путешествию в Африку, и я совсем забыла о случившемся. Больно думать, что мои действия принесли всем столько проблем. Честно говоря, я не посчитала это важным. Украшения не казались мне ценностью – это всего лишь безделушки, которые приносят невинную радость старой женщине и напоминают ей о детстве и матери.

Судья распустил собрание до двух часов дня, чтобы у всех было время обдумать дело. Вызвали ювелира, мистера Самюэльсона, который ранее опознал жемчуг и бриллиантовое кольцо. Он признал, что мог ошибиться. Все сошлись во мнении, что, поскольку сестра Моника Джоан не помнит, как к ней попали драгоценности, её нельзя считать ответственной за содеянное, что бы ни говорила психиатр. Обвинения в мелких кражах сняли.

После обеда судья сообщил, что сторона обвинения отказалась от преследования. Это объявление публика встретила ликованием.

Судья сделал знак приставу, чтобы тот призвал всех к тишине.

– Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что рад исходу этого дела. Сёстры Святого Раймонда Нонната пережили множество излишних тревог. Однако мне бы хотелось сказать им, а также полицейским, стороне обвинения, врачам и всем, кто принимал участие в этом деле, включая журналистов и широкую публику: никогда не стоит спешить с выводами.

Часть III

Старый солдат

Мистер

Джозеф Коллетт

Мы с сестрой Джулианной покинули Ноннатус-Хаус и отправились в квартал многоквартирных домов под названием Альберта-билдингс. Там нас ждал незнакомый мне пациент – мужчина с язвами на ногах, требовавшими ежедневных перевязок. Сестра предупредила меня, что язвы очень серьёзные, а уход за ними на дому отличается от обработки ран в стерильной больнице со всем необходимым оборудованием под рукой. Пациента звали Джозеф Коллетт, ему было больше восьмидесяти лет, и он жил в одиночестве в одной из квартир на первом этаже.

Мы постучали в дверь. Раздались чьи-то шаги. Нам открыл дверь очень старый и довольно неопрятный мужчина. Он глядел на нас сквозь толстые стёкла очков, и по тому, как он пытался сфокусировать взгляд, становилось ясно, что видит он очень плохо. Однако он, вероятно, узнал нас, поскольку распахнул дверь, выпрямился и слегка поклонился.

– Доброе утро, сестра. Я вас ждал. Благодарю, что пришли. Кто сегодня с вами? Новенькая?

– Это сестра Ли. Я покажу ей, что нужно делать, и она будет навещать вас.

Он повернулся ко мне и коснулся моего рукава, как часто делают слабовидящие. Мужчина не был в состоянии меня разглядеть, но, очевидно, пытался оценить рост и общие очертания, по которым мог бы меня идентифицировать.

– Рад знакомству. Уверен, мы с вами отлично поладим. Позвольте, сестра.

Он галантно взял у неё сумку и медленно прошествовал к столу, чтобы поставить её.

– Я вскипятил воду, приготовил флавин и вату. Всё готово.

Сестра Джулианна начала распаковывать сумку, а я огляделась. Пахло неприятно, но я привыкла к этому в подобных жилищах. С грязно-бежевых стен кусками отходили обои, обнажая тёмно-коричневую потрескавшуюся краску. В углу стояли маленькая газовая плита и каменная раковина. Рядом с раковиной находился унитаз – явно позднейшее добавление, не входившее в оригинальный проект. Окна были такие грязные, что в комнату почти не проникал свет. Занавесок не было. В дверном проёме виднелась спальня и кровать с медной спинкой. Общая площадь квартиры

была примерно пятнадцать на восемнадцать футов^[13], и отдельной ванной комнаты здесь не имелось. Для одинокого старика такое жильё подходило, но я знала, что зачастую в подобных квартирах теснятся целыми семьями. Как им удавалось не сойти с ума?

В камине пылал огонь, рядом стояло ведёрко с углём. Я заметила под раковиной медный ящик, полный угля. У противоположной стены высились великолепные напольные часы, а рядом с ними – огромный деревянный сундук, забитый палками и старыми газетами. В центре комнаты стоял тяжёлый деревянный стол (в наши дни торговцы антиквариатом передрались бы за такой), покрытый газетой и уставленный грязными тарелками и кружками. Повсюду валялись старые военные фотографии, карты и репродукции, пожелтевшие от возраста и грязи. Я сделала вывод, что мистер Коллетт был военным.

Наш пациент сел на высокий деревянный стул у камина, снял тапочки и поставил правую ступню на табуретку. Он закатал штанину, обнажив чудовищного вида бинты, пропитанные кровью и гноем. Сестра Джулианна велела мне сделать перевязку под её наблюдением. Я знала, что все отходы придётся оставить в доме у пациента, так что постелила газеты на пол, опустилась на колени и стала разматывать бинты с помощью щипцов. Всё это отвратительно пахло, и я с трудом боролась с тошнотой, снимая слипшуюся ткань и складывая её на газету, чтобы потом сжечь. Это была худшая язва из всех, что мне доводилось видеть: обширная и загноившаяся, она начиналась от лодыжки и тянулась вверх на шесть-восемь дюймов^[14]. Я промыла её физраствором, наложила марлю, пропитанную фламином, и перебинтовала. Теперь мне предстояло проделать то же самое со второй ногой.

Мистер Коллетт не выказывал признаков недовольства – он сидел, посасывая пустую старую трубку, и периодически заговаривал с сестрой Джулианной. Громко тикали напольные часы, в камине потрескивал огонь. Пока я возилась со второй ногой, раздалось гудение грузового парохода. Мне было радостно осознавать, что мои действия приносят облегчение старому солдату.

Я сожгла мусор, упаковала сумку, и мы собрались уходить.

– Не желаете чашечку чая, сестра? – спросил мистер Коллетт. – Я мигом.

– Благодарю, но нам надо спешить.

Мне показалось, что он расстроился, но торопливо ответил:

– Тогда не буду вас задерживать, мэ.

Это «мэм» прозвучало старомодно, но, как ни странно, вполне уместно. – Теперь к вам каждое утро будет приходиться сестра Ли.

Он положил трубку на каминную полку и встал – очень высокий, больше шести футов^[15], и с необычайно ровной осанкой. Он медленно подошёл к двери, открыл её и поклонился нам на прощание.

Воздух казался необычайно чистым и свежим. Во двор въехала телега с углём, с неё спрыгнул огромный дядька и стащил за собой крошечного мальчика, на вид не старше двух-трёх лет. Мужчина стал расхаживать по двору, выкликая: «У-голь! У-голь!» (второй слог составлял превосходную квинту с первым), а ребёнок неуклюже засеменял за ним следом, но тут же споткнулся и упал. Поднимаясь на ноги, он задрал белокурую головку и пропищал: «У-голь!» И снова – превосходная квинта!

Из дверей высыпали женщины и принялись звать мужчину, который разносил им небольшие мешки угля. Ни у кого не было места для хранения, поэтому приходилось то и дело покупать по двадцать пять килограммов. В 1960-е годы, после принятия Закона о чистом воздухе, угольное отопление запретили, но в середине 1950-х для многих это было единственное доступное средство обогрева.

Если вы несколько месяцев подряд навещаете человека, он неизбежно перестаёт быть для вас только пациентом – вы начинаете видеть в нём личность. На процедуру уходило около получаса, и всё это время мы беседовали. Старики зачастую помнят далёкое прошлое лучше недавних событий, и мистер Коллетт много рассказывал мне о своей молодости.

Ни внешним видом, ни манерой разговора, ни повадками он не напоминал обычного кокни. Он был куда выше большинства окружающих и двигался медленно и вдумчиво. Его внутреннее достоинство и чуть церемонные манеры вызывали уважение, и я никогда не пыталась обратиться к нему просто по имени. Он был лондонцем в первом поколении и говорил с характерным акцентом, но в речи его отсутствовали специфический лексикон и грамматика кокни. Его родители работали на наёмной ферме в Сассексе. После принятия Законов об огораживании они были вынуждены отправиться в город на поиски работы. Семья обосновалась в Кройдоне, где в 1870-х годах и родился мистер Коллетт, старший из восьмерых детей. Отец его был художником и оформителем и подрабатывал на стройках. Он частенько оказывался без дела, поскольку в XIX веке ремесло художника целиком зависело от погоды. В краски ещё не добавляли ингредиенты для быстрого высыхания, и для того чтобы просохнуть, им требовалось около четырёх дней. В дождливую погоду любые уличные работы сходили на нет. То же происходило и на стройках –

цемент полностью высыхал только за три дня.

– Отец был хорошим человеком, – рассказывал мистер Коллетт. – Он не допустил бы, чтоб его семья голодала. Всегда можно было подработать на строительстве дорог и путей, и он целыми днями дробил камни. Возвращался домой ночью, мокрый как мышь, еле живой, в кармане – несколько пенни, и мать растирала ему спину и грудь мазью и прикладывала вымоченную в горчице тряпку, чтобы он не простудился. Хороший был человек. Не пропивал выручку в пабах, как теперь часто бывает.

Мистер Коллетт неодобрительно потряс головой, отделил себе порцию табака, измельчил её прямо на заскорузлой ладони и ссыпал в кожаный мешочек, где всегда хранилась яблочная долька: «Чтобы табачок не пересыхал». Меня его табак приводил в восторг – он продавался в виде скрученных листьев. Такой табак курил мой дедушка, и запах пробуждал во мне множество счастливых воспоминаний.

Продавцы хранили его длинными вязанками по два-три фута^[16] (наподобие скрученных чёрных сосисок) и отрезали каждому покупателю по несколько дюймов. Мне нравился аромат (хотя, возможно, он был хорош лишь по сравнению с обычной вонью в комнате), и я радовалась, когда мистер Коллетт закуривал, выпуская густые клубы серого дыма. Многие предпочитали жевать табак и часто беззубые старики высасывали из листьев последние капли сока и сплёвывали.

Мистер Коллетт неизменно предлагал мне чашечку чаю, а я всякий раз отказывалась по двум причинам: во-первых, я совершенно не могла пить крепкий чай, который предпочитали в Ист-Энде, а во-вторых, при одной мысли, что придётся пить из грязных кружек, меня тошнило. Произнести это вслух было невозможно, и я всегда ссылалась на занятость. Он не настаивал, но, очевидно, расстраивался, а как-то раз просто молча кивнул и сглотнул, словно у него застрял ком в горле. Зрение у меня, конечно, было лучше, и знай он, что я за ним наблюдаю, то немедленно бы выпрямился и отвернулся, но я собирала сумку и подглядывала за ним исподтишка. На лице его читались печаль и привычная уже усталость – я вдруг поняла, что он одинок и ждёт моих визитов. Мне захотелось остаться – даже несмотря на то, что я всегда с облегчением покидала эту дурно пахнущую квартиру.

И тут меня осенило. Если налить в грязные чашки кипяток, грязь и жир всплывут на поверхность. Но если налить туда чего-нибудь холодного, то грязь останется на стенках кружки. Отличный план! Я сказала мистеру Коллетту, что не люблю горячие напитки, но с удовольствием выпила бы чего-нибудь холодного – имея в виду что-то вроде апельсинового сока.

Он расплылся в улыбке – словно солнце выглянуло из-за туч в пасмурный день.

– Нет ничего проще, дорогуша.

Порывшись в шкафчике у раковины, он извлёк на свет два изящных хрустальных бокала и бутылку хереса.

– Нет-нет, мне нельзя выпивать во время дежурства. Я имела в виду оранжад или нечто подобное.

Мистер Коллетт поник. Солнце зашло за тучи. Для меня это было мелочью, а для него, очевидно, значило очень много. Я поняла, что мы в неравных позициях, и сказала:

– Ну ладно, ладно, совсем чуть-чуть! Только ничего не говорите сёстрам, а то мне попадёт. Нам запрещено пить в рабочее время.

Я присела за большой стол, и мы выпили на двоих бокал хереса. Теперь нас связывала тайна моего проступка. В комнате было полутемно из-за грязных окон, но в камине пылал огонь, и его алый свет делал обстановку уютной. Глаза мистера Коллетта так и сверкали от удовольствия, и мне казалось, что от радости он даже не может говорить. Несколько раз он промокнул глаза грязным носовым платком, бормоча что-то о насморке.

Для меня это был важный момент. Я поняла, что мистер Коллетт хочет чем-то со мной поделиться, но не знает как. Чашка чая была единственным для него выходом. Разделив с ним секретный бокал хереса, мы стали сообщниками, и для него это было невероятно важно. Вся моя юношеская гордыня утихла при виде того, как искренне счастлив этот человек быть со мной рядом.

В тот день завязалась дружба, которая продлилась до самой его смерти.

Уходя, я столкнулась с соседкой мистера Коллетта, энергичной старухой с корзиной в руках.

– Опять припёрлись к этому неряхе? – выпалила она вызывающе. – Мерзкий грязный старикашка! Неужто у вас нет других дел, кроме как возиться с ним? Тьфу!

Она сплюнула.

– Да кто он такой вообще? Не из наших, это уж точно. Непонятно откуда взялся. И посмотрите только, как он живёт! Сплошная грязь! Омерзительно. Да кто ему вообще разрешил поселиться среди приличных людей?

Она тряхнула головой. Кудри выбивались из-под платка во все стороны, придавая ей крайне воинственный вид. Она пожевала беззубым ртом и повторила: «Омерзительно!», словно чтобы окончательно заклеить безнравственность, и исчезла за дверью, прежде чем я успела

хоть что-то ответить.

Я так и кипела от злости. Да какое право она имеет так говорить про своего соседа? Мне хотелось встать на защиту мистера Коллетта, поскольку эта старуха, очевидно, могла изливать свой яд перед любым, кто готов был её слушать. Безобразие. Конечно, он нечистоплотен, но ничуть ни хуже многих, да к тому же он почти не видит. После хереса по телу разливалось приятное тепло, а это внезапное нападение на уважаемого мной человека заставило мою кровь забурлить. Неудивительно, что ему одиноко, с такими-то соседями!

За обедом в Ноннатус-Хаусе я возмущённо рассказала об этом случае. Сестра Джулианна попыталась меня успокоить:

– Мы часто видим такое среди местных стариков. Они не доверяют посторонним – ни из Докленда, ни даже с соседней улицы. Если верить всему, что они говорят, придётся считать всех злодеями и убийцами, втайне избивающими жён и старушек. Не уверена, но, кажется, оба сына мистера Коллетта погибли в Первую мировую войну. Если это так, то мы обязаны ему сочувствовать.

Она мягко улыбнулась и больше ничего не сказала.

На следующий день на столе мистера Коллетта стояла бутылка апельсинового сока. «Надо же, – подумала я, – он, вероятно, специально для меня ходил за покупками». Мне хотелось разузнать про его сыновей, но я сдержалась. Расскажет сам, если захочет. Вместо этого я спросила его про детство в Кройдоне.

– Это было хорошее место для ребяташек. Тогда Кройдон был сельским уголком – повсюду поля, фермы и ручьи, где играли дети. У нас не водилось денег, но всё же мы жили лучше многих, а мать превосходно вела хозяйство. Она могла приготовить обед буквально из ничего, а у отца имелся огород, так что мы всегда ели свежие овощи. Но всё это закончилось трагично.

Он умолк, отщипнул себе ещё табака и набил трубку. Я забинтовала первую ногу и занялась второй.

– Что случилось?

– Отец умер. Рухнули леса на стройке, где он работал. Пятеро человек погибли. Все из-за того, что эти леса небрежно сколотили. Вдовам и детям погибших ничего не выплатили. Мать не могла позволить себе арендную плату, и нам пришлось съехать. А дом был хороший, – добавил он задумчиво и пососал трубку.

Комнату наполнили клубы дыма.

– Не помню уже, куда мы переехали, в какое-то жильё поменьше да

подешевле. Мы всё время мотались с места на место, и каждый новый дом был теснее предыдущего. Мне исполнилось тринадцать, я был старшим. Я сразу же ушёл из школы и попытался устроиться, но тогда работы нигде не было.

Джо прошёл множество миль в поисках вакансий – на ферме, на стройке, с лошадьми, на железной дороге. Но тщетно.

– Единственное место, которое мне удалось найти, – там, где отец дробил камни в плохую погоду. Но работа была сдельной, а я был для неё и маловат, и слабоват. За целый день тяжкого труда мне почти ничего не платили. Помню, как мать разрыдалась, когда увидела меня вечером. Она сказала: «Больше ты туда не пойдёшь, сынок. Не хочу, чтобы ещё и ты умер». Мужики там горбатились крепкие, зачастую пьющие, а орудовали они пятнадцатифунтовыми молотами^[17]. Можно себе представить, что было бы, если бы попали в меня, а не по камню.

Я сняла вторую повязку.

– И что было дальше?

– Мы переехали в Лондон. Не знаю почему: может, матери сказали, что здесь найдётся работа для неё или меня. Поселились тут, в Альберта-билдингс. Отсюда видно нашу старую квартиру – на пятом этаже, вторая справа, у лестницы. Там была всего одна комната, наподобие этой, но без водопровода и туалета, конечно. Кажется, там имелось газовое освещение – когда нам хватало средств за него заплатить. Стоило это недорого, но даже ради этих денег матери приходилось вкалывать день и ночь, чтобы у нас была крыша над головой. С момента смерти отца она ни на день не переставала трудиться.

Мать Джо убиралась, таскала тяжести, стирала и гладила. В те дни, по его словам, в Альберта-билдингс были неплохие прачечные. Кроме того, она штопала одежду для торговцев подержанными вещами, ремонтировала зонтики и изготавливала тенты от солнца.

Она обратилась за помощью в комитет призрения, но ей отказали на том основании, что она не местная. В качестве уступки председатель комитета предложил ей забрать троих детей и отдать их в работный дом – с оставшимися пятью будет гораздо легче. Когда она отказалась, её упрекнули в неблагодарности и недалёковидности. Ей велели больше не приходить, мол, ещё раз предлагать не будут, после чего её выставили с пожеланием справляться самой.

– И она справилась, хотя я и не знаю как.

У нас была крыша над головой и достаточно еды, чтобы не умереть с голода. Но огонь мы разводили редко, даже в холод. Обуви у нас не

имелось, и одевались мы в тряпье. Вокруг нас жили такие же бедняки, да к тому же и пьющие. Большинство мужчин закладывали за воротник, и насилие в семьях было обычным делом. Зачастую отчаявшиеся женщины топились в реке. Каждую неделю сообщали, что выловили очередное тело, и это всегда были женщины. Вообразите, как жили дети – в постоянном страхе, что это произойдёт с их матерью...

Он помолчал, задумчиво посасывая трубку, а потом хмыкнул:

– Удивительно, конечно, как малыши готовы мириться с чем угодно, если чувствуют, что их любят и оберегают. Хотя мы вечно мёрзли и голодали, мои братья и сестры постоянно смеялись, играли во дворе, выдумывали что-то. Я никогда не слышал их жалоб. Но я был другим. Когда умер отец, мне было тринадцать: я ещё помнил прошлую жизнь и ненавидел нынешнюю. Я страдал, когда видел, что бедная мама за копейки горбатится по восемнадцать-двадцать часов в день. По ночам она штопала рубашки при свечах, в стылой комнате, на голодный желудок, и всё это – за шестипенсовик. Подобная несправедливость меня убивала. Разумеется, я каждый день искал вакансии, но времена были тяжёлые, и мне доставались только случайные приработки: подержать лошадь, сбегать за чем-нибудь, подмести двор. Я всё пытался получить место в порту. Казалось бы, в лондонском порту должно быть много работы, да вот только претендентов на неё было ещё больше. На каждое место приходилось с десятков желающих; у паренька вроде меня не было шансов.

В те дни подобная работа доставалась в основном тем, чьи отцы и деды трудились в порту, объяснил мистер Коллетт. У портовых ворот разворачивались страшные сцены: сотни обезумевших от отчаяния голодных оборванцев сражались за то, чтобы подработать где-то несколько часов. Каждый день выбирали полусотню человек, а ещё пять сотен оставались праздно шататься по улицам. Не удивительно, что здесь так легко вспыхивали драки.

– Во время отлива мы копались в иле. Некоторые находили что-то ценное, я – никогда, разве что куски угля, выпавшие с баржи, и коряги. Этим хотя бы можно было растопить камин. Больше всего меня расстраивало презрение окружающих. Я искал честный заработок, а меня называли оборванцем, паразитом, деревенщиной, проходимцем, жуликом. Они видели, что я худой, голодный и дурно одет, и только поэтому считали меня вором!

Мистер Коллетт сжал губы. Лицо его так и застыло при воспоминании об этих оскорблениях.

Я закончила перевязку второй ноги, но продолжала сидеть на коленях,

глядя на него и размышляя, что опыт стариков, конечно, гораздо интереснее бессмысленной болтовни юношей.

Он выпил чаю, я – стакан апельсинового сока. Это был удачный компромисс, поскольку мне достался пыльный, но не грязный стакан.

Я наслаждалась его обществом, мне не хотелось уходить, а он казался таким счастливым. Повинуясь импульсу, я вдруг сказала:

– Мне пора, но у меня сегодня свободный вечер. Можно заглянуть к вам на бокальчик хереса, и вы расскажете, что было дальше?

Ответом мне послужила неприкрытая радость у него на лице.

– Можно ли? Вы спрашиваете? А я отвечу, что можно и нужно, девочка моя!

Юный Джо

Возвращаясь в Ноннатус-Хаус, я задумалась, не было ли ошибкой моё обещание вернуться. Медицинских работников предостерегают, что дружба с пациентами иногда оборачивается сложностями. Это не запрещается, но и не поощряется – и не зря. После обеда я поделилась сомнениями с сестрой Джулианной. Она, впрочем, ничуть не удивилась.

– Ну, раз уж вы сказали, что придёте вечером, отказываться нехорошо. Это уже будет неоправданной жестокостью. Ему, очевидно, одиноко, и ваш визит его порадует. Вы хорошо проведёте время. Мне кажется, это очень интересный человек.

Получив благословение сестры Джулианны, я успокоилась и с лёгким сердцем вернулась в Альберта-билдинг к восьми часам вечера.

Мистер Коллетт так обрадовался, увидев меня, что никак не мог успокоиться. Он постарался и надел чистую рубашку, жилет и до блеска начистил ботинки. Как и все бывшие военные, он не оставил привычку полировать обувь, и в комнате сильно пахло воском. Со стола исчезли грязные тарелки, кружки и газеты – на их месте стояли два изящных хрустальных бокала и полбутылки хереса. В камине пылал огонь, и по замызганным стенам плясали тени.

– Я так боялся, что вы не придёте, но всё же вы тут.

Он медленно и осторожно направился к креслу.

– Здорово, что вы навестили меня. Присаживайтесь. Счастлив вас видеть.

Я была тронута и чуть смущена таким приёмом и неловко присела, не зная, что сказать.

– Вы пришли. Вы здесь, – повторил он. – Как хорошо.

Очевидно, следовало что-то ответить.

– Конечно, пришла. И никуда не сбегу, поэтому давайте выпьем хереса и поговорим о старых добрых временах.

Он рассмеялся от удовольствия, направился к столу, взял бутылку и принялся шарить в поисках бокалов. Я поднялась, чтобы помочь, но он запротестовал:

– Нет-нет, я справлюсь. Обычно мне приходится управляться самому.

Он разлил по бокалам херес. Руки у него тряслись, и изрядное количество жидкости выплеснулось на стол, но он ничего не заметил. Я вдруг поняла, что в комнате так пахло во многом из-за того, что здесь постоянно роняли еду и разливали напитки. Кроме того, тут воняло

грязным туалетом, нестираной одеждой и насекомыми, заполонившими Альберта-билдингс. Интересно, помогает ли ему кто-нибудь по хозяйству?

Об этом, впрочем, думать не стоило. Если он не замечает грязь и всем доволен, к чему такие замечания? Сестра Джулианна велела мне хорошо провести время – на этом и следовало сосредоточиться.

Я сделала глоток хереса.

– Замечательно. У вас очень уютно, и вы развели чудесный огонь. Вы мне рассказывали о своём детстве. Была бы рада услышать продолжение.

Он поудобнее устроился в кресле и положил ноги на табурет (при язвенной болезни следует как можно чаще держать ноги поднятыми), вытащил табак и перочинный нож и принялся готовить трубку. До меня донесся аромат крепкого табака. Он отхлебнул хереса.

– Великолепно. В юности я и не мечтал о подобной роскоши. Огонь каждый день! Тёплая постель по ночам! Еда в достатке... Государство платит за квартиру, потому что я слишком стар для работы, и даёт мне десять шиллингов и шесть пенсов в неделю, чтобы я покупал себе всё, что нужно, включая и бутылку хереса. Бедная моя милая мама и не рассчитывала на такую щедрость.

Он медленно и осторожно нарезал табак, разложив его на ладони. Выглядело это пугающе – казалось, что он сейчас поранится, поскольку плотные листья приходилось отделять с усилием. Но опыт подсказывал ему, когда нажать посильнее, а когда отпустить, и он ни разу не порезался. Он действовал на ощупь – глаза здесь были не нужны. Он медленно взял табак и засыпал его в трубку, после чего достал длинную щепку из стоящего рядом горшка и сунул её в огонь. Щепка вспыхнула, он поднес её к трубке и втянул воздух. Пламя охватило табак. Мистер Коллетт с довольным видом запыхтел, и в воздух поднялись клубы дыма. Он задул огонь и бросил обожжённую щепку обратно в горшок. Точно так же делал и мой дед.

– Настоящая роскошь, – сказал он с довольной улыбкой. – Я вам уже рассказал, как мы поначалу жили в Попларе после смерти отца, как бедной маме приходилось трудиться днём и ночью и как мне всё не удавалось найти нормальную работу, чтобы помочь ей. Была, впрочем, у меня одна работка, самое то для паренька, который ищет приключений.

Я как раз был в Блэкуолл-Степс, ждал, пока наступит отлив, чтобы пойти собирать ракушки. И тут ко мне подходит какой-то человек и спрашивает: «Эй, парень, рагу готовить умеешь?» – «Да, сэр», – я в ту пору на всё соглашался.

«А освежевать кролика можешь?» – «Да». – «А рыбу разделать?» –

«Да». – «А готовить чай и какао?» – «Да, сэр». – «А почистить фитиль и заправить лампу?» – «Да, сэр». – «Ты-то мне и нужен. Мой юнга дал дёру. Поплывёшь с нами сегодня?» – «Куда скажете, сэр». – «Приходи, когда начнётся прилив. Ищи баржу “Британский лев”. Плачу флорин в неделю, жить будешь на всём готовом».

Всё произошло так быстро, что я и дух перевести не успел. Я побежал обратно в Альберта-билдингс, в прачечную, где горбатилась мать, и сказал ей, что нанялся юнгой на баржу. Она, впрочем, не обрадовалась. Выступила против. Мы поссорились, и я крикнул, мол, погоди ещё, вернусь богачом, тогда увидишь.

Обратно я побежал как был – ни смены белья не взял, ничего. В прилив к берегу подошёл «Британский лев», и я взобрался на борт. Это было лучшее время в моей жизни, все мальчишки о таком только и мечтали. Я провёл там полгода. Баржа перевозила всё подряд – кремень, уголь, дерево, кирпичи, песок, шифер. Мы доставляли уголь в Кент, забирали оттуда кирпичи и везли их обратно в Лаймхаус. В те дни на реке так и теснились торговые суда, от огромных океанских баржей до крохотных яликов. Баржу издали получалось отличить по красным парусам, и зачастую со стороны было видно только парус да рубку. Баржи были такими низкими, что при полной загрузке палуба целиком уходила под воду. Да-да, так и было.

Услышав мой недоверчивый возглас, он расхохотался и затаился.

– Люди глазели на нас с берегов, поскольку видели только красный парус да людей по колени в воде, будто у них под ногами ничего нет.

Я был настолько счастлив, насколько это возможно. Готовил рагу, заправлял лампы, учился управлять шлюпкой и не горевал, когда не платили. Шкипер вечно твердил, что рассчитается со мной после следующего рейса. Наконец его помощник сказал мне, что этот ублюдок никогда не заплатит, что он вечно так делает и все юнги в конце концов сбегают. Для меня это стало шоком. Я мысленно уже сложил заработанные флорины и после первых десяти недель рассчитывал на фунт, а после двадцати – на два. Я мнил себя богачом, только денег у меня так и не было. На мой вопрос шкипер ответил, что расплатится после следующего рейса, когда заработает.

Следующий рейс закончился, но денег так и не было. Еще несколько – и всё по-прежнему. Я разозлился и сказал, что, если он не рассчитается со мной, я уйду. А он только улыбнулся и ответил: после следующего, мол, Джо, ты мне поверь. Ну, тут я уже понял, что денег мне не видать, и, когда мы вернулись в Лаймхаус, я сбежал.

Он умолк и затаился, но трубка погасла, поэтому он отрезал щепку перочинным ножом и поджёг её. Пламя едва не обожгло ему брови, и я с тревогой подумала, что однажды он может устроить пожар. Он плохо видел, и руки у него тряслись. Сколько же таких стариков играет с огнём в этих квартирах?

– Понимай я, что происходит – не ушёл бы с баржи, пусть там и не платили. Я был там счастлив и занят делом, а что ещё нужно мальчишке? Шкипер с помощником были неплохими людьми. Мы хорошо ладили. У меня была еда и койка. Чего ещё нужно в жизни? Зачем нужны деньги? Беда в том, что шкипер пообещал мне флорин в неделю, и я на это рассчитывал. Если б он с самого начала предложил мне учиться навигации и обращению с лодкой за бесплатно, я бы согласился, и мать бы мной гордилась. Но он соврал мне, и это было его ошибкой – и моей бедой.

Джо ушёл, думая, что легко устроится на другую баржу. Но работы не было. На прочих баржах шкиперы с помощниками работали по двое, поскольку никто не мог себе позволить платить юнге. Только на «Британском льве» имелись юнги – поскольку им не платили. Джо целыми днями слонялся по берегу и причалам, умоляя взять его на борт, но всё впустую.

За полгода на реке он загорел и окреп от работы на свежем воздухе. Он ловил кроликов и рыбу или воровал морковь и репу на прибрежных полях и благодаря хорошему питанию изрядно подрос. Густонаселённый Поплар, душные дома и тесные улицы давили на него, а недостаток солнца и свежего воздуха чуть не свёл с ума. Еды не хватало, и он снова побледнел и исхудал. На барже он держался прямо, и глаза его сверкали от гордости за свою должность юнги. На улицах он сутулился и волочил ноги, а взгляд его потух. Но хуже всего были мысли: он понимал, что стал одним из тысяч выброшенных на берег в Докленде, невымытых, голодных, оборванных, неграмотных, без каких-либо перспектив в жизни. Ему было пятнадцать лет.

Из всех доступных для мальчика вариантов самой тяжёлой и унылой была работа в порту. Джо мог бы продолжать поиски, и ему, конечно, стоило так и поступить, но, попробовав на вкус речную жизнь и работу с грузами, он не желал признавать себя сухопутной крысой. Большую часть времени он слонялся у затвора дока в толпе голодных оборванцев, мечтающих получить место. Здесь в любой момент могла завязаться драка.

Естественно, мать переживала за него. Ей радостно было видеть сына окрепшим и выросшим после полугода на барже. Узнав, что его обманули, она, конечно, пришла в ярость. Но сделать ничего было нельзя, и она

мудро решила промолчать и просто радовалась, что сын вернулся и так хорошо выглядит. Но, заметив, как на него давят долгие месяцы бедности и безработицы, она стала волноваться. Кроме того, теперь ей приходилось его содержать. Она зарабатывала на жизнь преимущественно стиркой. Старшие дочери ушли из школы и вкалывали на фабрике по производству рубашек. Джо знал, что его кормит тяжкий женский труд, и всё в нём восставало против. В тринадцать он мечтал занять место отца и содержать семью. Теперь же, два года спустя, пришлось признать, что он не просто не зарабатывает, но ещё и сидит на шее у женщин.

– Опустившись на самое дно, я встретил рекрута... – продолжал он. – Подождите, а который час? Я сижу здесь, болтаю, а вы, душечка, так слушаете, словно вам интересны все эти стариковские рассказы. Простите, мне не так часто выдается случай поговорить. Надеюсь, я вас не утомил.

В этот момент напольные часы торжественно отбили четверть часа.

– Сколько сейчас? Четверть одиннадцатого?

– Нет. Четверть двенадцатого.

– Быть того не может! Как же летит время, когда я счастлив. Я разговорился, а вам нужно идти, девочка моя. Вам завтра работать и надо хорошенько выспаться.

Мне пришлось уверить его, что он совершенно не утомил меня, что мне необычайно интересно его слушать, и я прекрасно провела время. Конечно, мне было пора, но я пообещала ещё заглянуть к нему на херес, чтобы провести вечер в хорошей компании и услышать продолжение.

Поднявшись на ноги, я взглянула на камин и с удивлением увидела на дымовой трубе большое чёрное пятно неровной формы, которое к тому же словно шевелилось или мерцало, как масло или что-то мокрое. Раньше я этого не замечала и из любопытства подошла поближе, чтобы разглядеть.

Когда я поняла, что́ передо мной, то мне пришлось зажать себе рот, чтобы не закричать от ужаса. Чёрное пятно состояло из тысяч жуков. Я уже слышала, что эти квартиры кишат насекомыми, но никогда их раньше не видела. Они жили в щелях стен и потолков на всех этажах и в каждой квартире, выползали по вечерам, влекомые теплом, и избавиться от них было невозможно. Они исчезли только через несколько лет, когда эти здания снесли.

Я стояла не двигаясь, словно приросла к месту, и в ужасе оглядывалась, понимая, что на самом деле насекомые повсюду. Стало казаться, что у меня начался зуд. Мне вспомнился ужасный случай из учебной поры, когда к нам в больницу поступила старая цыганка, сгорбленная, с обветренной

кожей и грязными всклокоченными патлами. На третье утро мы обнаружили, что белая подушка под ней почернела – от вшей. Волосы её были покрыты тысячами яиц, которые раскрылись в тепле больничной палаты. Мне вместе с другими молодыми медсестрами пришлось отмывать её. Она сопротивлялась, и вши скакали повсюду – у нас ушёл не один день, чтобы избавиться от них. Неудивительно, что меня охватил зуд при виде жуков!

Мистер Коллетт, к счастью, не разглядел ни насекомых, ни моего лица. Он с улыбкой протянул мне руку. Я кое-как собралась с силами, попрощалась и снова поблагодарила его за чудесный вечер.

Выйдя на улицу, я поёжилась – и от холода, и от омерзения – после чего оседлала велосипед и направилась в Ноннатус-Хаус, мечтая о горячей ванне.

Рекрут

У меня перед глазами стояли жуки, и я дурно спала. Мне снилось гигантское чешуйчатое чудовище, которое росло как на дрожжах и готовилось прыгнуть на меня. Распахнув ужасающие челюсти, оно хищно заревело, и я с криком проснулась. Это оказался будильник. Дрожа от ужаса, я огляделась, но никаких насекомых вокруг не было. Я раздвинула занавески и осмотрела комнату. Ничего. Я не могу туда вернуться. Это слишком ужасно.

К завтраку я спустилась бледная, с опухшими глазами, и вяло ковыряла свои хлопья за большим кухонным столом.

– Да что с тобой? – требовательно спросила Трикси. – Я-то думала, что ты восьмидесятилетнего старика навещаешь. Или это был восемнадцатилетний старик?

– Да замолчи ты! – огрызнулась я и рассказала девушкам о насекомых. Они в ужасе заахали, а Трикси, самая эмоциональная из всех, пригрозила придушить меня, если услышит ещё хоть слово. Синтия смотрела на меня с сочувствием, а Чамми воскликнула:

– Иосафат великий! Просто кошмар! И что ты сделала?

В этот момент откуда-то из-за котла раздался странный звук – бульканье, словно один из клапанов дал течь. Мы совсем забыли про Фреда, нашего истопника и разнорабочего, который как раз возился в золе. Бульканье стало громче и завершилось свистящим всхлипом. Мне показалось, что Фред разделяет мой страх и сочувствует мне. Или нет? Он набрал в грудь воздуха, запрокинул голову и расхохотался. Из глаз его потекли слёзы, он закашлялся и выронил окурочек, который отлетел на несколько футов^[18]. Согнувшись в три погибели, он так и затрясся от хохота, после чего вытащил из кармана замусоленный платок, промокнул глаза и высморкался.

– Вы меня когда-нибудь в гроб вгоните, ей-богу! Боже правый! Да я же не сдержусь, коли ещё что-то такое услышу. Старухе своей расскажу, вот она посмеётся, штаны небось намочит. Любит повеселиться старушка моя, только вот воду уже совсем не держит.

Я была оскорблена. Подобная реакция показалась мне совершенно неуместной.

Увидев моё лицо, Фред вновь принялся булькать и кашлять.

– Столько шума из-за пары жучков! – воскликнул он, когда снова обрёл дар речи.

– Не пары, а доброй тысячи! – возразила я возмущённо.

– Иосафат великий! Просто кошмар! И что ты сделала? – передразнил он Чамми. Та залилась краской. Большинство кокни посмеивались над акцентом Чамми, но раньше Фред такого себе не позволял. Она очевидно расстроилась, и мне стало за неё обидно.

– Ничего не сделала, – отрезала я. – В любом случае, это не ваше дело, и можете поверить, это действительно был кошмар.

Он вновь согнулся от хохота.

– Ладно-ладно, мисс Кошмар, не волнуйтесь так. Извините уж, что не напугался, а я видел слишком много жуков, чтобы их теперь бояться!

В этот момент в кухню вошли сёстры и спросили, что происходит. Я в подробностях описала происходящее, упирая на то, что из-за полчищ насекомых всю ночь не могла заснуть, и преувеличила разве что самую малость.

Впрочем, сочувствия я от них не дождалась. Сестра Евангелина хмыкнула:

– Естественно, многие дома так и кишат жуками. Странно, что вы их раньше не замечали. Не пугайтесь, они вас не тронут.

– Я как-то ночью принимала роды при свете газовой лампы, – добавила сестра Бернадетт. – На стене над кроватью висела калильная сетка, так вокруг неё был чёрный круг, в точности как вы описали. Прямо над головой у роженицы!

Сестра Джулианна меж тем зажимала себе рот – видимо, чтобы не рассмеяться, особенно когда Фред стал ей подмигивать.

– Мы все пугаемся, когда первый раз сталкиваемся с подобным, – сказала она. – Поймите, эти насекомые живут в зданиях, люди их не интересуют. Опасно то, что они переносят тиф, но поскольку здесь не было вспышек инфекции с 1930-х годов, думаю, вам нечего бояться. И вам, безусловно, придётся вернуться в ту квартиру сегодня же утром, чтобы перевязать язвы мистера Коллетта.

С этими словами она вышла из кухни и отправилась заниматься своими утренними обязанностями. Я впила ногтями в ладони и сжала зубы. Честно говоря, я надеялась, что мне разрешат не возвращаться к мистеру Коллетту. Если бы ему сказали, что вместо меня теперь будет приходиться другая медсестра, ему пришлось бы согласиться. Что же делать? Ничего. Твёрдости в сестре Джулианне было не меньше, чем праведности, и выбора у меня не оставалось. Следовало взять себя в руки.

– Пойдём, – шепнула мне Синтия. – Выйдем в приёмную, подальше от Фреда.

Её нежный голос действовал на меня успокаивающе, но вот к содержанию её речи я оказалась не готова.

– Хватит. Тебе же не свойственно так себя накручивать. Если насекомые живут во всех зданиях, значит, мы постоянно с ними сталкиваемся, просто не замечаем. Не видишь их, так и не думай о них. Давай, выброси это из головы. Может, ты их вообще больше не встретишь.

Я понимала, что Синтия права. Её мягкая улыбка чудесным образом расставила всё по своим местам. Мы со смехом вытащили велосипеды и принялись накачивать шины. Обходы всегда помогали нам проветриться.

Мистер Коллетт открыл мне дверь с радостной улыбкой.

– Добро пожаловать, дорогая моя, надеюсь, вы хорошо отдохнули. Я давно не был так счастлив, как вчера.

Я не стала говорить, что полночи не могла заснуть, но задумалась: что было бы, если б я не пришла? Он бы наверняка что-то заподозрил и стал бы во всё винить себя. Больно было представить, как бы он страдал.

Снимая повязку, я заметила:

– Состояние улучшилось. Почему вы раньше не лечили свои язвы?

– Ну, мне не хотелось никого беспокоить. Они у меня уже много лет, и я сам неплохо справлялся. А потом пошёл как-то к врачу насчёт зрения, а он заметил, что я хромаю, и попросил показать ноги, ну и устроил так, чтобы сёстры меня навещали.

Я и не искал лечения. Не знал, что всё так плохо.

Это были худшие язвы, что мне доводилось видеть, а он считал, что они недостаточно плохи, чтобы их лечить! Я спросила, откуда они взялись.

– Ранило во время войны. Вроде бы всё зажило нормально, но слабость чувствовалась. А потом началось: сначала маленькие язвочки, потом побольше. Но грех жаловаться. Почти всю жизнь ноги служили мне верно. Такие мелочи всегда приходят с возрастом.

«Мелочи, – подумала я. – Сложно назвать такие язвы “мелочами”!»

Услышав про ранения, я вспомнила про рекрута, о котором совсем позабыла, увидев жуков.

– Вчера вечером вы обещали поведать мне, как встретили рекрута.

Он поудобнее устроился в кресле. Тем утром он начал рассказывать мне историю, продолжение которой я слушала в последующие визиты, зачастую за бокалом хереса по вечерам.

– Мне было пятнадцать, почти шестнадцать, и если б этого не произошло, то я б наверняка пошёл по скользкой дорожке. Работы не было, и я как раз встретил одного парня, который ничем не гнушался. Он всегда был при деньгах. Младше меня, но куда сметливее. Мы сошлись. Не стану

рассказывать, что мы творили, я этим не горжусь. Как-то раз он предложил пойти в Вест-Энд, где наживы было побольше. Я там раньше никогда не был. Помню, как меня поразили огромные здания, шикарные улицы, экипажи, нарядно одетые леди и джентльмены. Мы болтались на Трафальгарской площади. Глаза у меня так и лезли на лоб, особенно при виде солдат в алых камзолах и чёрных брюках. Один из них подошёл к нам. Мне очень польстило, что он хочет с нами заговорить.

Он со смешком выпустил клуб дыма.

– Мне казалось, что это особая честь. Я не знал, что они каждый божий день охотились на пареньков вроде меня.

«Ну что ж, молодой человек! – Он обращался ко мне, а не к моему другу. – Неужто вам в такой погожий денёк нечем заняться?»

Предполагаю, что я пожал плечами и глупо улыбнулся.

«А вы видали когда-нибудь солдата без дела?»

Я не видал, но, сказать по правде, солдаты мне вообще раньше не встречались, и теперь я был совершенно потрясён, что меня удостоили разговором – такая выдающаяся фигура вдруг решила обратить внимание на меня!

Потом он спросил у меня, что я ел на завтрак.

Я ответил, что ничего.

«Ничего! – вскричал он. – Ничего! Да я ничего подобного в жизни не слышал! Вы что, правда сказали “ничего”?»

Я кивнул.

«Неудивительно, что вы такой тощий, простите уж мне такую фамильярность, но сами понимаете, такие вещи сразу заметны. Взгляните-ка на меня».

Он любовно похлопал себя по брюшку.

«Бекон, печень, студень, свежие яйца и грибы. И хлеб с подливой, сколько влезет, и пиво, ежели вы из тех, кто пьёт пиво на завтрак, или же кофе и чай со свежими сливками и барбадосским сахаром. Вот какой завтрак нужен мужчине. А вы говорите “ничего”? Это невероятно. Невероятно».

Он потряс головой, будто и вправду его это потрясло.

«Ну ладно, молодой человек, пойдёмте со мной. У моего друга тут неподалёку пивная, так он из любезности ко мне найдёт, чем вас накормить».

У него доброе сердце, и, когда я ему скажу, что моему приятелю – ежели вы позволите мне так вас называть – нечем было позавтракать, он наверняка дрогнет. А ты отойди», – бросил он моему товарищу, который

шагнул к нам при упоминании завтрака.

Солдат приобнял меня за плечи и повёл в пивную. Внутри было темно и накурено: войдя с залитой солнцем улицы, сложно было что-то разглядеть. Солдат отвёл меня к столу и усадил.

«Билл! – заревел он. – Билл! Что ж теперь, весь день пинту портера ждать? Живее!»

Из темноты показалась массивная, откормленная фигура хозяина.

«Пинту твоего лучшего для меня, а другу моему – Господи прости, я ведь и имени твоего не знаю, а мне с тобой так легко, точно мы всю жизнь знакомы». – «Меня зовут Джо Коллетт». – «Джо! Вот это совпадение! Моего младшего брата зовут Джо! Такой же рослый красавец, как и ты. Хороший он парень, такой шутник! Помнишь, как мы тут дурачились с Джо, а, Билл? Вот деньки-то были. Он теперь командует в драгунском гвардейском полку, у него и слуга есть, и экипаж, и денег гора. Но тут уж я увлёкся. Так, Билл, мой юный товарищ Джо малость устал и, к несчастью, пропустил завтрак».

Хозяин был удивлён.

«Пропустил завтрак? Мужчине никак нельзя пропускать завтрак. Вот же беда».

Он похлопал себя по животу и сочувственно мне улыбнулся. Сержант многозначительно подмигнул.

«Вот же! Я ж знал, Билл, что ты поймёшь, как всё серьёзно. Я так Джо и сказал у фонтана, мол, отведу тебя к моему другу Биллу, он тебе поможет. Ну что, есть у тебя что-нибудь на кухне, а? Ничего шикарного, конечно, у Джо при себе маловато денег».

Я забеспокоился, поскольку денег у меня при себе не было никаких. Но прежде чем я успел что-то сказать, хозяин заявил: «За наш счёт, сержант, за наш счёт. Принимать гвардейцев – для нас честь. А твои друзья – мои друзья. Ну что, молодой человек, как вы смотрите на требуху с остатками вчерашнего горохового пудинга с поджаристой корочкой?»

Я не верил своему счастью. Это был поистине королевский обед.

«А вы любите хлеб с подливкой?»

Да я обожал хлеб с подливкой!

Этого обеда хватило бы на двух королей. Я ел и ел, а сержант молча курил трубку, пил портер и поглядывал в окно на голубей, сражающихся на подоконнике.

«Ты был голоден, друг мой», – сказал он, когда я доел.

Я кивнул и горячо его поблагодарил.

«Не стоит, дружок. Ты же слышал, что сказал хозяин: принимать

гвардейцев – настоящая честь. У нас так постоянно. Со временем привыкли. Нас где угодно встречают как коронованных особ. Все так и лезут из кожи вон. Ты когда-нибудь видел голодного солдата? Конечно, нет».

Он выпустил облако дыма и велел принести себе ещё пинту портера.

«Между нами говоря, эль тут особый. Старый Билл сам его варит. Ежели ты знаток хорошего пива, а наверняка так и есть, тебе он придётся по вкусу. Впрочем, может, ты предпочитаешь кофе после завтрака?»

Хороший вопрос пятнадцатилетнему парнишке! Билл принес две пинты портера, и я рассказал, что мой отец умер.

«Бедная твоя мать, – хрипло сказал сержант и извлёк на свет платок. – Моего отца не стало, когда я был совсем юным, – куда моложе тебя, конечно, мне тогда было шестнадцать, и моей бедной матушке пришлось тяжело работать, чтобы прокормить нас». Он высморкался и промокнул глаза. «Что бы человек делал без матери? Она жертвует всем, чтобы спасти семью, и не думает о себе. Мы не в силах отблагодарить их. Наша матушка теперь живёт в уютном домике в деревне – мы с моим братом, Джоном, заработали на него в армии».

Я заметил, что до этого он говорил, что его брата зовут Джо.

«Джо, разумеется. Джон – это мой второй брат, я тебе про него ещё не рассказывал. Эй, Билл, принеси нам ещё эля, да поживей».

Я переспросил: «Домик в деревне?»

«Так точно, – кивнул он. – Самое малое, что мы могли для неё сделать. Мы с моим братом Джо – хороший он парень! – откладывали то, что нам платили в армии, и теперь она у нас живёт как принцесса, наша старушка. Ни в чём не нуждается».

Я подумал о своей матери, которая по полночи штопала одежду для какого-то жуликоватого торговца, а в пять утра шла убирать конторы, а потом весь день стояла у корыта.

«Как попасть в армию?» – спросил я.

Он удивлённо приподнял брови.

«Так ты подумываешь о военной карьере?»

Я кивнул. «Так как туда попасть?»

Он придвинул стул поближе и заговорил тише.

«Это непросто. Однозначно тебе точно скажу. Нужны связи. Как говорится, важно не что говорить, а кому. Тебе повезло, дружок, что ты меня встретил, поскольку ты похож на моего братишку, Джо, и сразу мне приглянулся. Сколько тебе, Джо? Семнадцать, восемнадцать?» – «Семнадцать», – солгал я.

Мне тогда было пятнадцать.

«Я так и подумал. Сразу определяю возраст на вид. Хорошо, что тебе уже семнадцать, а то в армию шестнадцатилетних не берут».

Он придвинулся ещё ближе и пробормотал: «Со здоровьем-то у тебя как? Никаких, там, болячек?»

Я сказал, что здоров.

«Ты христианин? В армию не берут всяких язычников».

Я ответил, что исповедую англиканство.

«Ты умный парень, это сразу видно. Сможешь написать своё имя?»

Я пояснил, что до тринадцати лет учился в школе.

«Фу-ты ну-ты, да ты учёный! С таким образованием вас быстро продвинут до бригадного генерала, сэр!»

Он забрал у меня портер и выпил его.

«Ежели ты собираешься писать, то тебе понадобится твёрдая рука. Тут никакие знания не помогут, ежели руки трясутся оттого, что перебрал крепкого эля перед обедом. Где ты планировал обедать, кстати? Я могу присоединиться».

Я признался, что ничего не планировал, но хотел бы записаться в армию, и спросил, как туда попасть.

Парень придвинулся ближе и постучал себя по носу. Оглядевшись по сторонам, он прошептал: «Тебе повезло, приятель, я могу помочь. Я знаю, где тут неподалёку рекрутерская контора, и, ежели я тебя им порекомендую – а я, знаешь ли, на хорошем счету, – у тебя будут все шансы. А без меня и соваться нечего. Тебя сразу прогонят. Ну давай, пойдём».

Выйдя на солнце, я заморгал и опустил голову.

«Так, гвардеец Джо – как там твоя фамилия?» – «Коллетт». – «Надо запомнить. Так вот, гвардеец Коллетт, выпрямитесь! Голову и плечи назад. Дыши глубоко, грудь колесом. Солдаты Её Величества не сутулятся. Давай, шевели ногами.левой, правой, левой, правой. Взгляд вперёд.левой, правой».

Мы стремительно промаршировали по площади. Люди расступались и провожали нас взглядами. Я чувствовал невероятную гордость. Мы прошли мимо моего товарища, и он только ахнул. Я даже не посмотрел на него.

Когда мы вошли в рекрутерскую контору, сержант щёлкнул каблуками, словно хлыстом, и отдал честь вышедшему нам навстречу офицеру.

«Сэр, это мистер Джозеф Коллетт, сэр. Семнадцать лет. Здоров. Образование имеется. Отец умер. Хочет стать солдатом. Горячо»

рекомендую, сэр».

После этого щёлканье каблуками и салютование повторились, и сержант сказал: «Ну что ж, Джо, оставляю тебя с командующим офицером. Мне пора. Удачи, парень».

Больше мы никогда не встречались.

Джо с пугающей скоростью препроводили в медицинский кабинет, где попросили высунуть язык и спустить штаны. Врач быстро осмотрел его и объявил годным к службе. Его отвели к столу и велели указать своё имя и адрес в каком-то документе и расписаться внизу. Джо не очень понимал, что происходит, но уверенно выполнял распоряжения.

«Гвардеец Коллетт, теперь вы член Шотландского гвардейского полка Её Величества. Вы получите полное обмундирование, паёк, квартирование и шиллинг в день. Вот вам справка, с ней вы доберётесь от Ватерлоо до Олдершота, вашего первого лагеря. Можете теперь пойти домой, сообщить новости матери и собрать вещи. Последний поезд от Ватерлоо отходит в десять вечера. Если вы не приедете, помните: вы теперь военнотружущий, и отсутствие в бараках будет рассматриваться как дезертирство, а за это полагается порка и полгода в тюрьме на хлебе и воде. Вот ваша первая зарплата – шиллинг. Теперь идите с сержантом вниз, там вам выдадут сапоги и форму. Смирно, гвардеец Коллетт, и отдайте честь, когда расходитесь со старшим по званию».

В гардеробной Джо получил форму и сапоги. В алом камзоле и чёрных брюках он выглядел великолепно и смотрел на своё отражение с плохо скрываемой радостью. Сунув шиллинг и справку в карман, он забрал бумажный свёрток со своей старой одеждой, выслушал указания, как добраться на вокзал Ватерлоо, и описания порки и тюрьмы, которые ждали его в случае неповиновения, а затем отправился домой.

По дороге в Поплар он маршировал, и новообретённая военная походка с каждым шагом становилась всё увереннее. Пуговицы его блистали, сапоги сверкали, алый камзол ослеплял. Люди расступались перед ним. Взрослые козыряли, а мальчишки принимались маршировать рядом, подражая ему. Лучше всего было то, что девушки хихикали, шептались и пытались привлечь его внимание. Но, как скомандовал рекрут, «взгляд вперёд» – и он ни разу не обернулся, как бы ни льстило ему женское внимание. «Я теперь солдат, солдатом и помру», – напевал он про себя.

Он вошёл в двор Альберта-билдингс и распахнул дверь прачечной. Болтовня стихла, и женщины восхищённо заохали. Но мать стояла к нему спиной. Повернувшись, она вначале непонимающе оглядела его, после чего застонала. Стон перешёл в жуткий крик, и она упала в обморок.

Джо в ужасе бросился к ней. Вокруг столпились женщины. Ей побрызгали водой на лицо и шею, и она открыла глаза. При виде Джо в алом камзоле она принялась рыдать, не в силах вымолвить ни слова.

«Лучше отведи-ка её домой, Джо, – сказала одна из женщин. – Бедняжка. Для неё это удар. Ох, Джо, зря ты всё это затеял, очень зря».

Перепуганный Джо помог матери пересечь брусчатый двор и подняться в квартиру. На соседские балконы вьсыпали женщины, чтобы понаблюдать за разворачивающейся драмой.

Соседка принесла матери чашку чая и протянула её со словами: «Я туда добавила каплю кой-чего успокоительного, миссис Коллетт, чтобы у вас прибавилось сил. Видит Бог, они вам понадобятся».

И она послала Джо уничижительный взгляд.

Мать выпила чай и перестала всхлипывать. Когда она вновь обрела дар речи, Джо спросил, почему же она заплакала. Она обняла сына и прижалась опухшим лицом к его плечу.

«Солдат, Джо! Мой старший сын, моё утешение, надежда моя – солдат! Их же каждый год набирают тысячами! Пушечное мясо, так их называют, отребье! Набирают, только чтобы переубивать!»

Она вновь залилась слезами и принялась утираться шалью.

«Спроси-ка миссис Виллоуби, не найдётся ли у неё ещё такого чаю? Она добрая душа, не откажет. Она сама потеряла сыновей в армии».

Джо был не просто обескуражен – он был совершенно потрясён. Он полагал, что его встретят как героя. Сняв камзол (чтобы не показываться в нём на улице), он принёс матери ещё чашку чая с каплей рома, который многие добрые попларские домохозяйки хранили дома на случай кризиса.

Попивая чай, мать продолжила: «У меня было четверо старших братьев, и все они погибли на Крымской войне. Я была малышкой и почти их не помню, но в памяти отложилось, как рыдала мать. Она так и не пришла в себя. Горе не оставляло её всю жизнь. Моя старшая сестра была обручена с юношей, который не вернулся из Севастополя. Все ужасно страдали».

«Но ведь Крымская война была давно, – запротестовал Джо. – Всё уже позади. Империя сильна. Сейчас никаких войн нет. Никто не осмелится напасть на Британскую империю. А я – солдат королевы и горжусь этим».

Она с трудом улыбнулась.

«Ты хороший мальчик, а мать твоя – глупая старая курица. Не буду портить твой последний вечер слезами. Когда тебе надо быть на месте?»

Тут он вспомнил про справку и шиллинг в кармане и с гордостью вручил деньги матери.

«Мне платят шиллинг в день, и всё это – тебе. Мне дают паёк,

квартирование и форму, так что деньги мне не нужны. Я буду отдавать их тебе, и ты не будешь ни в чем нуждаться».

Бедняжка! Она вновь разрыдалась. Да и какая мать на её месте устояла бы?

«Оставь что-нибудь себе, сынок». – «Нет уж. Мне не надо ни пенса. Я это сделал для тебя, так что деньги твои». – «Мальчик мой! Сынок! – она поцеловала ему руку и утерла слёзы его рукавом. – Милый мой. Я так за тебя боюсь. У меня тяжело на сердце. Мне страшно».

Допив чай, она взяла себя в руки – видимо, помог ром. Скоро должны были вернуться дети: младшие – из школы, старшие девочки – с фабрики. Не следовало встречать их заплаканной.

«Давай, собирай вещи, а я пока что выйду во двор умоюсь. Потом мы на этот шиллинг купим моллюсков, хлеба, настоящего масла и банку джема для малышей. Надо хорошо поужинать в твой последний вечер дома».

Так они и поступили. Младшие ребяташки были в восторге от его формы. Все они померяли камзол, а шестилетний братик плясал по комнате, хотя полы и рукава волочились по полу. Сестры восхищались им. Вдруг Джо стал для них мужчиной. Только мать его молчала, но храбро улыбалась.

Время прошло слишком быстро, и смеху, возгласам и песням пришёл конец. Джо надо было успеть на десятичасовой поезд из Ватерлоо. Он боялся опоздать.

Армейская жизнь

Гвардеец Джо Коллетт вместе с остальными шестьюдесятью новобранцами прибыл на вокзал Ватерлоо к половине десятого. Каждый считал, что рекрут выделил его особенно. Все они были бедны и крайне удивились встрече. Никто из них не знал, что армии полагалось каждый год набирать по двенадцать тысяч человек, чтобы компенсировать потери, – в основном из-за погибших.

Кроме того, на станции присутствовало около сотни разряженных девушек. Эти юбки, ленты, кружева, складки, оборки и рюши! Эти ботиночки с гетрами на пуговичках и широкополые шляпы, отягощённые фруктами, цветами и перьями! Но что это, неужели макияж? Джо никогда раньше не видел дам с накрашенными губами и щеками, и это зрелище совершенно его заворожило.

Девушки льнули к солдатам – по двое-трое на одного. У некоторых за подвязку была заткнута фляжка джина или рома, и появление алкоголя сопровождалось обильным шелестом юбок и притворным смущением. До отхода поезда оставалось всего полчаса, но девицы умели распорядиться временем. За полчаса может случиться многое, а красотки знали, что каждый солдат получил сегодня шиллинг.

Большинство новобранцев пришли на вокзал в одиночестве, но некоторых сопровождали матери, тётушки или сёстры. На этих юношей девушки смотрели насмешливо и откровенно фыркали, высокомерно поглядывая на сопровождающих. Добропорядочных женщин шокировало распутное поведение девиц, и они пытались защитить и предостеречь своих сыновей – чем только ухудшали дело.

Джо явился один, был выше остальных и очевидно хорош собой. Его атаковали сразу – ему предложили фляжку рома, которую он со смехом выпил залпом. Алкоголь сразу ударил ему в голову, и он обнял брюнетку, которая с песнями потащила его по станции. Джо казалось, что он никогда не был так счастлив. К ним присоединились ещё две девушки и вывели его из вокзала на окрестную лужайку. На часах было без четверти десять. На лужайке девушки принялись целовать, тискать и нежить его. Уже изрядно нетрезвый Джо ощутил, как у него поднимается давление – и не только оно. И тут обнаружилось, что у Джо нет при себе шиллинга. Девица завизжала от ярости и принялась пинать и толкать его, и он упал, ударившись головой об стену. Они сорвали с него камзол, обыскали карманы, швырнули его на землю – великолепный алый камзол! – и

втоптали в грязь. Он кричал, но не мог остановить их. Они таскали его за волосы и царапали, пока у него по лицу не потекла кровь. Девушки плюнули на него и убежали, шелестя юбками.

Потрясённый, напуганный, истекающий кровью, Джо привалился к стене. Он пытался собраться с мыслями, но никак не мог уразуметь, что произошло. Голова болела от удара. Он уже начал сползать вниз, как вдруг, словно сквозь вату, услышал резкий звук. Что это? Господи, да это же свистят на вокзале. Олдершот... последний поезд... нельзя опоздать... дезертирство... порка... тюрьма. Он подхватил камзол, чуть не упав при этом, и захромал на перрон. Носильщик подсадил его в вагон, и Джо рухнул на сиденье.

«Чёрт подери, дружище, да ты неплохо повеселился», – саркастично заметил его сосед.

Состав набрал скорость, и Джо уснул. Очнулся он от того, что его трясло.

«Давай, спящая красавица, ты теперь солдат, и мы в Олдершоте. Потом её во сне увидишь».

Олдершот? Что это? Открыв глаза, Джо увидел с полдюжины ухмыляющихся парней в алом и всё вспомнил. Он же теперь солдат... вчера он встретил рекрутера. Голову выше, плечи назад, грудь колесом, дыши глубоко, не сутулься. Джо резко встал, и голова его чуть не взорвалась от боли. Он застонал.

Окружающие расхохотались.

«Да он ещё ребёнок, оставьте его. Успеет пообтесаться. Пойдём-ка, дай руку».

Джо с трудом спустился на платформу, опираясь на руку неизвестного компаньона.

«Становись в строй! – скомандовал штаб-сержант. – Перекличка. Внимание».

Разношёрстная компания новобранцев засуетилась, пытаясь выстроиться в линию. Штаб-сержант кричал, ругался и размахивал стеклом, пытаясь построить их. Полного успеха добиться не удалось, и ему пришлось довольствоваться имеющимся результатом.

«Ладно, дураки. Погодите только, доберёмся до плаца, там вы быстро научитесь строиться. Перекличка».

Пожилой дежурный сержант начал читать фамилии по двухстраничному списку. Удавалось ему это не очень хорошо. Наверняка процесс шёл бы быстрее, если бы к ним послали сержанта, получше владеющего навыками чтения, но в армии это умение ценилось не очень

высоко.

Он успешно пробрался через простые фамилии – Браун, Смит, Коул, Брэгг, – но дальше застрял.

«Уоррарам...»

Тишина.

«Уоррарнад!»

Нет ответа.

«Повтори!» – проревел штаб-сержант.

Дежурный попытался принять уверенный вид и рявкнул:

«Уорраранди!»

Нет ответа.

Штаб-сержант направился к нему, размахивая стеклом и цокая каблуками, и выхватил список. Газовое освещение на станции было слабым, и он прищурился.

«Уорренден!»

Один из новобранцев сделал шаг вперёд. Переключка продолжилась. Дежурный делал всё, что мог, но застрял на Эшкрофте («Аскафут!»). Бенгерфилд, Уиллоуби и Уотертон довели его до заикания. Всем начало казаться, что переключка будет длиться вечно.

Одного не хватало. Его имя называли несколько раз, но никто не реагировал. Штаб-сержант хлопнул себя по ноге стеклом, достал огрызок карандаша и решительно подчеркнул фамилию отсутствующего.

«Тем хуже для него, – сказал он угрожающе. Становись в колонну, по четыре в ряд, быстрый марш!»

Для нетренированных людей стать в колонну не проще, чем в линию. Штаб-сержант ругался, изрыгал проклятья и всюду размахивал стеклом, пока ему не удалось сформировать некое подобие колонны. Под возгласы: «Левой, правой, левой, правой!» они начали маршировать.

До лагеря было четыре мили^[19], что пошло Джо на пользу. Когда они добрались, голова его уже прояснилась и лишь слегка побаливала после удара о стену. Ночной воздух освежил его, а присутствие людей вокруг успокоило.

Караульные стремительно вскочили, услышав приближающуюся колонну. Штаб-сержант рявкнул что-то невнятное, прозвучавшее как «Ой!». Новобранцы, не разобрав, продолжали маршировать. На четверых караульных у входа надвигалась угрожающая толпа гвардейцев, каждый со штыком, поднятым под углом сорок пять градусов и направленным им на желудки. Ещё один шаг, и их бы проткнули насквозь. Передние ряды остановились. Задние продолжали идти, прямо на спины остановившихся.

Почти половина колонны попадала. Поскольку они только прибыли из нормального мира, где подобное происшествие считается смешным, то расхохотались, но штаб-сержант не увидел в случившемся ничего забавного. Он ругался и проклинал их кретинизм.

Пройдя ворота, колонна выстроилась заново и промаршировала ещё четверть мили^[20] к месту расквартирования – к серым четырёхэтажным зданиям.

Когда они уже подошли, штаб-сержант закричал:

«Через минуту я скажу “стой”, значит, надо остановиться! Когда я говорю “стой” – вы останавливаетесь! Ясно?»

Они продолжали идти.

«... Ой!»

Половина остановилась, вторая – нет. Результат был тем же, что и у ворот. Штаб-сержант напоминал берсерка. Кое-как ему удалось собрать колонну воедино. Когда они промаршировали ещё пятьдесят ярдов^[21], он гаркнул: «Стой!»

На этот раз все остановились.

«Стройся!»

Эта задача далась им не легче, чем на станции, – даже тяжелее, учитывая, что теперь вокруг царила крошечная тьма. Все спотыкались и валились друг на друга, смеясь и ругаясь.

«Тишина!» – проревел штаб-сержант.

Но не тут-то было.

«Сам заткнись, старый крикун!» – «Кто это сказал?!» – «Санта-Клаус!» – гаркнул тот же голос. «Капрал, откройте дверь!» – рывкнул сержант.

Дежурный капрал открыл дверь барака.

«Вперёд, шагом марш!»

Сержант провёл отряд по четырём пролётам каменных ступенек. Неровный строй вошёл в барак.

«Это новобранцы, капрал, и больших идиотов я в жизни не встречал».

Сообщив это, штаб-сержант повернулся, чтобы уйти.

«Погодите только немного, вы ещё пожалеете, что на свет родились, сукины дети!»

С этим добрым напутствием он удалился.

Я хохотала над этой историей. Мы смеялись вместе, а ничто не объединяет людей крепче, чем схожее чувство юмора и возможность повеселиться. Я искренне наслаждалась вечером, хересом и

воспоминаниями старого солдата. Мне бы и в голову не пришло, что повествование о жизни британской армии в 90-х годов XIX века может заинтересовать меня, но благодаря таланту рассказчика я явственно представила те годы.

Кроме того, я понимала, что мистер Коллетт очень привязался ко мне, и это меня трогало. На одном из портретов на стене была изображена прелестная девушка в платье по моде 1920-х годов. Я предполагала, что это его единственная дочь, погибшая в бомбардировке во время Второй мировой войны. Возможно, я стала своего рода приёмной внучкой для мистера Коллетта. Меня это не смущало – он был чуждым стариком и напоминал мне о дедушке, которого я обожала и который был для меня лучшим отцом, чем родной. Он умер двумя годами раньше, в возрасте восьмидесяти четырёх лет, и я до сих пор тосковала по нему. Вероятно, и мистер Коллетт, и я пытались нашей дружбой восполнить потерю других близких людей. Что ж, я была не против.

Он заново наполнил мой бокал.

– Вы любите шоколад, дорогая моя? Я утром как раз купил конфеты «Милк Трей» – подумал, что вам понравится.

Он принялся шарить по каминной полке в поисках коробки. Я по-прежнему опасалась что-либо есть в этом доме, а как-то раз, увидев, как он уронил печенье на грязный пол, поднял его, положил на тарелку и предложил мне, сказала, что не люблю печенье. Но шоколад в упаковке – это совсем другое дело. В любом случае, я действительно предпочитала конфеты. Начиная с этого вечера, меня всякий раз угощали хересом и шоколадом. По странному совпадению, насекомых я больше не встречала, а через некоторое время и вовсе перестала о них вспоминать.

– Так вы, значит, добрались до барачков, и голова к тому времени давно прошла. Что произошло дальше?

– Нам велели стелить койки. Солдаты спят в койках, а не в кроватях. Они состоят из двух половин – нижняя как бы выезжает из верхней. Такая конструкция высвобождает в бараках место. Капрал показал нам, как управляться с койками. На каждой лежали соломенный тюфяк и два грубых одеяла. Ни подушек, ни простыней у нас не было, ничего подобного. В помещении стояло ведро.

– Какое ведро? – перебила я.

– Вместо туалета. В те годы всё было просто. Так вот, я прекрасно помню свою первую ночь – всё казалось таким новым и интересным, что я никак не мог уснуть. Кроме того, голова у меня всё-таки болела от удара. Мысли мои метались: девицы, мать, рекрут, штаб-сержант, вокзал, ночной

марш-бросок. Видимо, к рассвету я задремал и пропустил сигнал побудки. Несколькими секундами позже в барак ворвался капрал: «А ну вставать, живо! Открывайте окна, здесь воняет, как на скотном дворе! Быстро, слышите?»

Видимо, я не пошевелился, а через мгновение уже лежал на полу – капрал выдернул нижнюю часть койки из-под верхней. Это было весьма эффективным методом побудки для тех, кто не слышал звонка – он звучал каждый день в пять утра.

Капрал приказал нам одеваться, убрать койки и сложить тюфяки и одеяла. Я продолжал пребывать в полудрёме, но крики капрала не давали заснуть. Он ругался, что мы плохо складываем одеяла, что мы все бесполезные, тупые уроды, и обещал, что нас тут быстро приведут в чувство. Он приказал двоим из нас опустошить ведро, ополоснуть его водой из шланга и оставить во дворе до следующего вечера.

«Встаньте все у своих коек. Это пока что распределитель, тут жизнь попроще. Когда сформируют полки, тогда и хлебнёте армейской жизни. Перед завтраком – часовые учения. Потом, завтрак, дальше – смотр, а затем сержант-знаменщик вас распределит. Ясно? Стройся! Идём».

Мы выстроились в некое подобие строя и прошествовали вниз по каменным ступеням. В окружающей барак тьме звучали чьи-то крики – кто-то раздавал приказы наподобие штаб-сержанта. Нас заставили выполнять разные упражнения – отжимания, прыжки-«звёзды», приседания с прямой спиной, выпады. Вообразите, каково это всё после бессонной ночи и с головной болью! Но я думал, что это лучше, чем шататься у ворот дока в ожидании работы. Так и было. Последнюю четверть часа мы занимались самым утомительным упражнением – бегом с высоким подниманием коленей. После тренировки мы умирали с голоду. Завтрак состоял из сухого хлеба и сладкого чая. Всё показалось нам таким вкусным! После этого мы ещё час маршировали по плацу. В девять утра прозвенел звонок, и к нам промаршировали сержанты-знаменщики, каждый в сопровождении дежурного сержанта со списком фамилий – их зачитывали по очереди. Новобранцев распределили по полкам, и все разошлись. Это происходило ежедневно, поскольку рекруты набирали неопытных пареньков, типа меня, семь дней в неделю.

В тот день было только четыре гвардейца. Это первоклассный полк (мистер Коллетт сказал это с гордостью). Мы маршем отправились на склад снабжения, где нам выдали шинели, накидки, краги, красную форму, синюю (для тренировок), сапоги, рубашки, носки и полковые аксессуары. Кроме того, мы получили ружья, штыки и два белых кожаных ремня с

поясными сумками на пятьдесят патронов. Ещё нам выдали высокие меховые гвардейские шапки. Все в полку страшно гордились ими.

Нас четверых препроводили в комнату, окна которой выходили на площадь. Каждый барак возглавлял капрал, ему помогали пара дежурных постарше. Нас научили управляться с ремнями, скатывать шинели и пристёгивать их к ранцам, надевать краги, показали, как чистить одежду, вешать накидки и шинели на вешалки над койками, даже как именно лямки ранца должны свисать с вешалок над изголовьем койки.

Подобное тщание и внимание к мелочам напомнило мне то, как я училась сестринскому делу.

Я сказала об этом мистеру Коллетту. Нам выдавали три платья по фигуре, двенадцать фартуков, пять головных уборов и накидку – вместе с подробными указаниями, как это всё носить. Кромка платья должна была быть ровно на пятнадцать дюймов^[22] выше пола. Головные уборы – плоские куски накрахмаленного льна – надо было складывать обозначенным образом и прикалывать на голову в указанном месте. Фартуки следовало прикалывать к определённой точке на лифе и подгонять под длину платья. Ботинки должны были быть чёрными, на шнурках и с бесшумной резиновой подошвой. Чулки – только чёрные, со швами. Ремни и эполеты различались по цветам, в зависимости от года обучения. На дежурстве следовало появляться только в полном обмундировании. Помню, как в первый год медсестра третьего года обучения выставила меня из столовой, поскольку я забыла про головной убор. Позже, когда я уже работала, меня вызвали в кабинет к сестре-хозяйке, но, обнаружив, что я забыла нарукавники, послали за ними обратно в палату.

Мы обсуждали, нужна ли подобная дисциплина.

– Для мужчин – обязательно, – сказал мистер Коллетт. – В больших коллективах мужчины легко могут одичать. Все мы в душе дикари и без облагораживающего влияния женщин стремительно возвращаемся к первобытному состоянию. Военная дисциплина – единственное, что держит нас под контролем. Хотя для женщин мне это не кажется необходимым, не так ли? Но по мне, медсёстры выглядят очаровательно, так что я только за униформу.

Я хихикнула. Мне кажется, что униформа медсестёр начала и середины XX века – один из самых сексуальных нарядов всех времён и народов. Её очарование невозможно превзойти. Все юные медсёстры, включая меня, отлично понимали, как соблазнительно мы смотримся в ней. Забавно, что

деспотичные старые медсёстры, строго требовавшие, чтобы мы носили форму, словно не осознавали, какой эффект она производит на противоположный пол.

В те непростые дни студенткам приходилось жить в убогих медсестринских общежитиях и возвращаться по вечерам не позже десяти. Мужчин туда не пускали, а если девушку ловили в общежитии с кавалером, её исключали. Во время учёбы нельзя было выходить замуж. Всё это делалось, чтобы подавить нашу сексуальность, однако одевались мы очень эффектно. Есть что-то бесконечно ироничное в том, что в нынешнем свободном обществе, где всё дозволено и медсестры могут жить, как хотят, форменная одежда изменилась до неузнаваемости, и обычная медсестра напоминает мешок картошки, стянутый верёвкой, и, как правило, носит штаны вместо чёрных чулок.

Я спросила мистера Коллетта, как он переносил ограничения армейской жизни. Давалось ли ему это так же тяжело, как мне в студенческие годы? Я, видимо, сводила старших медсестёр с ума. Он со смехом ответил, что не может в такое поверить.

– Но поначалу мне было нелегко. Всем нам. Шотландский гвардейский полк гордился своим почётным положением, поэтому у нас было больше учений, тренировок с ружьём и штыком, мы чаще маршировали и носили куда более тяжёлые ранцы, чем остальные. Кроме того, у нас было меньше свободного времени. Мы так уставали, что редко заглядывали в лавку, где торговали спиртным. Зачастую в восемь вечера я уже расстилал койку и засыпал до побудки. Денег у меня было больше, чем когда-либо в жизни. Я получал шиллинг в день и отсылал матери четыре в неделю. Я знал, что этого хватает на аренду, и поклялся себе, что всегда буду оплачивать ей жильё, чтобы ей не пришлось страшиться работного дома. И я поступал так много лет, даже после свадьбы.

Я попросила его рассказать о женитьбе.

– После трёх месяцев в Олдершоте мне дали двухдневный отпуск, чтобы навестить родных перед отъездом в Плимут. В нашем дворе жила девушка, которую я знал много лет, но она теперь выглядела куда старше, чем мне запомнилось. Наверное, обо мне она подумала так же. Никогда больше я не встречал такой прелестной девчушки.

Он нежно усмехнулся и медленно набил трубку, потёр её между ладонями и провёл по щеке её тёплой чашечкой.

– Нам тогда было всего шестнадцать лет, а два дня – это очень мало. Но я уже понимал, что она для меня – единственная на свете. Мы договорились, что она дождётся, пока я смогу на ней жениться. В те дни

долгие помолвки были обычным делом – пары зачастую готовы были ждать свадьбы по десять-пятнадцать лет. Нам же пришлось терпеть всего три года.

Он поджёг щепку от огня в камине, раскурил трубку и с силой затянулся. Вид у него был задумчивый.

– Слава богу, что я тогда встретил Салли, потому что это помогло мне не заразиться в Плимуте. Это был шумный город, где расквартировались десять-двенадцать полков, да ещё моряки и пехотинцы в придачу. На каждой улице стояли пабы и бордели, а в каждом баре сидели проститутки. Я быстро разобрался, что к чему. В армии всегда так. Ты сразу понимаешь, что если пойдёшь с одной из этих девиц, то легко можешь подхватить что-то венерическое. Это был бы конец моей военной карьеры, конец надеждам завоевать Салли и конец содержания матери. Так что я берёг себя. Сослуживцы называли меня сумасшедшим, мол, надо гулять, пока можешь. Но я-то видел, сколько людей попали с самыми разными болезнями в лазарет, и понимал, что это они сумасшедшие.

Теперь он посуровел.

– Вам ещё не пора, барышня? Дверь не закроют в десять вечера? Не хочу, чтобы у вас из-за меня были неприятности.

– Скоро пойду, но сначала расскажите мне про свадьбу! – попросила я. – Это так романтично. Да и вообще монахини нас ни в чём не ограничивают. Они слишком разумны. Ну расскажите, как вы женились?

Он ласково похлопал меня по руке.

– После Плимута меня определили в Виндзорский замок, в гвардейскую пехоту королевы Виктории. Это была моя лучшая должность. Мне там нравилось. Работы было немного, в основном маршировка по строевому плацу. Несколько часов в сутки мы проводили в карауле, но каждые два часа дежурные сменялись, и можно было отдыхать два часа до следующей смены. Там я начал читать. Я знал, что мне недостаёт образования, хотел это исправить.

В бараках была библиотека, и я брал всё, до чего мог дотянуться. Это превратилось в страсть. Чем больше я читал, тем яснее осознавал свое невежество.

Я поглощал книги, как остальные – выпивку. Я читал всё свободное время, и эта привычка осталась со мной на всю жизнь, пока не отказали глаза.

Вид у него был печальный, но он тут же взбодрился:

– Но я могу слушать радио! Со слухом у меня всё в порядке. В общем, в Виндзорском замке мне нравилось. Как ни странно, в армии, чем меньше

ты работаешь, тем больше тебе платят. За службу в королевском полке нам давали девять пенсов в день сверхху. Теперь я уже хорошо зарабатывал и мог попросить у командира разрешение жениться. Он сказал, что я ещё слишком молод, но, узнав, что мы с невестой знаем друг друга с тринадцати лет, согласился. Иногда солдатам и их жёнам предоставляют семейное жильё. Этого я и добивался.

Я не хотел жениться, чтобы Салли потом жила в городе, а я в бараках. Командир сказал, что надо подождать, пока освободится домик. Через два года мы с Салли поженились в церкви Всех Святых в Попларе, недалеко отсюда. После этого я увёз её в Виндзор. Наши близнецы родились в Виндзорском замке, и я был самым гордым молодым отцом во всём полку. Но счастье наше было слишком велико, чтобы длиться долго. Из Южной Африки приходили дурные вести. Каждую неделю туда посылали пехотинцев. Я подозревал, что скоро придёт и моя очередь, хотя и не говорил этого Салли. Так и вышло. Итак, 1 ноября 1899 года я отплыл в Южную Африку.

Южная Африка

1899–1902

От ежедневных процедур мистеру Коллетту стало заметно лучше. Язвы уменьшились с восьми дюймов в диаметре до двух^[23]. Они стали более поверхностными и начали подсыхать. «Аромат» в комнате тоже ослабел. Здесь по-прежнему было грязно и в воздухе витал слабый запах мочи, но тошнотворно-сладкая вонь определённо исчезла. Я поняла, что пах гной. Если бы мой друг раньше обратился за лечением и не прибегал бы к народным средствам, язвы не дошли бы до такого состояния. Я стала приходить к нему через день, а потом – раз в три дня. Улучшение было стабильным.

Наши вечерние посиделки продолжались, и я понимала, как радуют его мои визиты. Он и не пытался скрывать свою радость. Мне начало казаться, что я была его единственным посетителем, и я не понимала, где же его родные и друзья. В Попларе практически не было одиноких людей. Семейные связи здесь считались крепкими, стариков ценили. Соседи жили в тесноте и постоянно заглядывали друг к другу, особенно в многоквартирных домах. Но я никогда не видела и не слышала, чтобы кто-нибудь заходил к мистеру Коллетту, чтобы спросить, как у него дела, предложить помощь или просто скоротать время. Почему – непонятно.

Как-то раз он сказал о своих соседях:

– Я не один из них. Я не родился и не вырос здесь, так что они никогда меня не примут.

Я спросила про его родных. Он ответил просто и печально:

– Я пережил их всех. Господу было угодно, чтобы я остался один. Когда-нибудь мы встретимся.

Больше он ничего не сказал, но я надеялась со временем услышать подробности.

Как-то вечером я попросила его рассказать про Бурскую войну.

– Меня призвали осенью 1899-го. Бедная моя Салли была в ужасе. Мы так счастливо жили в Виндзоре. У нас был чудный маленький армейский домик. Она стирала и штопала вещи для офицеров и немного зарабатывала. Такая счастливая и хорошенькая, как с картинки. Как там было в том стишке...

Жена полковника – что надо,
Сержанту тоже повезло,

А у простого рядового
Девчонка просто первый класс.

Или что-то в этом духе. Моя Салли была первой красоткой в полку. Когда пришёл приказ о назначении, наши близнецы уже подросли и бегали повсюду. Мы знали, что расстаемся надолго. Салли с мальчиками нельзя было оставаться в Виндзоре, так что они вернулись домой, к её матери. Они жили в квартире этажом выше той, где мы сейчас сидим. Потому мне здесь и нравится. Вечерами сижу и думаю, как молодая Салли с близнецами поселилась прямо надо мной.

Мы отплыли из Плимута. На набережной стояли толпы – кричали нам, махали, пели. Некоторые парни радовались, но у меня, да и у многих на сердце было тяжело. По мне, лучшие солдаты – это холостяки, поскольку они меньше сожалеют о том, что приходится оставить дома.

Он рассказал о транспортном судне, набитом людьми и лошадьми, телегами и фургонами, ружьями и боеприпасами, провиантом и другими запасами. Путешествие заняло пять недель. Места было мало, народу – много, и дисциплина была строжайшая. Многие часы уходили на учения на палубе. Но настроение царило боевое, поскольку всё происходящее казалось приключением.

– Мы собирались покончить с этими бурскими фермерами, которые посмели восстать против Британской империи, – сказал мистер Коллетт.

Они высадились в Дурбане, где должны были разбиться по рангам и отправиться в путь. Куда – им не сказали. Восемь дней они маршировали в полном зимнем обмундировании в чудовищную жару, каждый с ранцем на полторы сотни фунтов^[24]. Солнце жгло немилосердно, вокруг кружились мухи и москиты. Дорог не было, так что солдаты шли прямо по кустарникам и ухабам. Природа оказалась великолепной, совсем не похожей на английскую, но они очень устали, а вокруг было слишком жарко, чтобы радоваться видам.

– Как вы знаете, я был в шотландском полку, и вот что я вам скажу: нет ничего на свете, что бодрило бы, придавало сил и повышало боевой дух лучше волынки. Как бы ты ни устал, как бы ни хотел пить, как только во главе колонны раздавались звуки волынки, через несколько секунд ты чувствовал, что ноги сами несут тебя, походка стала легче, настроение поднялось, и вот уже все вокруг уверенно шагают в такт.

Мистер Коллетт ухмыльнулся, расправил плечи, запрокинул голову и помахал руками, словно маршируя.

– Там на стене фотография моего полка, если вам интересно.

По серо-жёлтому снимку колонны солдат сложно было что-нибудь понять, но я сказала, что выглядит это очень впечатляюще.

– Да, впечатляюще, тут вы правы. Но это было безумием, конечно.

Его слова меня удивили.

– Представьте только: мы шли воевать и маршировали по открытой местности, одетые в красное, под звуки волюнок! Вот вам и секретность, и внезапное нападение! Враг мог увидеть и услышать нас бог знает за сколько миль. А мы их егоникогда не видели. По всей Южной Африке маршировали колонны вроде нашей, и их атаковали невидимые противники. Но британские генералы не делали выводов. Мы вели себя всё так же самонадеянно и потеряли из-за этого бесчисленные тысячи молодых людей.

Он рассказал, что как-то ночью им велели взобраться на холм. Где они находятся, им не говорили, но возвышенность была крутой и опасной и скорее напоминала гору. Никакого специального оборудования у них не имелось – только военная форма, набитые ранцы, ружья, штыки и сапоги, предназначенные для маршировки, а не для покорения гор. Опытом преодоления вершин никто не владел.

К рассвету они вроде бы добрались до вершины – лишь для того, чтобы обнаружить куда более высокие горные гребни вокруг, за которыми прятались вооружённые люди. При первом переходе в них стреляли со всех сторон – пушки, ружья, дальнобойные мушкеты. Они пришли совершенно неподготовленными. Многих убили, и те даже не успели среагировать.

– Никогда не забуду, как это было, – сказал мистер Коллетт. – Крики и стоны резали слух. Мы пытались открыть ответный огонь, но наше положение оказалось безнадёжным. Врага мы не видели, а сами были у него как на ладони. Это был день выстрелов под палящим солнцем – ни воды, ни укрытия, только безжалостная стрельба.

К ночи пальба утихла, и темноту оглашали лишь крики и вздохи раненых.

– Мы пытались помочь им, но то и дело спотыкались о камни и трупы. В любом случае, у нас не имелось ни врачей, ни санитаров, ни бинтов, ни морфина, ни даже носилок.

Солдатам скомандовали отступить и бросить погибших. С восходом солнца раненые должны были умереть от жажды.

– Тогда-то я и понял, как права была мама, когда говорила, что мы – всего лишь пушечное мясо. Зелёным рядовым снова и снова приказывали выходить под обстрел, а командованию было наплевать, сколько человек

погибнет и как они будут страдать.

Мистер Коллетт весь дрожал. Голос его звучал надломленно. Он закусил губу, чтобы справиться с волнением.

– И, верите ли, в этом не было никакой необходимости. Конечно, тогда мы этого не знали, никто из простых солдат не знал, но никакой рекогносцировки не проводилось. Не было карт, никто не посылал разведчиков, чтобы оценить местность или замерить высоту холмов. Будь у нас топографическая схема, этого можно было бы избежать. Британцы в тот день потеряли две тысячи человек, а буры – две сотни, и всё из-за того, что не был произведён расчёт. Я прочитал за свою жизнь немало книг по истории, и дурное руководство – это, кажется, вечная проблема британской армии. Разумеется, у нас бывали хорошие полководцы и генералы, но это вопрос счастливого случая.

Мистер Коллетт с горечью говорил о тех днях, когда, по его словам, представители аристократии и правящих классов получали звания за деньги. Рабочий класс не мог себе этого позволить. Таким образом, состоятельный человек, каким бы ограниченным, ленивым или равнодушным к военной жизни он ни был, мог купить себе звание и возглавить командование. По заведённому порядку, жизнь офицеров в основном состояла из скачек и прочих увеселений, а с другими они не общались.

– Они не считали нас людьми, – сказал мистер Коллетт. – Мы для них ничего не значили. Просто человеческие отбросы. Не знаю, как меня не убили. В моём полку погибло три четверти состава, отправленного в Южную Африку, – кто в бою, кто в госпитале. Но я почему-то выжил.

Люди умирали и от болезней. В одной из перестрелок мистер Коллетт получил лёгкие ранения ног и некоторое время лежал в госпитале. Он успел увидеть непрерывный поток солдат, поступавших туда с так называемой дизентерией. По сути дела это была тифозная лихорадка, возникавшая от заражённой воды и распространявшаяся, словно лесной пожар. В какой-то момент казалось, что контролировать распространение болезни невозможно.

– Не слышал, чтобы хоть один вылез. Ни разу не видел, чтобы кто-то вышел из госпиталя живым. Видел только, как выносят тела, по десять-двадцать в день из одной палаты, а на их место поступает столько же с тем же диагнозом. Этот госпиталь строился на три сотни пациентов, а лечил две тысячи. Не хватало ни врачей, ни медсестёр, так что большинство умирали. В госпиталях скончалось в три раза больше людей, чем в боях. Не знаю, как так вышло, что я не заразился. Меня ждало худшее.

Что же могло быть хуже? Я представляла себе, как тяжело и горько было лечить людей в таких невыносимых условиях и наблюдать, как они угасают.

– Так или иначе, я выжил, и мне пришлось принять участие в так называемой «войне до победного конца». Спустя два с половиной года мы были ничуть не ближе к победе, чем в самом начале. Справиться с врагами не удавалось. Они прятались, и атаковали наши склады, линии передачи, и неизменно заставляли нас врасплох. Тогда наши генералы решили оставить их без еды, то есть атаковать фермы. Было решено применить тактику «выжженной земли», и нам, простым солдатам, пришлось воплощать её в жизнь. Это было нам ненавистно. Мы чувствовали себя нелюдями, когда нападали на женщин и детей, выгоняли их на улицу и уничтожали дома и амбары. Мы убивали их животных и сжигали поля. Помню одну молодую бурскую женщину с двумя детьми. Она рыдала и умоляла их пощадить. Мне хотелось это сделать, но не подчиниться военным приказам было немислимым делом. Будь я один, то рискнул бы, но мои деньги шли Салли, сыновьям и матери. Как я должен был поступить? К тому же, если бы я не выполнил приказ, это бы ничего не изменило. Если не я, то другие.

Мистер Коллетт выглядел невероятно мрачно.

– Это было унижением – и для нас, и для командующих офицеров. Нас посылали драться с мужчинами, а не с беззащитными женщинами и детьми. Так делать нельзя. Никогда, – он сжал кулаки. – Для Британской империи это было чёрное время. Погибло тридцать тысяч женщин и детей, в основном грудных. Мы были обесчещены перед всем миром. Наши войска превосходили войска буров в двадцать пять раз, и мы всё равно смогли победить, лишь нападая на самых слабых. Весной 1903 года я отправился домой, а уволился в 1906-м.

– Вы жалеете, что воевали, или вспоминаете то время с ностальгией? – спросила я.

– Со смешанными чувствами. За эти годы я многое узнал, и горизонт мой, несомненно, расширился. Я общался с людьми необычных судеб, сталкивался с разными идеями и точками зрения. Без армии я был бы обычным портовым трудягой, по большей части сидел бы без работы, так что за это я благодарен. С таким послужным списком мне удалось устроиться на почту. Там я и проработал всю жизнь, пока не ушел на покой с хорошей пенсией.

Меня всегда подкупала его искренняя неприхотливость. Убогая квартира, кишущая насекомыми, казалась ему настоящей роскошью, он был доволен скромной пенсией, которой хватало лишь на еду и уголь. Он

считал себя обеспеченным человеком, поскольку мог себе позволить купить бутылку хереса и коробку конфет, чтобы угостить молоденькую медсестру, к которой искренне привязался. Такое положение его абсолютно устраивало.

Я наклонилась вперёд и нежно пожала ему руку.

– Уже поздно, и мне пора идти, но в следующий раз вы мне расскажете, как приспособивались к гражданской жизни. Наверное, близнецы не узнали вас?

Он не ответил, продолжая задумчиво глядеть на огонь.

– Идите, барышня, идите.

Я оставила старика предаваться воспоминаниям – единственному утешению в одиночестве.

В следующий раз я навестила мистера Коллетта три дня спустя. Ноги его выглядели просто замечательно, и язвы окончательно подсохли. Я была очень рада.

На каминной полке в окружении выцветших пыльных фотографий стояла сверкающая белая открытка с золотой каёмкой и тиснёной короной. Мистера Джозефа Коллетта и его спутницу приглашали принять участие во встрече старых гвардейцев в Катерхэме в одну из июньских суббот.

Я спросила, что это за приглашение, и мистер Коллетт рассказал, что раньше с удовольствием ходил на такие встречи, но в последние годы перестал – из-за ухудшившегося зрения и хромоты.

И тут меня осенило.

– Послушайте, ваши ноги теперь почти в норме, вы спокойно сможете туда добраться. Пойдёмте вместе. Там наверняка будет весело. Мало у кого есть возможность попасть на такое мероприятие, и мне бы очень хотелось там побывать!

Он так и засиял от радости, схватил меня за руки и поцеловал их.

– Милая моя! Какая чудесная идея! Мне и в голову не пришло. Мы с вами пойдём и прекрасно проведём время. Уж поверьте, гвардейцами гордятся все солдаты. Какой же будет день! Какой день!

Я заранее попросила отгул и рассказала о приглашении сестре Джулианне. Девушки были заинтригованы: как всё пройдёт? Трикси предположила, что встреча молодых гвардейцев, конечно, была бы поинтереснее, но пожелала хорошо повеселиться и со стариками.

С утра стояла чудная ясная погода. Вскоре после восьми я пришла к Альберта-билдингс. Мистер Коллетт пребывал в эйфории и болтал без умолку. По такому поводу он надел старый линялый костюм, начистил

ботинки и прихватил новенькую фетровую шляпу. Самое важное – и примечательное – заключалось в том, что грудь его была увешана медалями. Я и не догадывалась, что у него есть медали, и тотчас принялась их разглядывать. Мистер Коллетт с гордостью рассказывал, за что ему дали ту или иную награду.

Мы доехали на автобусе от Блэкуолла до станции Виктория-Коуч, а затем – до Катерхэма. На место мы прибыли около десяти часов утра. Я раньше никогда не бывала в воинской части, и всё вокруг приводило меня в восторг. Для юной неопытной девушки это настоящее событие, и моё возбуждение передалось мистеру Коллетту. Мы стояли близко друг к другу, поскольку народу собралось немало, и я всё время держала его за руку, так как он плохо видел. Я ожидала увидеть торжественное собрание, на котором старики рассуждали бы о старых добрых временах, но нет, это был настоящий праздник, по-военному пышный и яркий. Саму встречу ветеранов запланировали на вечер.

Вокруг царило веселье. Британская армия понимает толк в гуляниях. Знамёна, флаги, волынки и барабаны, показательные учения, алая форма, чёрные киверы, марши и глава волынщиков, который подбрасывал свой посох высоко в небо. Я ликовала. Мистер Коллетт видел всё это ранее, и, так как теперь у него было плохо со зрением, ему оставалось только радоваться моим восторгам.

Ближе к вечеру мероприятие подошло к концу, и усталые толпы стали расходиться. Я думала, что мы тоже поедem домой, но мистер Коллетт остановил меня:

– Настало время полкового ужина. Пойдёмте, красавица моя. Нам туда. Сейчас все узнают, у кого девчонка – первый класс.

Мы отправились в обеденный зал, куда пускали только по приглашениям. Мы чуть припозднились, поскольку мистер Коллетт шёл очень медленно. Когда мы проходили мимо молодых солдат, они щёлкали каблуками и салютовали. На выходе швейцар взял у нас карточку и провозгласил:

– Мистер Джозеф Коллетт и мисс Дженни Ли!

За столами сидело около двух сотен мужчин и женщин. Все обернулись к нам, и кто-то сказал:

– Вот настоящий старый гвардеец!

Все встали и подняли бокалы:

– За почтенного старого солдата!

По щекам у мистера Коллетта потекли слёзы. Нас отвели за стол к полковнику и усадили рядом с ним. Ужин оказался великолепным, а

полковник и его супруга были необычайно любезны со стариком. Они обсуждали Англо-бурскую войну, Африку и армейскую жизнь шестидесятилетней давности. С мистером Коллеттом обращались с уважением и признательностью – так, как он заслуживал.

Франция

1914–1918

Тот счастливый день в Катерхэме окончательно скрепил нашу дружбу. Я понимала, что мы с мистером Коллеттом теперь связаны на всю жизнь. По дороге домой мы хохотали, и болтали, и расстались на автобусной остановке вблизи туннеля Блэкуолл. Он настоял, чтобы я не провожала его – мол, он сам отлично доберётся в темноте. Мне радостно было вспоминать, как почтительно с ним общался полковник. Мистер Коллетт нескоро забудет этот день.

Как-то раз во время перевязки я спросила, как он жил после армии. Мне было известно, что к тому моменту Салли и близнецы уже осели в Альберта-билдингс, и я спросила, где они поселились после его возвращения.

– Я получил работу на почте, и нам пришлось переехать поближе к сортировочному узлу в Майл-Энд.

Мистер Коллетт стал рассказывать о своей новой жизни. В те дни почтальоны сами сортировали почту и должны были приходить к четырём утра, чтобы получить ночные письма. На сортировку уходила пара часов, после чего они разносили корреспонденцию примерно до часу дня, а потом наступала очередь вечерней почты. Рабочий день заканчивался около семи вечера. Мистеру Коллетту нравилась такая жизнь.

– Близнецы росли. Пит и Джеку тогда было шесть-семь лет, и их было не отличить друг от друга – это не удавалось никому, кроме матери, и даже она иногда ошибалась. Чудные были мальчишки, – он закусил губу и сглотнул, пытаясь справиться с чувствами. – Вы слышали, полагаю, что близнецы словно бы живут друг ради друга. Что ж, могу сказать, что это правда. Их было двое, конечно, но мне часто казалось, что они сами не знают, где заканчивается один и начинается другой. Вечно вместе, они не расставались, ни на секунду. Им будто бы никто больше не был нужен. Они даже говорили на своём выдуманном языке. Да-да, именно так! Мы с Салли слушали, как они играют, и они использовали не те слова, что в обычной речи, а смесь обычного английского и их собственного языка. Они понимали друг друга, а мы их – нет. Никогда не знаешь наверняка, что творится в голове у ребёнка, а близнецы – загадка почище прочих. Пит и Джек жили в мире своего воображения – с великанами, гномами, королями и королевами, замками и пещерами. Друзей у них не было, да они и не

нуждались в компании.

– А их мать не чувствовала себя лишней?

– Конечно, чувствовала. Мальчикам не то чтобы недоставало внимания, они просто были совершенно самодостаточны. Салли как-то сказала: мол, если мы с тобой помрём, Джо, они и не заметят, а вот если с одним из них что-то случится, второй просто угаснет.

В глазах его блеснули слёзы:

– Возможно, всё к лучшему. Бог дал, Бог взял.

Он умолк, погружённый в свои мысли. Я уже слышала, что его сыновья не вернулись из Франции, и теперь взглянула на фотографию двух хорошеньких малышей на стене.

– А другие дети у вас были?

– Да, девочка, и Салли чуть не погибла при родах. Не знаю, что пошло не так, да и акушерка не знала, но Салли несколько недель после родов была на грани жизни и смерти. Её сестра забрала малышку и три месяца выкармливала её, а мальчики отправились жить к моей матери. Меня это так перепугало, что я больше не допускал подобного. В армии прежде всего учишься, как предохраняться. Никогда не понимал мужчин, которые позволяли своим жёнам рожать по десять-пятнадцать детей, если могли избежать этого. Но, слава Богу, Салли выздоровела, а дети вернулись домой. Девочку мы назвали Ширли – чудное имя, правда? Прелестная была девчушка, настоящее благословение свыше.

Теперь перевязки мистеру Коллетту требовались всего лишь раз в неделю, поскольку язвы его почти прошли, но вечера за хересом продолжались, и как-то раз он рассказал мне истории Пита и Джека.

Обычно девушек не привлекает всё, что связано с войной, но меня это как раз интересовало. Война повлияла на моё детство, но я почти ничего о ней не знала. Первая мировая война была для меня тайной, а на школьных уроках историй о ней ничего не рассказывали. Я знала, что множество солдат погибло во французских траншеях, но моё невежество было так велико, что я даже не представляла, что значит слово «траншея». Впоследствии мне доводилось встречать людей, пострадавших во время лондонских бомбардировок и слышать их рассказы. Когда мистер Коллетт упомянул своих сыновей, я попросила его рассказать поподробнее.

Когда началась война, Питу и Джеку было шестнадцать лет. В четырнадцать лет они ушли из школы и пошли работать на почту – они носились на велосипедах по всему Лондону, доставляя телеграммы. Их называли «летучими близнецами». Им нравилась работа, они гордились собой, своей униформой, а благодаря физической нагрузке на свежем

воздухе росли крепкими и здоровыми ребятами. Но в 1914 году началась война, и в стране был объявлен набор на военную службу. Правительство обещало, что «всё закончится к Рождеству». Многие друзья близнецов записались в армию, ведомые мечтой о приключениях. Братья хотели поступить так же, но отец запрещал им, говоря, что война – это вовсе не вечные приключения и слава.

В 1915 году вышел знаменитый плакат с лордом Китченером, который мрачно указывал пальцем со словами: «ТЫ нужен своей стране». После этого молодые люди, не записавшиеся в армию, начали чувствовать себя трусами. Сотни тысяч юнцов, включая Пита и Джека, стали добровольцами и промаршировали напрямик в могилы.

Их отправили на трёхмесячные сборы, где учили обращаться с ружьями, гранатами, ухаживать за лошадьми и драться на саблях в ближнем бою. Как горько заметил мистер Коллетт:

– Это показывает, как мало верховное командование знало о современной войне со взрывчатыми веществами!

Мужчин, мальчиков и лошадей запихали в пропахший потом и навозом пароход и отправили через Ла-Манш во Францию. Их послали напрямик в траншеи на передовой.

– Я слышала об этом – передовая, траншеи, атака через бруствер, – но что всё это значит? – спросила я.

– Ну, меня там не было, я был уже слишком стар. Наверное, можно было записаться в качестве ветерана, но почта выполняла важную функцию – мы занимались всей корреспонденцией. Вряд ли бы меня отпустили. Но я знал тех, кто прошёл через это и выжил, и они поведали о вещах, про которые мы не знали дома.

– Расскажите.

– Если хотите. Вы уверены? Это не то, что стоит обсуждать с юной барышней.

Я уверила его, что мне интересно.

– Тогда налейте мне ещё. Нет, не хереса. На нижней полке шкафа стоит полбутылки бренди.

Я налила ему бренди, и он сделал глоток.

– Так лучше. Мне нелегко вспоминать. Мои милые мальчики погибли в тех траншеях. Видимо, надо выпить, просто чтобы начать думать об этом.

Он опустошил стакан и протянул его мне за добавкой, после чего продолжил.

В тот вечер он говорил об очень тяжёлых вещах.

Траншеи, как я узнала, представляли собой длинные рвы, задуманные

как временное укрытие для армии на плоской местности, не имеющей других укрытий. Тогда, однако, их использовали четыре года – там жили солдаты.

Много месяцев подряд люди обитали в сырых, а порой и затопленных траншеях. Там было так тесно, что спать можно было только стоя, опершись на край рва. Солдаты страдали от «траншейной стопы» (кожа гноилась из-за сырости и холода), обморожений и гангрены. Грязную одежду не меняли неделями, всё кишело вшами – они перескакивали от солдата к солдату, и вывести их было невозможно. Гигиена отсутствовала полностью, а питьевая вода была испорчена грязью и фекалиями. Горячая еда считалась редкой роскошью. Повсюду мельтешили крысы, поедавшие человеческую плоть, поскольку солдаты гибли в таких количествах, что выжившие не успевали хоронить их.

Обе армии сидели в траншеях, зачастую всего в сотне ярдов^[25] друг от друга, и им было приказано стрелять на поражение. Людей разрывало на куски – оторванные руки, ноги, головы, развороченные лица, выбитые глаза. Если солдатам приходилось идти в атаку и двигаться к вражеским окопам, они шли под огнём, и за один день могло погибнуть сто тысяч человек.

Холод, сырость, голод, вши и вонь, которую испускали поедаемые крысами трупы, сводили людей с ума.

– Это гораздо, гораздо хуже, чем я думала, – сказала я. – Сложно себе даже вообразить. Мне кажется, я бы спятила.

– Многие теряли рассудок. И им никто не сочувствовал.

– Странно, что люди не сбегали. Что им мешало?

– Дезертирство каралось расстрелом.

В этот момент я вспомнила своего дядю Мориса. Это был странный, замкнутый человек, подверженный вспышкам гнева и иррациональному поведению. Он явно представлял опасность, и я всегда его боялась. Тётя рассказывала, что он четыре года – всю войну – провёл в траншеях и каким-то чудом выжил.

«Не провоцируй его, милая», – говорила она, и я понимала, что всю свою жизнь она посвятила попыткам успокоить его и облегчить его страдания. Она была ангелом, и тогда мне казалось, что он её недостоин, – но без неё ему грозил бы нервный срыв и, возможно, сумасшедший дом.

«Он почти не говорит о войне, – делилась тётя, – держит всё в себе. Иногда мне удаётся разговорить его, и, кажется, ему становится легче. Но даже сейчас, тридцать лет спустя, его мучают кошмары. Он кричит,

мечется в постели и зовёт кого-то».

Услышав рассказ мистера Коллетта, я начала лучше понимать дядю Мориса и почему тётя так нежно о нём заботилась.

Как-то раз я узнала от неё самую жуткую историю. Её мужу приказали присоединиться к расстрельной команде для казни одного из сослуживцев, который дезертировал и был пойман. Жертвой оказался девятнадцатилетний мальчик: от ужаса перед постоянными выстрелами и смертями он потерял рассудок и с криком убежал прочь. Его тут же поймали, поскольку он не сумел проковылять и полумили^[26], затем предали военному суду и приговорили к смерти. Все знали этого мальчика и молились, чтобы им не довелось участвовать в расстреле. Из них выбрали десять человек – и среди них был мой дядя.

Я поведала об этом случае мистеру Коллетту. Несколько мгновений он не произносил ни слова, а молча прочищал трубку каким-то убийственным орудием, выскребая смолу и никотин из резной чашечки. Затем он сильно дунул в мундштук, и в воздух взлетели чёрные хлопья.

– Так лучше, – пробормотал он, – неудивительно, что тяги не было. Налейте мне ещё, милая.

Я подлила ему бренди, не зная, насколько это крепкий напиток. Он отхлебнул спиртное и не сразу проглотил его, после чего сказал:

– Это чудовищная история. Она останется с вашим дядей до конца его дней. Война ожесточает человека. Неудивительно, что он был мрачным и нервным. Но нельзя забывать, что побег с поля боя всегда карался смертью. Военная дисциплина должна быть суровой, иначе солдаты просто разбредутся. Кроме того, в расстрельной команде из десяти человек только у одного в руках заряженное ружьё. У каждого есть девять шансов из десяти, что не он убьёт своего однополчанина.

– Не знаю, что и думать. Наверное, вы правы, дисциплина должна быть строгой. Но всё равно это ужасно. Невыносимо.

– Разумеется, милая, ваша профессия – заботиться о людях, а не уничтожать их. Генерал Уильям Шерман сказал о Гражданской войне столетней давности: «Война – это ад». Она была адом и всегда будет.

– Дедушка рассказывал, что его дяди воевали в Крымской войне и не вернулись домой. Родные так и не выяснили, что произошло.

– Всё верно. Простые солдаты считались расходным материалом. Вы знали, что после битвы в Севастополе кости погибших собрали и отправили в Британию, где перемололи и продавали фермерам в качестве удобрения?

– Да вы что!

– Так и было.

– Какая мерзость! Пожалуй, попробую вашего бренди.

– Осторожно. Штука крепкая.

– Ничего страшного, справлюсь, – хвастливо ответила я, плеснула себе бренди и глотнула, как он. Мне не просто обожгло рот – казалось, что запыхали и горло, и трахея, и пищевод. Я начала кашлять и задыхаться. Мистер Коллетт рассмеялся:

– А я предупреждал.

– Но это же было сто лет назад. После Первой мировой войны такого варварства быть не могло, – сказала я, когда пришла в себя.

– По всей Северной Франции выстроено множество прекрасных кладбищ, где расположены могилы миллионов юношей. Они покоятся там с миром.

– А вы были на могиле Пита и Джека? Это могло бы вас утешить.

– Нет, они похоронены не там.

– А где же?

Он вздохнул, и так тяжело, словно вся печаль мира сосредоточилась в этом вздохе.

– Мы не знаем, что с ними случилось. Нам пришла телеграмма: «Пропали без вести, предположительно погибли». Это было в конце войны. Они пережили три с половиной года на фронте и пропали в последние несколько месяцев. Сердце моей Салли было разбито. Мы держались только благодаря крошке Ширли.

Несколько минут он сидел молча, попивая бренди и посасывая трубку. Мне не хотелось прерывать его размышления. Когда он заговорил снова, голос его звучал плоско и монотонно:

– Год спустя нам сообщили, что их тела так и не нашли. Тысячи семей получили такие же письма. Людей просто разрывало на куски, и опознать их было невозможно. Или же стена окопа могла обвалиться и погрести их под собой, или они могли утонуть в грязи. Мы не знаем. Миллионы мальчиков по обе стороны фронта погибли и пропали без вести. И миллионы семей до сих пор страдают.

Лондон

1939–1945

Я продолжала навещать мистера Коллетта, но близнецов мы больше не упоминали. Он рассказал, что Ширли, его гордость, получила хорошее образование и даже была удостоена аттестата – в те дни немногие девочки из Ист-Энда могли похвастаться таким достижением. Это позволило ей поступить на почту и освоить бухгалтерское и учётное дело. Кроме того, она обучилась телеграфии и азбуке Морзе.

– Занятия длились два года, – рассказывал мистер Коллетт. – Этот язык состоит из череды длинных и коротких звуков или вспышек света. Мы подолгу сидели втроём и отстукивали сообщения или перемигивались. Мы с Салли проштудировали алфавит, но Ширли стала настоящим профессионалом. Ей пришлось научиться печати вслепую, и она могла сидеть с закрытыми глазами, слушать выстукиваемые сообщения и набирать слова без единой ошибки. Потом мы выключали свет, и я передавал ей сообщения с помощью фонарика, а она набивала текст. И снова ни одной ошибки. Её навыки оченьгодились, когда началась Вторая мировая война. В 1939 году её сразу занесли в списки профессионалов в резерве.

Я начала расспрашивать его о войне. Сразу стало очевидно, что мистер Коллетт восхищался Уинстоном Черчиллем.

– С 1935 года только слепой мог не заметить, что скоро что-то случится. Гитлер начал перевооружение и мобилизацию войск, и вся Европа забеспокоилась. К сожалению, большинство наших лидеров предпочитали оставаться слепыми и глухими. Только Черчилль понимал, что происходит, и предупреждал остальных, но его никто не слушал, и правительство отказывалось перевооружаться. Поэтому, когда в 1939 году началась война, мы были совершенно не в форме. Подготовка нашего войска и флота была самая минимальная, а экипировки почти не было.

Меня всегда интересовал Черчилль. Он мой современник и тоже участвовал в южноафриканской войне. Впервые я услышал о нём после того знаменитого побега из Претории. Когда вести дошли до Лондона, и войска, и вся страна воспрянули. Самое смешное – это письмо, которое он оставил для министра обороны буров. Что-то в духе: «Сэр, имею честь сообщить вам, что не считаю, что ваше правительство вправе ограничивать мою свободу, в связи с чем принял решение совершить побег».

И в конце: «Остаюсь вашим скромным и преданным слугой, Уинстон Черчилль».

В 1916 году Черчилль в чине полковника командовал батальоном Королевского шотландского фузилёрного полка (а я, как вы помните, был гвардейцем Королевского шотландского полка). Он служил на передовой вместе со своими людьми, а такого не делал ни один офицер. После войны он занялся политикой, но не очень удачно. Он наделал массу ошибок – но все его поступки имели размах, и он завораживал масштабом своей личности.

Сказать честно, я испытал огромное облегчение, когда в 1940 году он стал премьер-министром и министром обороны. В нём чувствовалась сила, и он умел словами разжечь огонь в сердцах. Он объединил людей против Гитлера и фашистов, хотя из оружия у нас были лишь битые бутылки да кухонные ножи. Я уверен, что без Черчилля мы бы проиграли войну, и Британия сейчас была бы нацистским государством.

Это была отрезвляющая мысль. Я всегда принимала свободу как должное. Во время войны я была ребёнком и оценивала всё согласно своему возрасту. Только после её окончания, когда мне было лет десять, я увидела в кинохронике ужасающие кадры из Бельзена, Освенцима, Дахау и других европейских лагерей смерти. Только тогда я начала понимать, с каким злом мы сражались.

Кроме того, я родилась в сельской местности и мало видела саму войну. Мы жили всего в тридцати милях^[27] от Лондона, но жизнь там была мирной и спокойной. Мама принимала эвакуированных, и мне это нравилось. Еды не хватало, и до десяти лет я не видела ни бананов, ни апельсинов, но в остальном всё было по-прежнему. Где же застала война мистера Коллетта?

Он твёрдо ответил, что Лондон был его домом, и там он и провёл все эти годы. Салли тоже не хотела покидать город – она родилась здесь и выросла. Они оба чувствовали, что других вариантов у них нет. Это была типичная для лондонцев позиция.

В 1939 году было эвакуировано множество женщин и детей, но через полгода большинство из них вернулись. Они не смогли жить в сельской местности и возвращались целыми толпами, предпочтя опасности Лондона деревенской тишине.

Я слышала похожую историю от сестёр. Две сестры-акушерки эвакуировали в Корнуолл около семидесяти беременных женщин из Поплара. Одна за другой они вернулись в город, и все называли одну и ту же причину: тишина действовала им на нервы, они боялись деревьев и

полей, не выносили шума ветра. Через полгода в Корнуолле осталось не больше дюжины эвакуированных, поэтому и сами сёстры вернулись туда, где в них больше всего нуждались, – в Поплар.

В 1940-м мистер Коллетт вышел на пенсию. Сразу же после этого он вместе с Салли присоединился к активистам противовоздушной обороны. В начале 1940 года они следили за тем, чтобы распоряжения правительства выполнялись неукоснительно, – проверяли, что люди носят с собой противогазы, подчиняются приказам о затемнении, – следили за наличием мешков с песком и оснащённостью бомбоубежищ. Поначалу служащих ПВО называли шпиками и посмеивались над ними, но в сентябре 1940-го Лондон стали бомбить, и тут-то началась настоящая работа.

В течение трёх долгих месяцев город обстреливали каждую ночь, а иногда и днём. Основной целью был Докленд – один из самых густонаселённых районов, – и сотни тысяч лондонцев погибли или лишились крова.

При взгляде на карту Лондона вы сразу видите подковообразную Темзу, огибающую Собачий остров. Он хорошо заметен с воздуха, и немецкие пилоты не могли его пропустить. Достаточно было сбрасывать бомбы на эту цель, и они неизбежно попадали в порты или в окружающие дома. Тысячи тонн взрывчатки обрушились на город менее чем за три месяца. В Попларе на квадратную милю^[28] приходилось пятьдесят тысяч душ. Это была живая мишень.

Людей было столько, что бомбоубежищ не хватало. В других районах города граждане прятались в метро, но в Попларе его не было. Ближайшей станцией был «Олдгейт». Правительство выдавало гофрированное железо, чтобы люди могли строить у себя в садах бомбоубежища Андерсона^[29], но большинство жителей Поплара не располагали своими участками. К счастью, во многих домах имелись погреба, где и спали люди. Церковные крипты также становились убежищами, и граждане жили в церквях целыми районами. Как рассказали мне сёстры, в крипте церкви Всех Святых родилось несколько детей. Теснота была жуткая. Каждому хватало места, лишь чтобы прилечь – и не более того.

Все опасались, что убежища поразит чума или другие болезни. Водосточные и канализационные трубы регулярно страдали от бомб, но их всегда успевали латать – по крайней мере, настолько, чтобы предотвратить распространение инфекций. Страдали и линии передачи газа и электричества, но их тоже чинили.

– Сейчас всё это кажется невозможным, – сказал мистер Коллетт, – но

все работали днями и ночами и не теряли присутствия духа. Когда живёшь в таких условиях и смерть совсем рядом, каждый день становится подарком. Утром ты видишь рассвет и радуешься, понимая, что ещё жив. Кроме того, мы знали смерть в лицо. Люди Поплара привыкли страдать. Бедность, голод, холод, болезни и смерть были с нами уже много поколений, и мы уже свыклись с ними, так что несколькими бомбами нас было не сломить.

Мы привыкли к тесноте, поэтому в убежищах было не так уж и плохо. Потерять дом или комнаты при бомбёжке не хуже, чем при выселении, а у большинства практически не было мебели. Семья просто переезжала к соседям, у которых ещё оставалась крыша над головой.

Удивительное было время. Очень много горя и страха, но вместе с тем и восторга. Мы твёрдо решили, что не сдадимся. «Да пошёл ты к чёрту, Гитлер», – так мы думали. Помню, как мы вытащили из-под обломков какую-то старуху. Она не пострадала. Она схватила меня за руку и сказала: «Ублюдок Гитлер. Убил моего старика, ну и Бог с ним, убил моих детей – это плохо, разрушил мой дом, так мне теперь негде жить, но меня-то он не достал! У меня есть шесть пенсов, а тот паб на углу не разбомбили, так что пойдём-ка выпьем, да и споём».

Когда начали сбрасывать зажигательные бомбы, разрушений стало ещё больше. Так погибла Салли. У мистера Коллетта с женой было предчувствие, что кто-то из них умрёт, но они не знали, кто именно и когда. Такие бомбы были небольшими, и они вспыхивали, когда ударялись об землю. Их легко было загасить – мешком с песком или даже парой одеял, – но, если огонь распространялся, могло загореться целое здание. Правительство призывало добровольцев прятаться на крышах высоких домов и следить за окрестностями. Когда падала бомба, волонтеры указывали, где она, и люди с мешками бросались её гасить. Дежурным следовало хорошо знать местность, и это в основном были старики, неспособные копать или таскать тяжести. Салли вызвалась работать дежурной.

– Они поднимались на самые высокие дома, а от огня и бомб их защищали только каски. Как-то ночью снаряд угодил прямиком в дом, где была Салли. Больше я её не видел. Её тело так и не нашли.

Рассказав мне эту печальную историю, он умолк и несколько минут смотрел на огонь.

– Она понимала, какой это риск, – сказал он тихо. – Мы оба понимали. Я рад, что она ушла первой и не осталась одна. Смерть добрее, чем жизнь. В могиле никто не страдает. Мы встретимся – уже скоро, я надеюсь.

Он снова повторил:

– Скоро, я надеюсь.

Я не знала, что сказать, и спросила его про дочь.

Ширли обучилась телеграфии и азбуке Морзе, а значит, была ценным специалистом. В 1940 году она вступила в женскую вспомогательную службу ВВС и подразделение связи и разведки ВВС. Отец видел её только во время отпусков и в основном даже не знал, где она, поскольку задания были строго секретными. Она так и не вышла замуж и всегда была очень близка с родителями. После смерти матери она погрузилась в дела.

Мистер Коллетт тоже выяснил, что тяжёлый труд – единственное лекарство от печали. После смерти Салли он работал день и ночь, не особо заботясь о сне и еде. В гражданской ПВО он занимался всем подряд: помогал санитарам скорой помощи, разбираал обломки зданий, носил воду, наполнял мешки песком и чинил трубы. Он выходил по ночам, когда с неба сыпались бомбы, не боясь, что погибнет. Он помогал людям выбраться из горящих зданий, таскал детей, толкал коляски.

– Это было тяжёлое время, но неплохое, – сказал он. – Я постоянно представлял, как Салли смотрит на меня сверху и переживает то же самое.

Он до сих пор живо помнил те дни. Как-то он рассказал про одного мальчика шести-семи лет. Его выкопали из-под обломков, где он пробыл несколько часов под телом матери. Видимо, когда начали бомбить, она закрыла его собой. Женщина уже застыла, но ребёнка спасли. Никто, впрочем, не знает, какую психологическую травму наносит подобный опыт. Он сказал, что мальчика звали Пол.

– Теперь ему двадцать с чем-то лет, и я часто думаю, каким он вырос и что у него с головой.

Он продолжил свой трагический рассказ.

– Следующие пять лет я видел Ширли только изредка. Она процветала. Война оказывает иногда такое действие. Необычные обстоятельства пробуждают в людях всё лучшее, что в них есть. Она была умницей и прирождённым лидером и скоро стала руководительницей. Я так гордился ей.

В 1944-м казалось, что война заканчивается, и мы позволили себе мечтать о том, что она демобилизуется, и мы заживём по-старому. Но в такое время нельзя ничего планировать. Начались атаки ракетами «Фау-1» и «Фау-2». В Рождество 1944 года мне сообщили, что ракета упала на штаб, где работала Ширли, и моя дочь погибла. С тех пор я остался один.

Тень рабочего дома

*Дженни с кресла поднялась
И меня поцеловала.
Время всё стремится взять,
Только это не отняло.*

*Пусть я нынче стар и слаб,
Трудно жить и денег мало,
Всё же милая меня
Поцеловала.*

Ли Хант

Поплар ждали перемены. Градостроители установили новый порядок и добились на этом поприще таких успехов, что смели практически всё. Поплар пережил войну, бомбардировки, снаряды и ракеты «Фау-2». Люди собрали себя заново, вычистили обломки и вновь стали сообществом – почти неотличимым от своих родителей и дедушек. Однако благие бюрократические и социальные намерения чуть не уничтожили его.

Многоквартирные дома собирались снести.

С 1958 по 1959 год тысячам арендаторов разослали уведомления о выселении и предложили им новое жильё – порой очень далеко, например в Харлоу, Брэкнелле, Бэзилдоне, Кроули или Хемел-Хэмпстеде. Для стариков это было всё равно что Северный полюс. Социальные работники и инспекторы по муниципальному жилью целыми днями сновали по квартирам с пачками анкет, советами и натянутыми улыбками. Жильцы не поддавались. Большинство относились к этой идее с неодобрением или подозрением. Некоторые были в отчаянии.

Это был тот единственный раз, когда я испытала сочувствие к соседке мистера Коллетта. Однажды я вошла во двор Альберта-билдингс, она приблизилась ко мне и жалобно сказала:

– Нам велено съезжать. Куда? В какие-то неизвестные дома, куда-то далеко. Там меня никто не знает, и я никого не знаю. Нельзя так, нельзя. Я же всегда платила за жильё, посмотрите в книгах. Ни на день не опаздывала. И дома у меня чисто, как мать завела. Сами взгляните. Может, вы что-то сделаете? Вас, сестёр, послушают.

Все мы сталкивались с подобным отношением. Старшее поколение

питало трогательную надежду, что монахини вмешаются и спасут их домики, но это, разумеется, было ошибкой. Мы старались утешить граждан, но сомневаюсь, что нам это удавалось. Район был обречён. Людей, которые посылали к чёрту Гитлера, теперь выселяли на улицу.

Затем дома начали сносить. Земля стала дорогой. Всё дело – в больших деньгах. У простых людей не было шансов. Здесь строили башни, которые, как предполагалось, будут куда лучше старых домов. На деле это были те же многоквартирные дома, только гораздо хуже, поскольку связь между жителями оказалась утрачена. Исчезли дворы, внутренние балконы, дорожки и лестницы, и соседи уже не знали друг друга. На место коллективной жизни арендаторов, их братству и дружбе, вражде и ссорам пришли закрытые двери и опущенные взгляды. С социальной точки зрения это была катастрофа. За одно поколение сообщество людей, формировавшееся много веков и породившее ярких, живых кокни, было практически разрушено.

Но всё это было впереди. В 1959 году мы ещё не знали, что произойдёт с обитателями Поплара. Мы видели только то, что происходит сейчас, – например, снос Альберта-билдингс. Мы бесконечно обсуждали это за обеденным столом, и одна из сестёр заметила:

– Что ж, если эти дома снесут, дальше придёт наша очередь, поскольку мы уже будем не нужны.

Мы печально переглянулись, но сестра Джулианна спокойно ответила:

– Более восьмидесяти лет мы служили Господу в Попларе. Если здесь мы больше не нужны, Он даст нам другую работу. Пока же предлагаю не гадать о будущем, а заняться делом.

Когда я навещала мистера Коллетта в следующий раз, то столкнулась с социальной работницей. Она выглядела изнурённой, бедняжка, а встречные женщины так и атаковали её вопросами. Мне стало её жаль. Ужасный труд! «Вот же безвыходное положение», – подумала я, глядя на неё.

Мистеру Коллетту стало значительно лучше, поскольку теперь он мог обрабатывать поверхностные язвы самостоятельно. Раз в две недели я проверяла, нет ли ухудшения. Ему стало легче ходить, и всё это – благодаря простому регулярному уходу. Работа медсестры, как никакая другая, приносит множество удовлетворения.

Пока я снимала повязку, он задумчиво молчал. Наверное, мы оба гадали, о чём думает собеседник.

Он нарушил молчание:

– Вы слышали, наверное, что наши дома сносят? Ну да, слышали,

конечно. Не понимаю зачем. Они прочные. Перенесли даже бомбардировку, когда тысячи зданий сложились, точно карточные домики. Альберта-билдингс простояли бы ещё много веков, а они хотят их уничтожить. Все мои призраки погибнут вместе с обломками. Но найдут ли они покой? А я?

Его явно мучали предчувствия.

– Что вам предлагают взамен? – спросила я.

Он вздрогнул, словно мой вопрос разбудил его.

– Взамен? Не знаю. Какую-то квартиру в Харлоу, ещё одну в каком-то Хемел-Хэмпстеде. Надо подумать. Конечно, спасибо, что вообще что-то предлагают. Во времена моего детства если арендатор выселял вас, то взамен ничего не полагалось. Так что спасибо им – так я и сказал той леди.

Я улыбнулась. В это непростое время мало кто из социальных работников слышал благодарность.

– Сколько у вас времени на размышления?

– Несколько недель. Возможно, месяц. Не больше. Всё очень внезапно.

Действительно, внезапно. Стихли весёлые крики детей. Квартиры пустели, и по двору сновали грузчики, окна были заколочены, лестницы пылились и разрушались, мусорные вёдра валялись на земле. На смену постоянному гулу человеческой жизни пришло эхо: в опустевших дворах звуки голосов отражались от стен, пока не замолкали в застывшем воздухе.

Я не знала, как мы теперь будем видеться с мистером Коллеттом. Если он переедет куда-нибудь за город, в Хартфордшир или Эссекс, как часто мне удастся его навещать? Видимо, нашим уютным разговорам за хересом и шоколадками пришёл конец.

Через неделю я заглянула к нему, чтобы узнать, что он решил.

– Я еду в Сент-Марк в Майл-Энд, – сообщил он. – В дни моей молодости там располагался рабочий дом. Но это было давно. Теперь это пристанище для стариков вроде меня. Думаю, это к лучшему. Социальная работница говорит, что за мной будут хорошо ухаживать. Я уезжаю на следующей неделе.

Новости опечалили меня и встревожили. Тени рабочих домов более века омрачали жизни тысяч людей. Хотя в 1930 году их официально упразднили, они продолжали существовать под другими названиями. Мне стало страшно за мистера Коллетта, но я не хотела выражать сомнений или пугать его, так что просто сказала:

– Буду навещать вас, обещаю.

Вернувшись в Ноннатус-Хаус, я излила свои тревоги сестре Джулианне.

– Вы должны понимать, что это только его решение, – сказала она с очень серьёзным видом. – Он умный человек и наверняка понимает, что вряд ли сможет ухаживать за собой в новом месте.

Я тогда была молодой, горячей и склонной к спорам.

– Но ему уже гораздо лучше! Он спокойно управляется сам! Видит он плохо, но это не слепота, и он лёгко находит всё, что нужно.

Сестра Джулианна нежно улыбнулась:

– Да, милая, я знаю, но это лишь потому, что он знает, где что находится. Он способен жить в одиночестве только благодаря привычке.

В другом доме ему придётся тяжело. Так бывает со многими стариками.

Я продолжала беспокоиться, но понимала, что ничего не могу сделать.

Несколько дней спустя, проходя мимо, я решила заглянуть и договориться о прощальном вечере со своим старым другом. К моему изумлению, квартира была пуста. Я выглянула в окно. Здесь всё было тем же, но и другим. Неодушевлённые объекты живут своей жизнью, особенно когда их постоянно использует кто-то из людей. Когда эта жизнь заканчивается, они выглядят уныло и потерянно, словно мебель, небрежно составленная на складе. Я знала, что мистера Коллетта тут больше нет, и не нуждалась ни в чьих подтверждениях, однако в этот момент из дверей вышла – или, скорее, выползла – его соседка. Куда делись надменность, агрессия, суетливость? Теперь она казалось воплощением апатии и отчаяния.

– Нет его, – сказала она монотонно. – Утром забрали, с вещами. Скоро и меня заберут.

Она скрылась в квартире и заперлась. В Попларе никогда не закрывали днём дверей – разве что те, кто чего-то опасался.

Вернувшись в Ноннатус-Хаус и поднимаясь по лестнице, я почувствовала, насколько мне грустно. Всё произошло так неожиданно. Первым моим порывом было отправиться к своему другу, но затем я заколебалась – надо же дать ему время устроиться и познакомиться с окружающими. Возможно, это и к лучшему. Если чему-то суждено произойти, пусть случается мгновенно. Он мудрый старик и не согласился бы уехать так быстро, если бы из отсрочки мог выйти какой-то толк.

Две недели спустя я села на велосипед после обеда и отправилась на поиски Сент-Марка. За высокими железными воротами высились мрачные серые дома. Я привыкла к старым зданиям рабочих домов, поскольку большинство из них переделали в тюрьмы или больницы. Все они выглядели уныло, но мне никогда не встречались строения, подобные

Сент-Марку. Сердце моё сжалось.

Я спросила, где найти мистера Коллетта. Видимо, я воображала, что услужливая хорошенькая медсестра в накрахмаленном халате отведёт меня напрямиком к моему другу. Этого не произошло. Единственный, кто мне попался, – довольно неряшливый рабочий, который толкал перед собой тележку с какими-то корзинами. По-английски он не говорил и молча указал на дверь. Внутри оказалось что-то вроде конторы, но совершенно пустой: высокие потолки, холодный воздух, потрескавшаяся краска на стенах.

Я поздоровалась, и мой голос эхом отозвался на лестнице. Никто не вышел.

Я заглянула в какую-то другую дверь. Передо мной открылся широкий пустой коридор с десятком дверей – я открыла одну из них и оказалась в большой комнате, где за пластиковым столом сидело множество стариков. Для помещения, где было так много народу, тут было поразительно тихо. Пустые и невыразительные взгляды уставились на меня. Я огляделась, но не нашла мистера Коллетта, и у кого спросить о нём – тоже было неясно. Услышав звон тарелок, предполагающих наличие кухни, я пошла на звук. Мне встретились два юноши, но оба не говорили по-английски. Они несколько раз повторили «Коллетт» и затрясли головами. Один из них показал на соседнее здание.

Я отправилась туда и, к счастью, встретила рабочего, который сказал:

– Вам надо в приёмную, дорогуша, вон туда, – и он указал на дверь, куда я вошла сначала.

Вернувшись, я около двадцати минут безуспешно пыталась кого-либо дозваться. Наконец ко мне вышел мужчина средних лет с пачкой бумаг в руках. Я изложила ему свою просьбу, и он посмотрел на меня в полном изумлении.

– Вы хотите видеть мистера Коллетта? Так?

– Да.

– Зачем? Вы социальная работница?

– Нет, мне просто нужно его увидеть. Сейчас это возможно? Или приёмные часы уже закончились?

– Нет у нас никаких приёмных часов. Здесь обычно не бывает посетителей. Мне надо открыть кабинет и узнать, где этот мистер Коллетт.

Зайдя в кабинет, он принялся шуршать бумагами.

– Кажется, нашёл. Мистер Джозеф Коллетт, так? Корпус E, пятый этаж. Вон по той лестнице.

Я поднялась на пятый этаж и попала в комнату, похожую на ту, что

видела до этого, – просторную, с парой десятков пластиковых столов с четырьмя стульями у каждого. Старики сидели, положив руки на стол и глядя на соседа напротив. Кто-то положил голову на руки. Все молчали. В комнате едко пахло мочой и потом. Высокие окна пропускали свет, но выглянуть в них было невозможно.

Наконец я заметила мистера Коллетта в дальнем углу комнаты. Он сидел, опустив взгляд, и не видел меня. Я подошла и поцеловала его.

Он ахнул, и глаза его увлажнились. Губы его задрожали, слёзы потекли по щекам.

– Девочка моя, Дженни, вы всё-таки пришли, – прошептал он и умолк, охваченный чувствами.

Я подвинула соседний стул, села рядом и взяла его за руки.

– Я бы и раньше приехала, просто думала, что вам нужно устроиться, познакомиться с соседями. Простите, если решили, что я больше не приду.

– Да... нет, ничего страшного, милая моя, всё хорошо, – пробормотал он. – Теперь вы здесь, и я счастлив. Я так благодарен.

Он пожал мне руку. Я закусила губу, стараясь не расплакаться, и оглядела безрадостную комнату и апатичных стариков. Я не знала, что сказать. Раньше мы легко беседовали, и нам вечно не хватало времени, чтобы наговориться. Но теперь я словно онемела и задавала лишь пустые вопросы вроде: «Ну как вы тут?», «Как кормят?», «Вам удобно?» – на что он уныло отвечал: «Всё в порядке», «Спасибо, не стоит волноваться».

Шли минуты, и мы подолгу молчали. Я понимала, что мне пора, поскольку вечерние обходы начинались в четыре часа. У меня ушло по меньшей мере сорок пять минут, чтобы найти его, и времени оставалось мало. Визит получился короткий, мне было жаль уходить, и я попыталась сбивчиво объяснить.

– Идите, милая, не тревожьтесь за меня, – просто сказал он.

Я вновь поцеловала его и убежала. У двери я обернулась – он поглаживал себя по щеке, в том месте, где я прикоснулась к нему своими губами, и плакал.

Не знаю, как я не угодила в аварию по пути в Ноннатус-Хаус. Я была вне себя от горя.

После ужина я поговорила с сестрой Джулианной. Она молча выслушала меня и долго ничего не произносила. Думая, что она не осознала, что произошло, я уточнила:

– Вы же меня понимаете? Там просто ужасно. Ему нельзя там оставаться.

– Я всё понимаю, дорогая моя. Я вспоминала слова, сказанные

Господом нашим Петру. Они есть в Евангелии от Иоанна: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой препояшет тебя и поведёт, куда не хочешь». Речь шла о смерти святого Петра, но мне всегда казалось, что это относится ко всем нам. Годы идут, и мало кто до последнего сохраняет силы и здоровье. Большинство становятся беспомощными и зависят от окружающих, нравится нам это или нет. В старости учишься быть кротким.

Я не знала, что сказать. В разговорах с сестрой Джулианной это происходило нередко. Она обладала такой ясностью мысли и чистотой языка, что ответ не шёл на ум.

– Трагедия мистера Коллетта в том, – продолжала она, – что вся его семья погибла в войнах.

Трагедия – это одиночество, а не условия жизни. Сомневаюсь, что он их замечает. Вам это кажется неприемлемым, а он, возможно, не обращает внимание. Живи он в роскошном дворце, ему было бы так же одиноко. Вы его единственный друг, Дженни, и он любит вас. Будьте рядом с ним.

Я сказала, что уже поклялась себе так и поступить, и вновь начала ругать бесчеловечную жестокость, с которой старика выгнали из квартиры, где он спокойно жил.

Она прервала меня на полуслове:

– Я знаю. Поймите же, Альберта-билдингс давно следовало снести. В наши дни никто уже не готов мириться с насекомыми и антисанитарными условиями. А значит, люди должны съехать.

Я прекрасно вижу, что большинство стариков не в силах приспособиться к новым условиям, и многие из них теперь умрут. И тут мы снова возвращаемся к словам Иисуса: «Когда состаришься, то прострешь руки свои, и другой препояшет тебя, и поведёт, куда не хочешь».

Она улыбнулась, видя мою печаль, и сказала:

– Мне пора на службу. Присоединитесь к нам сегодня?

Безвременная красота вечерней службы чуть успокоила мою измученную душу.

Господи, даруй нам мирную ночь и счастливый конец дня.

Мне вспомнился мистер Коллетт и другие старики, отделённые – даже друг от друга – одиночеством.

На тебя, Господи, уповаю. Не дай мне впасть во смятение.

Огоньки свечей на алтаре отражались в окнах, окружая монахинь и не пуская в часовню тьму снаружи.

Будь же моей опорой и пристанищем.

Иудеи и христиане вот уже несколько тысяч лет черпают силы и мудрость в подобных псалмах.

И не убоимся мы ничего ночью.

Страшно ли этим печальным старикам? Боятся ли они жизни, а ещё больше – смерти?

Он пошлёт нам ангелов, чтобы были рядом.

Знают ли они радость в своей безрадостной жизни?

Молим тебя, Господи, прогони нашу тьму.

Помяни их в своих молитвах, как это сделает сестра Джулианна.

Сохрани нас в тихие ночные часы, чтобы мы, устав от испытаний и превратностей бременной жизни, перевели дух в Твоей вечной беспеременности.

Сестры тихо покинули часовню. Наступило время Великого Молчания.

После этого я старалась как можно чаще приезжать к мистеру Коллетту. Я проводила там мало времени – полчаса, не больше, – в основном потому, что мы не знали, что сказать. Обстановка не располагала к душевным разговорам, а мы оба не умели поддерживать светскую беседу. Кроме того, мне казалось, что безделье притупляло некогда живой ум мистера Коллетта. Зная, как он любил раньше слушать пьесы и документальные передачи по радио, я спросила, где его приёмник. Он посмотрел на меня безо всякого выражения, и я повторила вопрос.

– Приёмника у меня нет. Не знаю, что с ним сделали. Хотя, наверное, это в любом случае запрещено, так что не важно.

Я спросила, что произошло с его вещами.

– Не знаю. Социальная работница сказала, что разберётся. Наверное, их продали, а деньги положили мне на счёт. У меня ведь есть счёт в банке. Я дал ей номер.

– А вы видели её с тех пор?

– Да, она приходила. Очень милая. Дала мне это.

Он порылся в кармане жилета и вытащил какую-то бумажку. Это была квитанция на девяносто шесть фунтов, четырнадцать шиллингов и шесть пенсов за продажу мебели. Мне вспомнились напольные часы, великолепный старый стол и высокое деревянное кресло. От них остался лишь клочок бумаги.

Атмосфера в комнате была удручающей, а от всепроникающего запаха мочи тошнило, но старики вряд ли его замечали (в конце концов, обоняние с возрастом угасает, как и остальные чувства). Хуже всего для них, очевидно, была скука – час за часом, день за днём им было совершенно нечего делать. Время от времени кто-то выходил в туалет или соседнюю

комнату, где, как я обнаружила потом, располагалась спальня. Но кроме этого, ничего не происходило. Им раздавали газеты «Дейли Миррор» и «Экспресс», и кто-то листал их, но большинство просто сидели за столами и смотрели друг на друга. Посетители мне не встречались, и я гадала, как же так вышло, что у всех этих людей никого нет. Я бывала только на пятом этаже корпуса Е и не знала, сколько здесь ещё отделений, переполненных брошенными стариками, убивающими время в ожидании, что время убьёт их само.

Как-то раз я спросила мистера Коллетта, где его трубка.

– Нам позволяют курить только на балконе, – ответил он.

– Так вы курите?

– Нет, я не знаю, где балкон.

Я разозлилась от такой бесчувственности персонала. Местные сотрудники не были злыми людьми, но это в основном были юноши с Филиппин или из Индонезии, которые почти не говорили по-английски, и им, очевидно, не приходило в голову отвести полуслепому старика на балкон и проследить, чтобы он нашёл обратный путь.

– Тогда давайте выйдем на балкон, подышим свежим воздухом, а вы покурите. У вас есть трубка, табак и спички?

– Не при себе. Они в тумбочке. Пойду принесу. Можете сходить со мной. Вряд ли кто-то будет возражать.

Он встал и на ощупь двинулся к короткому коридору, заканчивающемуся широкой двойной дверью в спальню. Профессиональный взгляд подсказал мне, что это обычная больничная палата, рассчитанная на двадцать восемь или тридцать коек. Здесь стояло шестьдесят-семьдесят кроватей, выстроенных вдоль стен: узких железных коек с тощими матрасами на провалившихся пружинах. Рядом с каждой стояла крохотная тумбочка шириной не более двенадцати дюймов^[30], подпиравшаяся койками с обеих сторон. Я посмотрела в дальний конец спальни. Там тумбочек не было, и койки стояли так близко друг к другу, что лечь можно было, только вскарабкавшись через изножье. На некоторых кроватях лежали старики – спали или просто пялились в потолок. Опытным взглядом медсестры я осмотрела постель и одеяло. Всё было невероятно грязным, а запах мочи и фекалий подсказывал, что бельё здесь меняли редко. Палатная сестра вмиг пригнала бы сюда уборщиков. Но я в тот день вообще не видела работников.

Мистер Коллетт на ощупь прошёл вдоль четырнадцати коек и пробрался к тумбочке у пятнадцатой. Я заметила, что он снова ходит с трудом, и с тревогой подумала о язвах – после регулярного ухода они стали

лучше. А ухаживает ли за ним кто-нибудь? Глядя на царившую вокруг запущенность, я усомнилась. Возможно, он обрабатывает язвы самостоятельно? Я твёрдо решила выяснить это сегодня же.

Он нашёл трубку и с улыбкой погладил её чашечку. Мы вернулись к столу, за которым сидели, а потом вышли на балкон, отсчитывая столы и повороты. Я хотела удостовериться, что он сможет потом найти дорогу. Дверь была большая и тяжёлая, с металлическим засовом, но ему удалось открыть её самому.

Свежий воздух казался дивным, хотя и холодным, а на балконе было хорошо, но сесть здесь было негде. Мне пришлось подержать трубку и спички, пока мистер Коллетт нарезал табак. Он набил трубку, поджёг её и с удовлетворённым вздохом выпустил клубы густого дыма.

– Роскошно, – пробормотал он. – Настоящая роскошь.

Я заметила, как он стоит, и встревожилась – он переминался с ноги на ногу и шагал взад-вперёд. Всё это мне очень не нравилось – люди с язвами на ногах обычно могут ходить, но стоять на месте им очень больно. Я спросила, как поживают его ноги и кто за ними ухаживает.

– Это я могу делать и сам.

– И как, делаете?

– Иногда, душа моя, время от времени.

– Как часто? Каждый день?

– Не совсем каждый день, но достаточно часто.

– А местные работники меняют вам повязки?

– Они взглянули на них, когда я приехал, но с тех пор, кажется, меня больше не смотрели.

Я была шокирована. Два месяца ему не меняли повязки и не обрабатывали язвы. Всё это было очень плохо.

– Мне бы хотелось взглянуть, – сказала я.

– В другой раз. В другой раз. Я наслаждаюсь свежим воздухом, трубкой, а главное – вашим обществом. Я знаю, что вам уже пора, и не хочу мешать. Посмотрите мои ноги в другой раз.

Он был прав. Приближалось время вечернего обхода. Медлить было нельзя, и я нежно поцеловала его и оставила с трубкой – и редкой теперь улыбкой на лице.

Отбой

Что-то подсказывало мне, что мистеру Коллетту осталось недолго. Меня беспокоили его ноги, но я также понимала, что он никогда не

приспособится к жизни в Сент-Марке. Сестра Джулианна оказалась права. Унылая обстановка ничуть его не тревожила. Узкая койка в спальне на семьдесят стариков полностью его устраивала.

– Очень удобно, – сказал он как-то. – Тут неплохо. С нами хорошо обращаются.

Если он не жаловался на условия содержания, не следовало протестовать и мне. Проблема была в хроническом одиночестве и в неумении приспособливаться к переменам.

Дважды я пыталась осмотреть язвы, но он отказывался под разными предложениями, а мне не хотелось настаивать. Когда я пришла в следующий раз, то не застала его за столом. Старик, обыкновенно сидевший напротив, показал мне на дверь спальни:

– Он сегодня не вставал.

Я вошла в комнату и на пятнадцатой койке справа увидела мистера Коллетта. Я долго смотрела на него, стоя в дверях и ругая себя за желание сбежать, – настолько был омерзителен запах. Мне было страшно и хотелось развернуться и уйти.

Мой друг пошевелился и кашлянул, и я пришла в себя, подошла к кровати, поцеловала его и прошептала:

– Это я. Вы в порядке? Обычно вы не залёживаетесь.

Он поцеловал мне руку и пробормотал, что всё будет хорошо.

Я молча села рядом и задумалась, держа его за руку. Если он пролежит так несколько дней без движения, то заработает пневмонию. Говорят, что пневмония – подруга стариков. Тихий и мирный конец. Хотелось верить, что он умрёт так, во сне.

О чём ещё можно мечтать на склоне дней?

И тут мне пришло в голову, что у меня появилась возможность осмотреть язвы. Я попросила разрешения, но он, казалось, был безразличен.

Я убрала одеяла и ощутила запах разлагающейся плоти. Бинты были пропитаны гноем, и я сняла их с огромным трудом – ни щипцов, ни ножниц не было, и мне приходилось орудовать голыми руками. Повязки не меняли уже пару недель, и они прилипли к плоти. Я боялась действовать аккуратно, но он никак не реагировал и не выказывал признаков боли или дискомфорта.

Наконец раны были обнажены. Мне пришлось схватиться за железную спинку кровати и призвать весь свой сестринский опыт и самоконтроль, чтобы не закричать. От лодыжек до колен кожа просто отсутствовала – это была открытая рана, источающая кровь и гной. Дневной свет уже меркнул,

а лампочка под потолком еле светила, но мне показалось, что края ран словно обведены чёрным.

Я посмотрела на ступни – пальцы выглядели серыми и опухшими, а два из них казались темнее прочих.

«Господи, не может быть, – подумала я. – Пожалуйста, пожалуйста, только не он, это не честно».

Проверить можно было только одним способом. Я отколола брошь и поочередно вонзила иголку в центр каждой язвы. Мистер Коллетт не пошевелился. Тогда я стала глубоко колоть пальцы на ноге. Он ничего не чувствовал. Сомневаться не приходилось: это гангрена.

– Мне уже лучше, – сказал он. – Последние недели было нелегко, но сейчас ничего не болит. Видимо, я поправляюсь.

Надо было взять себя в руки. К счастью, он не видел моего лица, но был чувствителен к изменениям тона.

– Раз вам удобно, оставайтесь в постели.

Я приведу кого-нибудь, чтобы сменить повязку, я уже сняла бинты. Я быстро.

Я подняла тревогу и привела в спальню начальника и врача, но тут настало время моего вечернего обхода. После работы я вернулась в Сент-Марк и в последний раз посетила пятый этаж корпуса Е.

Мистера Коллетта перевели в больницу Майл-Энд.

Эта новость меня обрадовала, и я тут же отправилась на велосипеде в клинику, чтобы узнать, в какую палату его определили. Для визита было уже поздно, но мне сказали, что он хорошо устроен и спокойно спит.

На следующий день после обеда я отправилась его навестить. Палатная сестра сообщила, что мистера Коллетта утром прооперировали, и он ещё не пришёл в себя от наркоза. Ему ампутировали обе ноги по середине бедра.

Меня отвели к нему. Чистота, покой и аккуратность производили крайне успокаивающее впечатление – особенно после запущенности Сент-Марка. Мистер Коллетт лежал на белоснежных простынях. На лице его читалось умиротворение.

В носу у него была трубка, а сестра убирала слизь из горла при помощи аспиратора. Затем она проверила у него пульс и циркуляцию крови, улыбнулась мне и ушла. В больнице дисциплина и правила – превыше всего, и теперь мистер Коллетт попал под их защиту.

Я некоторое время посидела с ним, но он спал и выглядел очень умиротворённым, поэтому я ушла, собираясь вернуться после вечерних визитов. К тому моменту он мог уже проснуться и узнать меня.

Я пришла около половины восьмого вечера и услышала крики задолго до того, как вошла. На посту дежурила встревоженная медсестра. Я бросилась в палату.

– Он сошёл с ума! – сказала медсестра.

Мистер Коллетт сидел в постели, в ужасе глядя перед собой невидящими глазами, размахивая руками и выкрикивая:

– Аккуратнее, слева!

Он пригнулся, словно уворачиваясь от невидимого снаряда. Я подбежала к нему и обняла.

– Это я, Дженни, я здесь.

Он схватил меня с нечеловеческой силой и толкнул на пол.

– Ложись, опусти голову! Тебя разорвёт на куски. Один парень только что лишился головы, а тот потерял обе ноги! Здесь сейчас опасно. Везде стреляют. Ложись. ЛОЖИСЬ!!!

Мистер Коллетт бросился вперёд. Культи подвернулись, и он рухнул на пол. Слово не заметив падения, он схватил меня и толкнул под кровать.

– Оставайся тут. В убежище безопасно. Поищу других. Берегись! – крикнул он и поднял голову. – Видишь самолёт? Он только что сбросил бомбы, они летят сюда. Прямой удар. ЛОЖИСЬ!!!

В палату ворвались врач и два медбрата. Сестра держала наготове шприц. Санитары залезли под кровать и схватили мистера Коллетта, который кричал и вырывался. Врач вколол сильнодействующий анестетик, и несколько минут спустя мистер Коллетт уснул, но культи его продолжали дёргаться от произвольных спазмов.

Все мы дрожали. Санитары подняли старика и уложили в постель. Он вновь выглядел крайне умиротворённо. Все вышли, но я ещё долго сидела рядом и беззвучно плакала.

В половине десятого сестра попросила меня уйти, сказав, что ночью он будет находиться под действием успокоительного. Она предложила мне позвонить с утра.

Перед завтраком я набрала номер больницы, и мне сообщили, что мистер Коллетт умер во сне в половине четвёртого утра.

* * *

Над могилой старого солдата не прозвучал последний сигнал горна, никто не бил в барабаны и не салютовал; флаги не приспустили. Это были скромные больничные похороны. Мы отправились в путь от морга, сидя в катафалке рядом с водителем. Я вспомнила про цветы только у больничных ворот и купила пучок маргариток у уличного торговца. Нас

отвезли на кладбище где-то на севере Лондона. Не помню, какое именно, помню лишь холодный, мрачный ноябрьский день. Мы со священником стояли у открытой могилы и читали заупокойную: «Пепел к пеплу, прах к праху». Мужчины забросали гроб землёй, и я положила на глину лиловые маргаритки.

КОДА

Прошло много лет, пятнадцать или двадцать, и мистер Коллетт навестил меня. Я была счастлива замужем, мои дочери подрастали, а жизнь шла своим чередом. Я давно не вспоминала про него.

Я проснулась посреди ночи, и он стоял у моей постели. Он выглядел так же реально, как и спящий рядом муж: высокий, прямой, но моложе, чем во время нашего знакомства. На вид ему было лет шестьдесят или шестьдесят пять. Улыбаясь, он сказал:

– Вы знаете тайну жизни, милая моя, поскольку умеете любить.

С этими словами он исчез.

Эпилог

В 1930 году работные дома упразднили – во всяком случае, официально. Но на практике оказалось, что закрыть их невозможно. Там жили тысячи людей, которым некуда было пойти. Их нельзя было просто выставить. Кроме того, многие так долго прожили там, так привыкли к здешней дисциплине, что уже не могли бы существовать во внешнем мире. 1930-е были временем экономической депрессии и глобальной безработицы. Жители работных домов, вдруг оказавшиеся на улице, только ухудшили бы положение дел.

Работные дома официально объявили «организациями социального обеспечения», а чтобы как-то упрочить их положение, давали им названия вроде Пасторского или Розового дома. На деле в основном всё шло по-старому. Теперь обитателей таких домов называли «жилъцами», а не «бедняками», униформу упразднили. В домах появилось отопление, гостиные, кресла и нормальное питание. Людей беспрепятственно выпускали. Но всё равно это была казённая жизнь. Там работали те же служащие, и их привычки остались теми же, что в XIX веке. По-прежнему царил строгая, порой жестокая дисциплина – в зависимости от взглядов директора. Но наказания за нарушения правил смягчились, и жизнь обитателей таких учреждений стала куда легче, чем раньше.

Здания ещё много лет продолжали использовать в различных целях. Некоторые служили психиатрическими больницами вплоть до 1980-х годов, когда их наконец закрыла Маргарет Тэтчер. Во многих располагались дома для престарелых, и моё описание последних недель жизни мистера Коллетта в конце 1950-х совершенно достоверно. После первой публикации этой книги я выступала в Историческом обществе Восточного Лондона, и одна из слушательниц отметила:

– Ваш рассказ несколько не преувеличен.

В 1980-х я побывала в доме престарелых, который раньше был работным домом, и там были именно такие условия. Насколько я помню, это был 1985-й или 1986 год.

Лазареты ещё много лет служили больницами. Но клеймо работного дома никуда не девалось. Когда я работала медсестрой, то не раз видела ужас в глазах пациента, который думал, что его привезли в работный дом, хотя это была современная клиника. В 2005 году я упомянула об этом, когда выступала по радио.

– Я знаю, о чём речь, – сказал ведущий. – Несколько лет назад, в 1998

году, мою бабушку положили в стационар. Она молила не оставлять её там, поскольку думала, что её привезли в работный дом. Она была в ужасе, и я уверен, что это её и убило.

Дурная слава оказалась живучей, и большинство бывших лазаретов в стране снесли или переделали в коммерческие или жилые здания.

Мы живем полной, счастливой жизнью в XXI веке и не можем даже вообразить себе, каково приходилось беднякам в работных домах. Мы не в состоянии представить безжалостный холод, отсутствие нормальной одежды или постели, постоянный голод. Сложно даже помыслить, что у нас забирают детей, поскольку мы не способны прокормить их, или ограничивают нашу свободу в наказание за бедность. Осталось крайне мало свидетельств жизни в работных домах. Архивы велись очень тщательно, но это были официальные записи – сами бедняки ничего не оставили. Фотографий нет по той же причине. В городских хранилищах есть тысячи снимков зданий, опекунов, директоров, их жён и надзирателей, но фото бедняков практически нет. Немногие сохранившиеся изображения больно видеть. На лицах – пустое, безнадёжное выражение, в глазах читается смертельное отчаяние.

Но прежде чем мы осудим работные дома как пример жестокости и ханжества XIX века, следует вспомнить, что это было совсем другое время. Жизнь представителей рабочего класса была короткой и жестокой. Голод и трудности являлись нормой. Для мужчин старость наступала в сорок, для женщин – в тридцать пять. Смерть ребенка стала обычным событием. Бедность считалась пороком. В обществе действовала теория социального дарвинизма (сильные приспособляются и выживают, а слабые погибают), позаимствованная в «Происхождении видов» (1858). Таковы были законы общества, принимаемые и богатыми, и бедными, и существование работных домов было всего лишь следствием.

Можно ли сказать что-то хорошее об этой системе? Думаю, да. Тысячи детей, которые иначе погибли бы от голода, получили дом и воспитание – по современным меркам, это была тяжёлая жизнь, но они выстояли, а после принятия Закона об образовании в 1870 году посещали занятия. Массовая безграмотность ушла в прошлое, и через пару поколений население Великобритании уже умело читать и писать.

Помню, как примерно в 2000 году познакомилась с женщиной лет восьмидесяти, внебрачной дочерью служанки и хозяина дома. Когда хозяйка обнаружила, что девушка беременна, она уволила её. В 1915 году

служанка попала в работный дом.

– Я благодарна работному дому, – сказала мне та женщина. – Я стала ценить дисциплину и послушание. Я научилась читать и писать. Матери своей я не знала, но так было со всеми. Когда мне исполнилось четырнадцать, я устроилась прислугой. Но я работала над собой, обучилась секретарскому делу в вечерней школе и стала трудиться по специальности. Я горжусь тем, чего достигла.

Не хочу и думать, что бы со мной стало, если бы не работный дом.

Сноски

1

«Акушерки Святого Раймонда Нонната», «Сент-Раймондские акушерки» – это псевдоним. Я назвала их так в честь святого Раймонда Нонната, покровителя акушеров, акушерок, беременных, рожениц и новорождённых. Он появился на свет в Каталонии в 1204 году посредством кесарева сечения (*non natus* по-латыни значит «нерождённый»). Его мать, что неудивительно, скончалась при родах. Он стал священником и умер в 1240 году.

2

Примерно в полтора километрах. – Здесь и далее подстрочные *примеч. пер.*

3

Меньше квадратного метра.

4

Примерно полтора километра.

5

Перевод Григория Дашевского.

6

Около шестнадцати километров.

7

В описываемое время в Великобритании было принято использовать меры жидкостей не только для напитков, но и некоторых неожиданных продуктов – например, моллюсков (1 имперская пинта = 0,568 литра воды).

8

Чуть больше полулитра.

9

Примерно один метр на два.

10

Гран – единица аптекарского веса, равная 0,062 грамма.

11

Примерно два с половиной километра.

12

Примерно два с половиной сантиметра.

13

Около двадцати пяти квадратных метров.

14

Пятнадцать-двадцать сантиметров.

15

Под два метра.

16

Полметра-метр.

17

Пятнадцать фунтов – примерно семь килограммов.

18

Один фут – примерно тридцать сантиметров.

19

Примерно шесть с половиной километров.

20

Примерно полкилометра.

21

Сорок пять метров.

22

Тридцать восемь сантиметров, то есть ниже колена.

23

Стали пять сантиметров в диаметре вместо двадцати.

24

Примерно шестьдесят восемь килограммов.

25

Примерно девяносто метров.

26

Примерно восемьсот метров.

27

В сорока восьми километрах.

28

Примерно два с половиной километра.

29

Семейное бомбоубежище периода Второй мировой войны. Названо по

имени Джона Андерсона – министра внутренних дел.

30

Около тридцати сантиметров.